Элис Манро

Дороже самой жизни



Нобелевская премия по литературе 2013 года

PREMIUM

Дороже самой жизни (сборник)

Элис Манро

Аннотация
Элис Манро. ДОРОЖЕ САМОЙ ЖИЗНИ
Дороже самой жизни
  Достичь Японии
  Амундсен
  Покидая Мэверли
  Карьер
  Надежный тыл
  Гордыня
  Корри
  Поезд
  С видом на озеро
  Долли
Финал
  Глаз
  Ночь
  Голоса
  Дороже самой жизни

~ 1 ~

Аннотация

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях самих себя. В своем новейшем сборнике «Дороже самой жизни» Манро опять вдыхает в героев настоящую жизнь со всеми ее изъянами и нюансами. Самое сильное оружие в арсенале Манро — умение сочувствовать персонажам, и здесь она снова демонстрирует его в полном объеме.

Элис Манро
ДОРОЖЕ САМОЙ ЖИЗНИ

Дороже самой жизни

Достичь Японии

Питер принес ее чемодан в купе и как-то засуетился. Впрочем, он тут же объяснил, что вовсе не торопится от нее убежать — просто боится, как бы поезд не тронулся. Он вышел на перрон, встал под окном купе и принялся махать рукой. Улыбаться и махать. Улыбка, предназначенная Кейти, была широкая, солнечная, без тени сомнения, будто он верил, что дочь всегда так и будет чудом для него, а он — для нее. На всю жизнь. Улыбка, предназначенная жене, была словно исполнена веры и надежды, с толикой решимости. Пожалуй, эту улыбку непросто было бы выразить словами. Может, и вовсе невозможно. Скажи Грета что-нибудь такое, он ответил бы: «Не придумывай». И она согласилась бы — решила бы, что для людей, живущих бок о бок день ото дня, всякие объяснения бессмысленны.

Когда Питер был еще ребенком, мать перетащила его через горы — Грета никак не могла запомнить их название. Мать Питера бежала из социалистической Чехословакии на Запад. Не одна, конечно. Отец Питера собирался идти с той же группой, но его отправили в лечебницу как

раз накануне их тайного отбытия. Он должен был последовать за ними, когда получится, но вместо этого умер.

— Я читала про такое, — сказала Грета, когда Питер впервые поведал ей эту историю. И добавила, что в книгах ребенок обязательно начинал плакать и матери приходилось его задушить, чтобы он своим плачем не выдал всю группу.

Питер сказал, что никогда не слыхал подобного и не знает, что сделала бы его мать в такой ситуации.

На самом деле его мать сделала вот что: уехала в Британскую Колумбию, подучила английский и нашла работу преподавателя. Она преподавала в старших классах школы то, что тогда называлось «Нормами делового оборота». Она вырастила Питера одна и отправила в университет, и он стал инженером. Приходя в гости к Питеру и Грете — сперва в квартиру, потом в дом, — мать всегда сидела в гостиной и не заходила на кухню, пока Грета не приглашала ее туда зайти. Такой уж у матери был обычай. Она довела до крайности искусство не замечать. Не замечать, не вмешиваться, не намекать. Хотя в любой области домашнего хозяйства, домашнего искусства намного опережала невестку.

И еще она избавилась от квартиры, в которой Питер вырос, и переехала в другую, поменьше, где не было отдельной спальни — только место для раскладного дивана. «Значит, Питер теперь не сможет погостить дома у мамочки?» — поддразнивала ее Грета, но мать эти шутки явно ошарашивали. Даже причиняли ей боль. Может быть, все дело в языковом барьере. Но мать теперь все время говорила по-английски, а Питер так и вовсе никакого другого языка не знал. Он тоже изучал «Нормы делового оборота» — правда, не у матери, — пока Грета проходила «Потерянный рай». Она избегала всего полезного, как чумы. Он, кажется, поступал в точности наоборот.

Теперь их разделяло стекло, Кейти упорно продолжала махать, и они самозабвенно изображали на лицах комическую и даже отчасти безумную благожелательность. Грета подумала о том, какой он красивый и насколько сам об этом не подозревает. Он стригся под ежик, в духе времени, — собственно, для инженера и тому подобных профессий выбора и не было. У него была светлая кожа, и он никогда не краснел, в отличие от Греты, никогда не шел пятнами от солнца, а лишь покрывался ровным легким загаром независимо от времени года.

Его мнения были чем-то сродни его цвету лица. После похода в кино его никогда не тянуло обсуждать фильм. Он только говорил, что фильм отличный, или хороший, или ничего так. Просто не видел смысла углубляться в рассуждения. Он и телепередачи смотрел, и книги читал так же. Относился к авторам с пониманием. Они ведь сделали все, что могли, в пределах своих возможностей. Раньше Грета начинала с ним спорить и сердито спрашивала: вот если бы дело касалось моста, он бы то же самое сказал? Что люди сделали все, что могли, в пределах своих возможностей, но этого оказалось недостаточно, и мост рухнул.

Но он не спорил с ней, а только смеялся.

И говорил, что это совсем другое.

Другое?

Другое.

Грете следовало бы понять, что такой взгляд на жизнь — терпеливый, прощающий — большая удача для нее. Ведь она была поэтом, и в ее стихах попадались вещи отнюдь не бодрые, а также труднообъяснимые.

(Мать и коллеги Питера — кто знал — до сих пор говорили «поэтесса». Питера она отучила от этого слова. Больше никого учить не пришлось.

Ни родственники, от которых Грета отделалась, ни люди, с которыми она общалась теперь в роли жены и матери, ничего не знали об этой ее небольшой странности.)

Потом, позже, ей трудно будет объяснять, что было принято в то время и что нет. Можно сказать, что да, феминизм был не принят. Но тут же пришлось бы объяснять, что тогда и слова-то такого не знали — «феминизм». А дальше увязнешь в подробностях: тогда любая серьезная мысль у женщины, не говоря уже о карьерных устремлениях или чтении настоящих книг, могла стать поводом для подозрений. Или причиной того, что когда-нибудь потом у твоего ребенка было воспаление легких. А твое замечание о политике на корпоративном вечере могло стоить твоему мужу продвижения по службе. Даже не важно, что́ именно ты сказала и про какую партию. Важен сам факт того, что у женщины с уст сорвались такие слова.

Когда она все это рассказывала, люди смеялись и говорили: «Вы шутите, конечно же». И она отвечала: «Да, но в этой шутке очень большая доля правды». И добавляла: «Одно, впрочем, могу сказать. Писать стихи женщине было чуть более простительно, чем мужчине». Вот тут слово «по-

этесса» приходилось очень кстати. Оно было как паутина из нитей сахарной ваты. Питер придерживался других воззрений, но не забывайте, что он родился в Европе. Впрочем, он бы понял, как его коллегам, мужчинам, полагалось относиться к таким вещам.

В то лето Питеру предстояло месяц или даже больше руководить проведением работ в Ланде. Далеко вверх по карте, вверх до упора на север, до края материка. Для Кейти и Греты там места не было.

Но у Греты была знакомая, с которой она когда-то вместе работала в ванкуверской библиотеке. Знакомая вышла замуж и теперь жила в Торонто, но Грета поддерживала с ней связь. Она и ее муж собирались летом уехать на месяц в Европу — муж был преподавателем. И знакомая написала Грете с вопросом (очень вежливо сформулированным), не хочет ли Грета вместе с семьей оказать им услугу и часть этого времени последить за домом в Торонто, чтобы он не пустовал. Грета написала в ответ, что Питер уедет по работе, но сама она вместе с Кейти с удовольствием принимает предложение.

Вот поэтому они сейчас и махали друг другу — он с перрона, они из поезда.

Тогда был такой журнал, «И ответило эхо». Выходил он в Торонто, нерегулярно. Грета наткнулась на него в библиотеке и послала в журнал свои стихи. Два стихотворения в самом деле опубликовали, и поэтому, когда главный редактор журнала прошлой осенью приезжал в Ванкувер, Грету вместе с прочими литераторами пригласили на встречу. Встреча проходила в доме писателя, имя которого Грета, кажется, знала всю свою жизнь. Мероприятие начиналось ранним вечером, когда Питер еще был на работе, так что Грета наняла кого-то побыть с ребенком, а сама села на автобус и поехала по Северному Ванкуверу, через мост Львиных Ворот и через парк Стэнли. Потом долго ждала на остановке перед универмагом «Компании Гудзонова залива» и снова долго ехала — до самого кампуса университета, где и жил писатель. На последнем повороте перед конечной Грета вылезла, нашла нужную улицу и пошла по ней, вглядываясь в номера домов. Грета была на высоких каблуках и потому шла очень медленно. Еще на ней было ее самое шикарное черное платье, с молнией на спине, — оно утягивало талию и с самого начала было тесновато в бедрах. Ковыляя по извилистым улочкам без тротуаров, Грета думала, что выглядит по-дурац-

ки — одинокий пешеход в свете увядающего дня. Современные дома, панорамные окна — словно в районе новых застроек; Грета совсем не такое ожидала увидеть. Она уже начала подумывать, что ошиблась улицей, и не сказать чтобы это ее огорчило. Можно вернуться на остановку, там скамейка. Украдкой снять туфли и устроиться поудобнее на всю долгую дорогу домой.

Но когда она увидела нужный номер дома и стоящие рядом машины, было уже поздно возвращаться. Из-под закрытой двери просачивался шум, и Грете пришлось нажать кнопку звонка дважды.

Ее впустила женщина, которая, похоже, ждала кого-то другого. «Впустила», впрочем, не совсем точное слово — женщина открыла дверь, и Грета сказала, что, кажется, это здесь сегодня сборище.

— А вы сами не видите? — сказала женщина и встала в двери, прислонясь к косяку.

Так она и стояла, загораживая дверь, пока Грета не спросила:

— Можно я войду?

Женщина двинулась вглубь дома, — казалось, это движение причиняло ей сильнейшую боль. Она не пригласила Грету пройти, но Грета все равно пошла за ней вглубь дома.

Никто не заговорил с Гретой, никто ее даже не заметил, но скоро к ней подошла девочка-подросток и пихнула в ее сторону поднос, на котором стояли бокалы с чем-то вроде розового лимонада. Грета взяла один бокал и выпила залпом — ей хотелось пить, — потом взяла второй. Она поблагодарила девушку и попыталась завязать разговор, но та не заинтересовалась и пошла дальше делать свою работу.

Грета продолжала двигаться. И улыбаться. Никто не смотрел на нее с радостью, никто даже не узнавал, да и с какой стати? Люди скользили по ней взглядами и продолжали разговоры между собой. У всех присутствующих, кроме Греты, было вдоволь друзей, шуток, полутайн. Каждого кто-нибудь да приветствовал. Кроме подростков, которые продолжали мрачно и упорно разносить розовые напитки.

Впрочем, она не сдавалась. Розовый напиток ее подбодрил, и она решила взять еще один, как только поднос окажется в досягаемости. Она высматривала в беседующих группах брешь, в которую могла бы втереться. И кажется, нашла — до нее донеслись названия фильмов. Европейских, которые как раз в то время начали показывать в Ванкувере. Она услышала название фильма,

который они с Питером ходили смотреть, — «Четыреста ударов».[1]

— О, я его видела! — воскликнула она громко, с жаром, и все посмотрели на нее, и один — видимо, главный в группе — отозвался:

— Да неужели?

Конечно, Грета была пьяна. После выпитой залпом смеси ликера «Пиммс № 1» с соком розового грейпфрута. Поэтому она не расстроилась от чужого высокомерия, как расстроилась бы трезвая. И поплыла дальше по течению, зная, что отчасти не владеет собой, но чувствуя, что комнату заполняет головокружительная атмосфера вседозволенности. Пускай Грета ни с кем не подружилась — зато она вольна бродить где хочет и выносить собственные суждения.

В арке дверного проема стояли кучкой важные люди. Грета увидела среди них хозяина дома — того самого писателя, чье имя и лицо она знала всю жизнь. Речи писателя были громки и несвязны; казалось, он окутан облаком опасности, а его

---

[1] Примечания: 1

«Четыреста ударов» (1959) — дебютный полнометражный фильм Франсуа Трюффо, во многом автобиографический. Один из первых и ключевых фильмов французской новой волны. Фильм рассказывает о жизни трудного подростка. Французское выражение «наносить четыреста ударов» означает «вести себя на грани приличий, нарушать моральные нормы». (*Здесь и далее прим. перев.*)

собеседники готовы в любой момент разразиться оскорблениями. Грета пришла к выводу, что жены этих людей составляли другой кружок, тот самый, куда она только что пыталась втереться.

Женщина, что открыла ей дверь, не принадлежала ни к одному из этих кружков — она сама была писательницей. Она обернулась, когда ее окликнули. Прозвучавшее имя значилось в списке авторов в журнале, где напечатали стихи Греты. Может, этого хватит, чтобы подойти и представиться? Как равная — равной, несмотря на холодный прием у дверей?

Но женщина уже склонила голову на плечо мужчине, который ее окликнул, и мешать им не стоило.

От этих размышлений Грета решила сесть, а так как стульев в комнате не было, она села на пол. Ее посетила мысль. Мысль заключалась в том, что, когда сама Грета ходила с Питером на вечеринку инженеров, атмосфера там была дружелюбной, хотя разговор наводил скуку. Это потому, что степень значительности каждого инженера была уже выяснена и — во всяком случае, на данный момент — оставалась неизменной. Здесь же не было никаких гарантий: в любую секунду кто-нибудь за глаза мог вынести приговор даже мэтру

с кучей публикаций. И кто угодно мог напустить на себя умный вид. Или страдающий вид.

А Грета жаждала, чтобы ей кинули хоть реплику из разговора, как кость собаке.

Сформулировав про себя эту теорию неприятного общения, Грета успокоилась и решила, что ей плевать, хотят с ней разговаривать или нет. Она сняла туфли и испытала ни с чем не сравнимое облегчение. Привалилась спиной к стене и вытянула ноги в проход, один из тех, по которому ходили туда-сюда гости, но не самый оживленный. Она боялась, что стакан с напитком опрокинется на ковре, и потому осушила его залпом.

Вдруг она заметила, что над ней стоит какой-то мужчина.

— Как вы сюда попали? — спросил он.

Ей стало жалко его тупо топочущие ноги. Ей было жалко всех, кому приходится стоять.

Она сказала, что ее пригласили.

— Понятно. Я спрашиваю, вы на машине приехали?

— Я пришла.

Подумав, она решила дать более развернутый ответ:

— Я сначала приехала на автобусе, а потом

пришла пешком.

Тут за спиной у мужчины в туфлях возник другой, из кружка избранных.

— Превосходная идея! — сказал он. Он как будто был на самом деле не прочь с ней поговорить.

Но первому это почему-то не понравилось. Он подобрал туфли Греты, но она отказалась их надевать, объяснив, что у нее ужасно болят ноги.

— Тогда несите их. Или я понесу. Встать можете?

Она оглянулась в поисках важного человека, но тот куда-то делся. Теперь она вспомнила, что он написал. Пьесу про духоборов, которая наделала шуму, потому что духоборы должны были выступать голыми. Не настоящие духоборы, конечно. Актеры. И все равно им в конце концов не разрешили играть голыми.

Она попыталась объяснить это мужчине, который помог ей встать, но он явно не заинтересовался. Она спросила, что пишет он. Он сказал, что писатель, но не в том смысле — он журналист. Гостит в этом доме со своими детьми, которые приходятся внуками хозяевам дома. Это они — его дети — разносили напитки.

— Смертельное пойло, — сказал он, имея в виду напитки. — Чистое убийство.

Они уже были вне дома. Грета шла по газону в одних чулках и едва не наступила в лужу.

— Кто-то сблевал, — сообщила она своему спутнику.

— И верно, — сказал тот и запихал ее в машину.

От свежего воздуха настроение у Греты поменялось — беспокойный подъем сменился замешательством и даже стыдом.

— Северный Ванкувер, — сказал он. Должно быть, она успела назвать свой адрес. — О'кей? Поехали. Следующий пункт — мост Львиных Ворот.

Грета надеялась, что он не спросит, почему ее пригласили на вечеринку. Тогда ей придется сказать, что она поэт, и ее теперешний вид, ее подпитие выйдет отвратительно шаблонным. На улице было светло, но уже наступал вечер. Кажется, они ехали в нужную сторону: сначала вдоль какой-то воды, потом по мосту. Мост Бэррард-стрит. Снова поток машин. Грета все время открывала глаза и видела пролетающие мимо деревья, а потом глаза как-то сами снова закрывались. Когда машина остановилась, Грета знала, что это не дом, до него гораздо дальше. До ее дома то есть.

Над ними смыкались огромные кроны дере-

вьев. Звезд не было видно совсем. Но виднелся отблеск на воде — между тем местом, где они были сейчас, и городскими огнями.

— Посидите, обдумайте, — сказал он.

Это слово заворожило ее.

— Обдумать?

— Как вы войдете в дом, например. С достоинством — получится у вас? Не перестарайтесь. Небрежно? Я полагаю, у вас есть муж.

— Я должна сначала поблагодарить вас за то, что отвезли меня домой, — сказала она. — Значит, вы должны сказать, как вас зовут.

Он сказал, что уже представлялся ей. Возможно, даже дважды. Ну хорошо, еще раз. Гаррис Беннет. Бен-нет. Он зять тех людей, которые устраивали у себя вечеринку. Это его дети разносили напитки. Он вместе с ними приехал в гости из Торонто. Теперь она довольна?

— А мать у ваших детей есть?

— О да. Но она в больнице.

— Мои соболезнования.

— Не нужно. Это очень хорошая больница. Для душевнобольных. Точнее, для людей с эмоциональными проблемами.

Грета тут же сообщила ему, что у нее есть муж по имени Питер и у них есть дочь по имени

Кейти.

— Очень мило, — ответил он и принялся сдавать машину задним ходом.

На мосту Львиных Ворот он сказал:

— Простите, что я с вами разговаривал таким тоном. Я думал о том, поцеловать вас или нет, и решил, что нет.

Она поняла его в том смысле, что в ней есть какой-то изъян и она недостойна поцелуя. От стыда, как от пощечины, она сразу и начисто протрезвела.

— А теперь, когда мы переедем мост, нам надо повернуть направо, на Марин-драйв? — продолжал он. — Я полагаюсь на вас. Скажите мне.

Пришла осень, потом зима, потом весна, и она вспоминала о нем, наверно, каждый день. Словно каждый раз, когда засыпаешь, тебе сразу начинает сниться один и тот же сон. Она откидывалась на спинку софы и представляла, что лежит в его объятьях. Казалось бы, она не должна была запомнить его лица, но оно виделось ей во всех подробностях: с морщинками, усталое от жизни, ироничное лицо кабинетного жителя. Его тело ее тоже вполне устраивало: изношенное в разумных пределах, но еще в рабочем состоянии; неповторимо желанное.

Она чуть не рыдала от тоски по нему. Но все эти фантазии развеивались или впадали в спячку при возвращении Питера с работы. Их место заступали рутинные, неизменно надежные знаки супружеской привязанности.

Эта греза была, по правде сказать, очень похожа на ванкуверскую погоду — тоска по несбыточному с примесью уныния, дождливая мечтательная грусть, тяжесть, обвивающая сердце.

А что же отказ в поцелуе, такой неделикатный удар?

Она вычеркнула его из памяти. Забыла напрочь.

А что же ее стихи? Ни слова, ни строчки. Ни намека, что она когда-то творила.

Конечно, она отдавалась этим грезам, только когда Кейти спала. Иногда она произносила его имя вслух, впадая в полный идиотизм. Вслед за этим ее охватывали жгучий стыд и презрение к себе. Настоящий идиотизм. Идиотка.

И вдруг как разряд молнии — сперва вероятный, потом решенный отъезд Питера в Ланд. Возможность пожить в Торонто. Кусок чистого неба меж тучами, порыв ясности.

Она поймала себя на том, что пишет письмо. Оно начиналось не так, как положено письмам.

Никаких «Дорогой Гаррис». Никаких «Помните меня?».

Пишу, как бросают
Записку в бутылке, надеясь
Достичь Японии.

Подобие стихов — впервые за долгое время.

Адреса Грета не знала вообще. Ей хватило нахальства и глупости позвонить людям, которые тогда устраивали у себя вечеринку. Но когда ответила женщина, у Греты пересохло во рту, и он показался ей бескрайним и сухим, как тундра, и пришлось повесить трубку. Она дотащила Кейти до библиотеки и нашла телефонную книгу Торонто. Там была куча Беннетов, но ни одного Гарриса или Г. Беннета.

Тут ее посетила ужасная мысль: нужно просмотреть некрологи. Она ничего не могла с собой поделать. Пришлось ждать, пока человек, читающий подшивку газет, не закончит. Грете обычно не попадались на глаза торонтовские газеты, потому что за ними нужно было ехать через мост, а Питер приносил домой исключительно «Ванкувер сан». Листая страницы, Грета увидела фамилию «Беннет» над статьей. Значит, он не умер. Газетный колумнист. Конечно, ему ни к

чему, чтобы кто попало звонил ему домой, найдя телефон в справочнике.

Он писал о политике. Кажется, умные вещи, но Грета не заинтересовалась.

Она послала ему письмо прямо туда, в редакцию газеты. Она не могла быть уверена, что он сам вскрывает свои письма, а написать на конверте «Личное» означало напрашиваться на неприятности, так что она только дописала дату и время прибытия поезда после строчек про бутылку. И не подписалась. Пусть тот, кто откроет конверт, подумает, что это пишет какая-то престарелая родственница с оригинальной манерой выражаться. Ничего такого, что могло бы его скомпрометировать, даже если странное письмо перешлют ему домой и конверт откроет жена, вышедшая из больницы.

Кейти явно до сих пор не поняла, что папа, стоящий на платформе, не едет вместе с ними. Когда поезд поехал, а папа — нет, а потом поезд набрал скорость и папа окончательно остался позади, Кейти очень тяжело восприняла такое дезертирство. Но скоро успокоилась, сообщив Грете, что папа придет утром.

Утром Грета боялась скандала, но Кейти вообще ничего не сказала про папино отсутствие. Грета

спросила дочь, хочет ли та завтракать, и Кейти сказала, что да, а потом объяснила матери — как Грета объяснила ей самой еще до того, как они сели в поезд, — что теперь им нужно снять пижамы и пойти искать другую комнату, где им дадут завтрак.

— А что ты хочешь на завтрак?

— Крис-пис.

Так Кейти называла сухой завтрак «Криспис».

— Мы спросим, есть ли у них «Криспис».

«Криспис» в вагоне-ресторане был.

— А теперь мы пойдем искать папу?

В поезде был игровой зал для детей, но совсем небольшой. Его полностью заняли мальчик и девочка — судя по одинаковым костюмчикам с кроличьими ушами, брат и сестра. Их игра состояла в том, чтобы наезжать друг на друга игрушечными машинками, в последний момент сворачивая в сторону. ТРАХ! БАХ! ВЖЖЖ!

— Это Кейти, — сказала Грета. — А я ее мама. А вас как зовут?

Грохот стал еще яростнее, но дети не подняли головы.

— Папы тут нет, — сказала Кейти.

Грета решила, что надо вернуться в купе, взять книжку про Кристофера Робина, пойти в вагон

обозрения с прозрачным куполом и там читать. Там они точно никому не помешают, потому что завтрак еще не кончился, а самые главные горные пейзажи еще не начались.

Беда была в том, что, как только Грета дочитала книжку про Кристофера Робина, Кейти потребовала начать снова с самого начала. Когда Грета читала в первый раз, Кейти слушала молча, а теперь начала подхватывать концы строчек. В следующий раз она вторила матери, читая стихи полностью, но еще не была готова сама повторить все стихотворение целиком. Грета была уверена, что, когда вагон обозрения заполнится, эта декламация будет действовать на нервы окружающим. Дети в возрасте Кейти ничего не имеют против повторения, монотонности. Они даже рады ей — ныряют в нее, оборачивая знакомые слова вокруг языка, словно конфету, которая никогда не растает.

По лестнице поднялись юноша с девушкой и сели через проход от Греты и Кейти. Они бодро поздоровались, и Грета им ответила. Кейти рассердилась, что мать признала существование каких-то незнакомцев, и продолжала тихо повторять стихи, не отводя глаз от книги.

С той стороны прохода послышался голос юно-

ши — почти такой же тихий, как у Кейти:

Смена караула у дворца! Загляделись
Кристофер Робин с нянею Элис.[2]

Закончив это стихотворение, он принялся за другое:

Это что за ветчина?
Мне не нравится она![3]

Грета засмеялась, а Кейти — нет. Она была заметно возмущена. В ее системе мира глупые слова должны были исходить из книжки, а не так — без всякой книжки, изо рта.

— Извините, — сказал юноша Грете. — Мы дошкольники. Это наша рабочая литература.

Он перегнулся через проход и тихо и серьезно обратился к Кейти:

— Хорошая книжка, правда?

— Он хочет сказать, что мы работаем с дошкольниками, — объяснила девушка Грете. — Правда, иногда мы сами путаемся.

---

[2] Примечания: 2

Здесь и далее фрагменты стихотворения А. А. Милна «Королевский дворец» даны в переводе Н. Слепаковой (А. А. Милн, «Я был однажды в доме», изд-во «Детская литература»).

[3] Примечания: 3

Доктор Сьюз, «Зеленая яичница с зеленой ветчиной». Перевод Д. Никоновой.

Юноша продолжал беседовать с Кейти:

— А теперь я попробую угадать, как тебя зовут. Шустрик? Черныш?

Кейти кусала губу, но не смогла удержаться и дала ему суровую отповедь:

— Я не собака!

— Конечно нет. Это я сглупил. Я мальчик, меня зовут Грег. А эту девочку зовут Лори.

— Он тебя дразнит, — сказала Лори. — Хочешь, я его шлепну?

— Нет, — ответила, подумав, Кейти.

— «Элис просватана за рядового», — продолжил декламацию Грег. — «„Служба солдатская страх как сурова“, — молвила Элис».

На второй «Элис» Кейти едва слышно подхватила.

Лори сказала Грете, что они путешествуют и дают концерты в детских садах. Это называется «деятельность по подготовке к чтению». На самом деле они актеры. Лори сойдет с поезда в Джаспере, где ей дали работу на лето — официанткой плюс элементы комических номеров. Уже не для детей, конечно. Скорее, развлечения для взрослых.

— Господи боже мой, — засмеялась она. — Приходится брать что дают.

Грег был свободен как птица и собирался сойти

с поезда в Саскатуне. У него там родня.

Грета подумала, что оба они очень красивы. Высокие, гибкие, почти ненатурально стройные, он — с черными курчавыми волосами, она — с черными гладкими, как у Мадонны. Чуть позже она сказала об их похожести, и они ответили, что иногда пользовались этим, снимая жилье. Это очень упрощало жизнь, только надо было обязательно просить две кровати и ночью смять обе.

А теперь, сказали они, можно уже не беспокоиться. Ничего скандального между ними не происходит. Они расстаются после трех лет, проведенных вместе. Они уже много месяцев хранят целомудрие (во всяком случае, друг с другом).

— Все, хватит про дворец, — сказал Грег, обращаясь к Кейти. — Мне нужно делать упражнения.

Грета решила, что он хочет спуститься или по крайней мере выйти в проход вагона и заняться гимнастикой, но вместо этого оба откинули голову назад, напрягая шею, и разразились странными трелями и клекотом. Кейти была в восторге — она решила, что это представление и что ее хотят позабавить. Она и вела себя, как полагается зрителю, — сидела абсолютно тихо, а когда все кончилось, расхохоталась.

Какие-то люди, желающие подняться в купол для обозрения пейзажей, остановились у подножия лестницы — представление не захватило их, и они не понимали, что происходит.

— Извините, — сказал Грег, ничего не объясняя, но очень дружелюбно. Он протянул руку Кейти. — Пойдем посмотрим, есть ли тут игровая комната.

Лори и Грета последовали за ними. Грета надеялась, что Грег не из тех взрослых, что заводят дружбу с детьми, чтобы лишний раз убедиться в собственной неотразимости, и тут же начинают скучать и одергивать ребенка, устав от его неотвязного интереса.

К обеду — или даже чуть раньше — она поняла, что может не беспокоиться. Общение с Кейти вовсе не утомило Грега. К ним присоединились другие дети, и по Грегу было совершенно непохоже, что он от них устает.

Начались соревнования, которые Грег вроде бы не организовывал. Он как-то повернул направленное на него внимание детей сначала друг на друга, а потом — на игры, очень живые и даже буйные, но без злости. Никто не впадал в истерику. Никто не дулся. На это просто не было времени — столько всего интересного творилось.

Казалось чудом, что такой объем свободы и даже исступления вмещался в такое тесное пространство. А потраченная детьми энергия сулила, что после обеда они будут спать.

— Он совершенно удивительный, — сказала Грета.

— Он просто полностью выкладывается, — объяснила Лори. — Он себя не экономит. Вы понимаете? Многие себя экономят. Особенно актеры. Вне сцены они просто покойники.

«И я тоже, — подумала Грета. — Я тоже себя экономлю, почти все время. Я сдержанна с Кейти, сдержанна с Питером».

В десятилетии, которое уже началось (но о котором сама Грета пока что не задумывалась), подобным вещам будет уделяться большое внимание. Слова «полностью выкладываться» стали означать что-то такое, чего они не значили раньше. Плыть в общей волне. Дарить себя. Некоторые люди щедро дарили себя, другие не очень. Барьерам, разделяющим внутреннее и наружное, предстояло пасть под ногами толпы. Этого требовала «подлинность». Вещи вроде Гретиных стихов, которые не плыли в общем потоке, вызывали подозрение и даже навлекали на себя критику. Грета, конечно, продолжала гнуть

свою линию — она раскапывала, зондировала и втайне придерживалась невысокого мнения о контркультуре. Но сейчас, вручив свое дитя Грегу и его фокусам, она была всецело благодарна.

После обеда, как Грета и предвидела, дети легли спать. Некоторые матери — тоже. Другие сели играть в карты. Лори сошла в Джаспере, и Грег с Гретой помахали ей на прощание. Лори послала им воздушный поцелуй с перрона. Появился мужчина постарше, нежно поцеловал ее, забрал ее чемодан, посмотрел в сторону поезда и махнул Грегу. Грег махнул в ответ.

— Ее нынешний хахаль, — сказал он.

Они еще помахали из окна, поезд тронулся, и Грег с Гретой увели Кейти обратно в купе, где она уснула между ними — практически на лету, в прыжке. Они открыли занавеску на окне, чтобы впустить побольше воздуха, пока нет опасности, что ребенок вывалится.

— Как это круто, когда у тебя есть ребенок, — сказал Грег.

Еще одно модное новое словечко — во всяком случае, новое для Греты.

— Со многими случается, — ответила она.

— Вы такая спокойная. Дальше вы скажете: «Такова жизнь».

— Не скажу, — ответила Грета, уставилась ему в глаза, словно играя в гляделки, и он отвел взгляд, тряхнул головой и расхохотался.

Он рассказал ей, что стал актером из-за своей религии. Его семья принадлежала к какой-то христианской секте, о которой Грета никогда не слышала. Секта была немногочисленна, но очень богата (во всяком случае, некоторые люди из секты были богаты). Они построили в маленьком городке в прерии церковь и при ней театр. Там Грег и начал играть на сцене — ему еще и десяти лет не было. Они инсценировали библейские притчи, а также ставили пьесы из современной жизни — про людей, не принадлежащих к секте, и ужасные вещи, которые с ними из-за этого случались. Семья Грега очень гордилась им, и, конечно, он сам тоже гордился собой. Конечно, он не мог даже заикнуться своим родным о том, что происходило, когда приезжали новообращенные богачи, чтобы возобновить свои обеты и получить новый заряд святости. В любом случае Грегу нравилось всеобщее одобрение, и играть на сцене тоже нравилось.

Но в один прекрасный день он сообразил, что может просто играть на сцене без всей этой церковной лабуды. Он вежливо объяснил, чего хочет,

но ему сказали, что это в него вселился дьявол. Он сказал: «Ха-ха, я знаю, кто в меня вселился».

И до свидания.

— Вы не думайте, что там было только плохое. Я до сих пор верю, что человек должен молиться и все прочее. Но я никогда не смогу объяснить своим родным, что там творилось на самом деле. Даже намек на правду их просто убьет. Вы ведь, наверно, знаете таких людей?

Грета рассказала ему, как они с Питером только что переехали в Ванкувер, и ее бабушка в Онтарио списалась со священником из Ванкувера, и он пришел их навестить, и Грета была с ним ужасно заносчива. Он обещал за нее молиться, а она едва ли не открытым текстом заявила, что не стоит. Бабушка тогда уже умирала. Каждый раз, когда Грета вспоминала об этом, ей становилось стыдно, а потом она дико злилась на себя за этот стыд.

Питер вообще не понимал таких вещей. Его мать никогда не посещала церковь, хотя одной из заявленных причин их перехода через горы было то, что они хотели свободно исповедовать католичество. Питер говорил, что католикам, наверно, хорошо — у них есть запасная страховка на случай смерти.

Это воспоминание о Питере было первым за долгое время.

Правду сказать, во все время трудного, но в чем-то утешительного разговора Грета и Грег пили. Он откуда-то достал бутылку узо. Грета пила очень осторожно — она вообще была осторожна со спиртным после той писательской вечеринки, — но все же отчасти опьянела. Достаточно, чтобы они с Грегом начали гладить друг другу руки, а потом целоваться и ласкать друг друга. Все это, конечно, происходило рядом со спящей Кейти.

— Давай-ка перестанем, — сказала Грета. — Иначе потом будем жалеть.

— Это не мы, — ответил Грег. — Это какие-то совсем другие люди.

— Ну так скажи им, чтобы перестали. Ты знаешь, как их зовут?

— Погоди-ка… Рег. Рег и Дороти.

— Ну так прекрати, Рег. В присутствии моего невинного ребенка.

— Можно пойти ко мне. Здесь недалеко.

— У меня нету…

— У меня есть.

— Неужели прямо при себе?

— Нет, конечно. За кого ты меня принимаешь?

И они поправили пришедшую в беспорядок одежду, старательно застегнули все до единой пуговицы полога на койке, где спала Кейти, выскользнули из купе и, напустив на себя чрезвычайно невинный вид, перебрались в вагон Грега. Но можно было не стараться — они никого не встретили. Пассажиры сидели в вагоне обозрения, фотографируя вечные горы, либо оттягивались в вагоне-баре, либо прилегли отдохнуть.

В отсеке Грега, где царил хаос, они начали с того же, на чем только что прервались. Койка была узкая, и места обоим не хватало, но они как-то пристроились друг на друге. Сначала их разбирал сдавленный смех, потом сотрясали спазмы наслаждения — смотреть было некуда, кроме как в широко распахнутые глаза другого. Они впивались друг в друга зубами, чтобы сдержать рвущийся наружу пронзительный крик.

— Мило, — сказал Грег. — Неплохо.

— Мне надо идти обратно.

— Так скоро?

— Кейти проснется, а меня нет.

— Ладно. Ладно. Мне все равно надо собираться, Саскатун уже скоро. Представляешь, что будет, если поезд подъедет, когда мы в самом разгаре.

«Привет, папа. Привет, мама. Подождите минуточку, пока я тут… А-а-а-аах!»

Она привела себя в порядок и ушла. На самом деле ей было все равно, кто ее увидит. Она была слаба, потрясена, но ее несло на волне радости, словно гладиатора, — она полностью сформулировала эту мысль про себя и улыбнулась ей, — словно гладиатора, который вышел на арену и победил.

Но она никого не встретила.

Нижнее крепление полога было отстегнуто. Грета точно помнила, что застегивала его. Хотя даже при отстегнутом креплении Кейти вряд ли могла бы выбраться наружу — и, конечно, даже пробовать не стала бы. Один раз, когда Грете нужно было выйти в туалет, она подробно объяснила Кейти, что та не должна за ней ходить, и Кейти сказала: «Не буду» — таким тоном, словно допустить саму возможность подобного означало объявить ее неразумным младенцем.

Грета взялась за занавеску, чтобы открыть ее совсем, и, открыв, обнаружила, что Кейти нет.

Она лишилась рассудка. Она рывком сбросила подушку, как будто ребенок размеров Кейти мог под ней укрыться. Она стала тыкать кулаками в одеяло, словно Кейти могла прятаться под ним.

Она взяла себя в руки и попыталась сообразить, останавливался ли поезд, пока она была с Грегом. На этой остановке, если остановка была, мог ли в поезд забраться похититель и каким-то образом украсть Кейти?

Грета стояла в проходе, пытаясь сообразить, что нужно сделать, чтобы остановить поезд.

Потом она подумала — заставила себя подумать, — что ничего подобного случиться не могло. Это смешно. Кейти просто проснулась, увидела, что матери нет, и пошла ее искать. Сама по себе.

Она где-то тут. Должна быть где-то тут. Торцевые двери вагона слишком тяжелые, Кейти не смогла бы их открыть.

Грета стояла как вкопанная. Все ее тело, ее мозг разом опустели. То, что случилось, не могло случиться. Надо вернуться назад во времени, в момент перед тем, как она ушла с Грегом. И там остановиться. Стоп.

Раскладная койка-кресло через проход пустовала. На ней лежали женский свитер и какой-то журнал, давая понять, что хозяйка вернется. Дальше была такая же койка, но разложенная и с опущенным пологом, как только что ее — или их с Кейти — койка. Грета рванула полог. Там спал какой-то старик — он во сне перевернулся

на спину, но не проснулся. Разумеется, он у себя никого не прятал, там просто не было места.

Какой идиотизм.

Тут ее охватил новый страх. Что, если Кейти все же добралась до конца вагона и умудрилась открыть дверь? Или кто-то шел через эту дверь, а Кейти проскользнула за ним следом. Между вагонами был узкий отсек — там, где вагоны, собственно, сцеплялись друг с другом. Там движение поезда внезапно ощущалось по-новому и пугало сильнее. За спиной тяжелая дверь, впереди — другая, а по сторонам лязгают железные пластины. Они прикрывали ступеньки, которые опускались на перрон на станциях.

В этих переходах люди всегда торопятся, чтобы убежать от качки и грохота, напоминающих о подлинной конструкции вещей, которые на поверку оказываются не такими уж незыблемыми. Они будто сляпаны на скорую руку, раз так качаются и грохочут.

Дверь в торце вагона была тяжелой даже для Греты. А может, она просто ослабела от страха. Она изо всех сил налегла на дверь плечом.

И там, между вагонами, на беспрестанно лязгающей металлической плите, сидела Кейти. Глаза широко раскрыты, рот приоткрыт — удивленная,

одна. Она вовсе не плакала, но расплакалась при виде матери.

Грета схватила ее, вскинула себе на бедро и вывалилась обратно в дверь, которую только что открыла.

У всех вагонов были названия — в честь известных битв, географических открытий или знаменитых канадцев. Их вагон назывался «Коннахт». Грета этого никогда не забудет.

Кейти была совершенно невредима. Она могла зацепиться одеждой об острые трущиеся края металлических пластин, но не зацепилась.

— Я пошла тебя искать, — сказала она.

Когда? Секунду назад — или сразу после того, как Грета ее оставила?

Конечно нет. Кто-нибудь наверняка заметил бы ее, взял на руки, поднял тревогу.

День выдался солнечный, но не теплый. Лицо и руки Кейти были заметно прохладными.

— Я думала, ты на ступеньках, — сказала Кейти.

Грета уложила ее на их общую койку и укрыла одеялом, и тут ее саму затрясло как в лихорадке. Ее замутило, в горле появился вкус рвоты.

— Не толкайся, — сказала Кейти и отодвинулась, извиваясь как червяк. — От тебя пахнет

плохо.

Грета убрала руки от дочери и улеглась на спину.

Это было совершенно ужасно — все то, что она себе представляла, то, что могло случиться с ее дочерью. Кейти все еще лежала напряженная, застывшая в возмущении, отстраняясь от матери.

Конечно, Кейти кто-нибудь нашел бы. Хороший человек, а не плохой. Заметил бы и отнес в безопасное место. Грета услышала бы объявление по радио — в поезде найден потерявшийся ребенок. По словам девочки, ее зовут Кейти. Грета помчалась бы сразу, где бы ни была, на ходу застегиваясь и приводя себя в порядок, — помчалась бы забирать ребенка. Соврала бы, что она только на минуту вышла в туалет. Да, она испугалась бы, но, по крайней мере, у нее не было бы в голове этой картинки: Кейти, что беспомощно сидит в узком лязгающем пространстве между вагонами. Не плача, не жалуясь — словно ее приговорили сидеть там вечно без всяких объяснений и без надежды. Взгляд бессмысленный, челюсть отвисла — но тут она поняла, что пришло спасение, и тогда уже стало можно плакать. Лишь тогда она вернулась в свой мир и к ней вернулось право страдать и жаловаться.

Сейчас Кейти заявила, что спать ей не хочется, и попыталась встать. Она спросила, где Грег. Грета ответила, что он устал и лег спать.

Остаток дня они провели в вагоне обозрения. Кроме них, там почти никого не оказалось. Любители пейзажной фотографии, видимо, истратили всю энергию на Скалистые горы. А в прериях, как сострил Грег, не было ничего выдающегося.

Поезд ненадолго остановился в Саскатуне, и несколько человек сошли. Среди них Грег. Грета видела, что его встречают мужчина и женщина — должно быть, родители. Еще женщина в инвалидном кресле — должно быть, бабушка — и несколько молодых людей, которые стояли рядом, с лицами бодрыми и смущенными одновременно. Никто из них не был особо похож на сектантов или на тиранов, неспособных понять чужие страдания.

Но как это определишь по виду?

Грег отвернулся от встречающих и стал разглядывать окна поезда. Грета помахала ему из вагона обозрения, он заметил ее и помахал в ответ.

— Вон Грег, — сказала она, обращаясь к Кейти. — Видишь, вон там, внизу. Он нам машет. Помаши ему тоже.

Но Кейти не смогла найти Грега взглядом. А

может, и пробовать не стала. Она отвернулась с чопорным и слегка оскорбленным видом, и Грег, последний раз фигурно взмахнув рукой, тоже отвернулся. Уж не наказывает ли Кейти его за то, что он ее бросил, подумала Грета. Она явно отказывается по нему скучать или даже признавать, что он существует на свете.

Ну и ладно — раз так, то пусть будет так, и дело с концом.

— Грег тебе помахал, — сказала Грета, когда поезд отходил от перрона.

— Я знаю.

Ночью, пока Кейти спала на койке, Грета сидела рядом и писала письмо Питеру. Длинное письмо — она описывала разные типы пассажиров, стараясь, чтобы выходило смешно. Она писала о том, как многие из них предпочитают смотреть на жизнь через видоискатель фотоаппарата, а не напрямую. О том, что Кейти ведет себя хорошо. Конечно, ни слова о потере и страхе. Она отправила письмо, когда прерии давно остались позади, мимо пошли бесконечные леса черных елей и поезд по неизвестной причине остановился в маленьком затерянном городке под названием Хорнпейн.

На протяжении всех этих сотен миль все ее ча-

сы бодрствования были посвящены Кейти. Грета знала, что никогда раньше не была так предана ребенку. Да, она заботилась о дочери, одевала ее, кормила, разговаривала с ней все время, пока они были вдвоем, а Питер — на работе. Но у Греты были еще и дела по дому, и она уделяла дочери внимание лишь отрывочно, а ее нежность была хорошо рассчитанной.

Причем дело было не только в работе по хозяйству. Другие мысли заслоняли ребенка в голове у Греты. Даже до того, как ею овладела бессмысленная, изнурительная, идиотская одержимость человеком из Торонто, у нее была еще и другая работа — работа поэта, которую она творила внутри себя едва ли не с рождения. Ее осенила внезапная мысль, что это — тоже предательство: по отношению к Кейти, к Питеру, к жизни. А теперь из-за этой картины у нее в голове — Кейти, сидящая в металлическом лязге между вагонами, — она, мать Кейти, была обязана принести еще одну жертву.

Грех. Она устремила свое внимание на что-то другое. Целенаправленное, жадно ищущее внимание — на что-то иное, нежели ее ребенок. Грех.

Они прибыли в Торонто незадолго до полудня.

Небо было черное. Летняя гроза с молнией. Кейти, живя на западном побережье, никогда не видела такого, но Грета объяснила, что бояться тут нечего, и Кейти, кажется, не боялась. Она не испугалась и еще более непроглядной черноты, озаренной электрическими лампочками, в тунеле, где остановился поезд.

— Ночь, — сказала она.

— Нет-нет. — Грета объяснила, что надо выйти из поезда и пройти пешком до конца туннеля. Потом они поднимутся по ступенькам или поедут наверх на эскалаторе и окажутся в большом здании, а оттуда выйдут на улицу и возьмут такси. Такси — это просто машина, и на этой машине они поедут в свой дом. В новый дом, где они немножко поживут. Они там немножко поживут, а потом поедут обратно к папе.

Они поднялись вверх по пандусу, и там оказался эскалатор. Кейти притормозила, так что Грета тоже притормозила, но тут их начали обгонять другие люди. Так что Грета взяла Кейти на руки, пристроила ее у себя на бедре, наклонилась, ухитрилась подхватить другой рукой чемодан и грохнула его на движущиеся ступени. Наверху она спустила дочь на пол, и они смогли взяться за руки под ярко освещенными высокими сводами

центрального вокзала.

Прибывшие пассажиры, идущие перед ними, отделялись от потока по одному — их разбирали встречающие, окликая по имени или просто подходя и подхватывая чемоданы.

Их чемодан тоже кто-то подхватил. Схватил его, схватил Грету и поцеловал ее впервые — решительно и торжественно.

Гаррис.

Грету сначала что-то ударило, а потом у нее внутри все перевернулось и с грохотом расставилось по местам.

Она пыталась цепляться за Кейти, но девочка именно в этот момент отстранилась и вырвала руку.

Она не делала попыток убежать. Просто стояла и ждала, что будет дальше.

Амундсен

На скамейке у станции сидела я и ждала. Когда поезд пришел, станцию открыли, но потом снова заперли. На другом конце скамьи сидела женщина, держа меж коленей авоську со свертками в промасленной бумаге. Мясо, сырое мясо. Чувствовалось по запаху.

Через несколько путей от нас, ожидая неизвестно чего, стояла электричка. Пустая.

Больше пассажиров не было, и через некоторое время начальник станции высунул голову и закричал: «Сан!» Сначала я решила, что он зовет кого-то по имени, «Сам». И действительно, из-за угла здания появился мужчина в форменной одежде. Он перешел через пути и залез в трансформаторный вагон. Женщина с авоськой встала и пошла за ним, так что я последовала ее примеру. С другой стороны улицы послышались крики; двери дома с плоской крышей, крытой темной черепицей, отворились, и оттуда выбежало несколько человек — они на ходу натягивали кепки, молотя себя «тормозками» по ногам. Они устроили ужасный тарарам — можно было подумать, что поезд вот-вот покажет им хвост.

Но когда они поднялись в вагон и расселись по местам, ничего не случилось. Поезд не трогался. Они пересчитали друг друга по головам, назвали имя отсутствующего и велели машинисту пока не ехать. Тут кто-то из них вспомнил, что у отсутствующего сегодня выходной. Поезд тронулся, хотя я не могла бы сказать, прислушивался ли машинист к происходящему в вагоне и не было ли ему все равно.

Все мужчины слезли у лесопилки, расположенной среди кустарника на плоской равнине — пешком от вокзала они дошли бы сюда минут за десять, — и вскоре после этого в окнах вагона показалось озеро, покрытое снегом. Перед ним стояло длинное белое деревянное здание. Женщина поправила свои свертки и встала, я тоже. Машинист снова закричал: «Сан!» — и открыл двери вагона. На платформе стояли две женщины — они приветствовали женщину с авоськой, а она в ответ заметила, что сегодня ветрено.

Все они избегали смотреть на меня, пока я спускалась по ступенькам вслед за женщиной с мясом.

На этом конце поезду, видно, ждать было некого. Двери с лязгом захлопнулись, и он двинулся в обратный путь.

Воцарилась тишина, воздух был как лед. Хрупкие с виду березы с черными отметинами на белых стволах и какие-то растрепанные вечнозеленые кустики, сбившиеся в кучу, как сонные медведи в берлоге. Замерзшее озеро было не ровным, а бугрилось у берега, словно волны превратились в лед прямо на бегу. За нами стояло здание с решительными рядами окон и застекленными верандами по обоим концам. Все было сурово и северно, черно-бело под высоким куполом облаков.

Но березовая кора совсем не белая, если подойти поближе. Серовато-желтая, серовато-голубая, серая.

Все так неподвижно, так завораживает.

— Вы куда? — спросила меня женщина с мясом. — Посетителей не пускают после трех.

— Я не посетитель, — ответила я. — Я учительница.

— Ну так вас все равно не пустят через парадную дверь, — с некоторым удовлетворением сказала женщина. — Идите-ка лучше со мной. А что, у вас багажа нет никакого?

— Начальник станции обещал его привезти.

— Вы так тут стояли, как будто заблудились.

Я объяснила, что остановилась из-за красоты

пейзажа.

— Ну да, некоторым тут нравится. Только если они не слишком больные и у них есть время прохлаждаться.

После этого мы молчали, пока не дошли до кухни, расположенной в торце здания. Мне не терпелось согреться. Я не успела осмотреться вокруг, потому что женщина обратила внимание на мои ноги.

— Ну-ка, разуйтесь, а то весь пол затопчете.

Я неловко стащила сапоги — сесть было некуда — и поставила их на коврик рядом с сапогами женщины.

— Возьмите их с собой. Я не знаю, куда вас определят. И пальто не снимайте, в гардеробе не топят.

Ни отопления, ни света — кроме того, что просачивался в крохотное окошечко где-то высоко над головой. Словно я опять школьница и меня наказали. Отправили на отсидку в гардероб. Да. Тот же запах — никогда до конца не просыхающей зимней одежды, сапог, промокших насквозь до грязных носков, немытых ног.

Я залезла на скамейку, но до окна все равно не дотянулась. На полке, где лежали как попало набросанные шапки и шарфы, я обнаружила

пакетик с инжиром и финиками. Должно быть, кто-то стащил и спрятал, чтобы унести домой. Я вдруг поняла, что проголодалась. Я ничего не ела с самого утра, кроме подсохшего бутерброда с сыром из железнодорожного буфета. Я задумалась о том, этично ли украсть у вора. Но семечки инжира налипнут мне на зубы и выдадут меня.

Я слезла со скамьи — и как раз вовремя. Кто-то шел в гардероб. И не из кухонной обслуги, а девочка, школьница, в громоздком зимнем пальто и платке. Она не вошла, а ворвалась — швырнула книги на скамью, содрала платок, так что волосы выстрелили в разные стороны, и как будто одновременно с этим брыкнула обеими ногами, скидывая сапоги, которые разлетелись по полу. Очевидно, ее-то никто не остановил с требованием снять сапоги у кухонной двери.

— Ой, я не хотела в вас попасть, — сказала девочка. — Тут так темно после улицы, что ничего не разобрать. Вы не замерзли? Вы кого-то встречаете с работы?

— Я жду доктора Лисса.

— Ну так он скоро будет, я с ним ехала из города. Вы не больная? Если вы больная, вам сюда нельзя, вам надо в его кабинет в городе.

— Я учительница.

— Правда? Вы из Торонто приехали?

— Да.

Она замолчала ненадолго — может быть, из уважения.

Но нет. Она разглядывала мое пальто.

— Очень красивое. А воротник у вас из чего?

— Мерлушка. Искусственная, вообще-то.

— Прямо не отличить. Я не знаю, зачем вас сюда прислали, — тут так холодно, того гляди задница отвалится. Извините. Вы хотели повидать доктора, я могу вас проводить. Я знаю, где тут что, я тут живу чуть ли не с рождения. Моя мамка заправляет кухней. Меня зовут Мэри. А вас?

— Виви. Вивьен.

— Если вы учительница, мы должны вас звать «мисс» и по фамилии. Мисс… как?

— Мисс Хайд.

— Смотрите, чтоб вас не ухайдакали, — немедленно отозвалась она. — Извините, я всегда что-то такое выдумываю. Хорошо бы я у вас училась, но мне надо ходить в школу в городе. Такие дурацкие правила. Потому что у меня нету тэ-бэ-цэ.

Она говорила все это на ходу — мы вышли через дверь в дальнем конце гардеробной и пошли по типично больничному коридору. Натертый воском линолеум. Стены выкрашены в тускло-зе-

леный цвет. Запах дезинфекции.

— Теперь, когда вы приехали, может, я уговорю Рыжего перевести меня сюда.

— Кто такой Рыжий?

— Лисс, Рыжий Лис. Это из книжки. Мы с Анабель придумали его так звать.

— А кто это Анабель?

— Уже никто. Она умерла.

— Ой, извини.

— Вы не виноваты. Здесь это бывает. Я в этом году перехожу в старшие классы. Анабель вообще толком не ходила в школу. Когда я только начала ходить в школу, Рыжий уговорил учительницу почаще отпускать меня домой, чтобы я побольше времени была с Анабель.

Она остановилась у полуоткрытой двери и свистнула:

— Эй! Я привела учительницу.

Ответил мужской голос:

— Хорошо, Мэри. Мне тебя на сегодня хватит.

— Поняла.

Она поплыла прочь, а я оказалась лицом к лицу с худощавым мужчиной среднего роста. У него были очень коротко стриженные светлые рыжеватые волосы, которые блестели в свете коридорных ламп.

— Вы познакомились с Мэри, — заметил он. — Она ужасная болтушка. Она не будет у вас учиться, так что вам не придется каждый день через это проходить. Ее либо любят, либо терпеть не могут.

Мне показалось, что он старше меня лет на десять-пятнадцать, и сначала он со мной разговаривал именно так, как обычно говорят мужчины постарше с молодыми женщинами. Человек, который должен стать моим начальником. Занятый по уши. Он спросил, как я доехала и где мой чемодан. Он хотел знать, как мне понравится жить в лесной глуши после Торонто и не будет ли мне скучно.

Я заверила его, что не будет, и добавила, что здесь очень красиво.

— Здесь как… как будто в русском романе.

Он впервые взглянул на меня с интересом:

— В самом деле? В каком же именно?

Глаза у него были светлые, ясные — серовато-голубые. Одна бровь поднялась островерхим домиком.

Нельзя сказать, что я не читала русских романов. Я прочла их несколько — одни целиком, другие частично. Но из-за этой брови и его ироничного, чуть агрессивного лица я не смогла

вспомнить ни одного названия, кроме «Войны и мира». А «Войну и мир» я не хотела называть, потому что ее все знают.

— «Война и мир».

— Боюсь, у нас тут только мир. Если вам хочется войны, вам следовало бы вступить в одно из этих женских подразделений и поехать за море.

Я рассердилась и почувствовала себя униженной, потому что я на самом деле не выпендривалась. Во всяком случае, не только выпендривалась. Я от души хотела поделиться с ним, рассказать, как потряс меня этот прекрасный пейзаж.

Доктор был явно из тех людей, которые обожают вопросы-ловушки.

— Наверно, я ждал, что явится какая-нибудь пронафталиненная престарелая дама-учительница, — сказал он слегка извиняющимся тоном. — Как будто в наше время человек, если он хоть что-то знает и умеет, пойдет преподавать. У вас ведь не педагогическое образование? Что вы собирались делать, получив степень бакалавра?

— Учиться на магистра, — коротко ответила я.

— И почему же вы передумали?

— Решила заработать денег.

— Весьма разумно. Хотя, боюсь, тут вы много не

заработаете. Простите меня за личные вопросы. Я просто хотел убедиться, что вы не сбежите внезапно, оставив нас в неловком положении. Замуж не собираетесь?

— Нет.

— Хорошо, хорошо. Все, больше не буду вас мучить. Надеюсь, я вас не очень напугал.

Я отвернулась от него:

— Нет.

— Идите по коридору, там будет кабинет заведующей, она вам расскажет все, что нужно. Есть будете с медсестрами. Заведующая покажет вашу комнату. Старайтесь не простужаться. Надо полагать, опыта работы с туберкулезными больными у вас нет?

— Ну, я читала…

— Знаю, знаю. «Волшебную гору». — Я попалась в очередную ловушку, и он воспрянул духом. — Смею сказать, с тех пор медицина отчасти продвинулась. Вот, я тут набросал кое-какие мысли о здешних детях и о том, что с ними надо делать. Иногда мне легче писать, чем говорить. Идите к заведующей, она вам все расскажет.

Я не пробыла здесь и недели, а события первого дня уже казались неповторимыми и невероятными. Кухню и гардероб при кухне, где поварихи

оставляли одежду и прятали плоды мелких краж, я больше не видела и, скорее всего, не должна была больше видеть. В кабинет к врачу мне тоже было нельзя. По всем вопросам, со всеми жалобами и повседневными просьбами следовало идти к заведующей — невысокой плотной женщине, розоволицей, с шумным дыханием, в очках без оправы. Любой вопрос или просьба заведующую как будто ошеломляли и вызывали непреодолимые трудности, но в конце концов она предоставляла ответ на вопрос или выполняла просьбу. Иногда заведующая ела в столовой для медсестер, где ей подавали особую еду и где в ее присутствии воцарялась траурная атмосфера. Но по большей части она держалась на своей территории.

Кроме заведующей, в санатории было три дипломированных медсестры, все старше меня как минимум лет на тридцать. Все пенсионерки, они вышли снова на работу из-за войны, движимые патриотическим долгом. Кроме них, здесь были еще санитарки, моих лет или даже моложе, в основном замужние или обрученные — или изо всех сил ищущие жениха или мужа, как правило военного. Когда заведующей и медсестер рядом не было, санитарки болтали не смолкая. Мной

они не интересовались вообще. Они не хотели знать, что собой представляет город Торонто, хотя у некоторых из них были знакомые, которые ездили туда на медовый месяц. Им было все равно, как подвигается мое преподавание и чем я занималась до того, как начала работать в «Сане», как здесь его называли. Они были вполне вежливы, за столом передавали мне масло (оно называлось маслом, но на самом деле это был маргарин в неровных оранжевых разводах — красили его прямо на кухне, других вариантов не допускали тогдашние законы[4]) и предупреждали, чтобы я не ела «пастуший пирог», потому что у него начинка из сурчатины. Просто они старались сбросить со счетов события, происходящие в неизвестных им местах или происходившие в неизвестные им эпохи. Такие события мешали им жить. Если по радио передавали новости, девушки при первой же возможности старались их выключить и поймать какую-нибудь музыку.

---

[4] Примечания: 4

По канадским законам того времени продажа подкрашенного маргарина запрещалась — маргарин, производимый на фабрике и продаваемый в магазинах, мог быть только белым. Но потребители предпочитали желтый маргарин, больше похожий с виду на масло. Поэтому маргарин продавался сразу в комплекте с пузырьком пищевого красителя, и у покупателей была возможность подкрасить маргарин, добавив краситель в домашних условиях.

«Танцую с куколкой в дырявых чулках…»[5]

И медсестры, и санитарки не любили радиостанцию Си-би-си, а я была воспитана в твердой уверенности, что она несет культуру в глухомань. Но с другой стороны, они благоговели перед доктором Лиссом — в том числе и потому, что он прочитал столько книг.

Еще они говорили, что, если уж он захочет кого взгреть, тому человеку не поздоровится.

Я не могла понять, видят ли они какую-то связь между прочитанными книгами и умением взгреть провинившегося.

Обычные педагогические теории здесь не работают. Кто-то из этих детей вернется в большой мир или заведенную систему, а кто-то нет. Лучше обойтись без нагрузки. Вся эта ерунда с контрольными, заучиванием наизусть и классификациями.

Про оценки забудьте вообще. Кому надо будет, тот потом нагонит или обойдется. Учите самым простым навыкам, наборам фактов и т. п., которые понадобятся в Большом Мире. Так называемые одаренные дети? Отвратительный

---

[5] Примечания: 5

Песня 1944 г., широко исполнялась, в том числе такими известными певцами, как Бинг Кросби и сестры Эндрюс.

термин. Если ребенок способный в академическом смысле (как по мне, весьма сомнительная способность), он потом легко нагонит.

Забудьте про реки Южной Америки и Хартию вольностей.

Предпочтительно — рисование, музыка, рассказы.

Игры приемлемы, но следите, чтобы не было излишнего возбуждения или слишком сильной конкуренции.

Ваша задача — удержаться на тонкой грани между стрессом и скукой. Скука — проклятие больничных стационаров.

Если у заведующей не найдется нужная вещь, иногда оказывается, что она лежит в закромах у дворника.

Счастливого плавания!

Число детей на уроке каждый раз было разным. То пятнадцать, то всего шесть. Занятия шли только утром, с девяти до двенадцати, с переменами. Если у ребенка поднималась температура или ему надо было сдавать анализы, он на уроки не приходил. Приходящие дети были тихи и послушны, но не особенно интересовались учебой. Они давно уже поняли, что эта школа — понарошку и они не обязаны ничему учиться, так же

как от них не требуется знание таблицы умножения и заучивание стихов наизусть. Но от такой свободы они не стали высокомерными, а скука не сподвигала их на опасные выходки — эти дети были кротки и мечтательны. Они тихо пели каноны. Они играли в крестики-нолики. Над импровизированной классной комнатой висела тень поражения.

Я решила поймать доктора на слове. На отдельных его словах: например, о том, что скука — это враг.

У дворника в чулане я приметила глобус. И попросила выдать его мне. Я начала с основ географии. Океаны, континенты, климатические зоны. Ветра и течения, почему бы нет? Страны и города. Тропик Рака и тропик Козерога. Почему бы, собственно, не реки Южной Америки?

Кто-то из детей проходил это раньше, но почти забыл. Мир за пределами леса и озера для них истончился и растаял. Мне показалось, что эти дети чуть приободрились, словно заново подружившись с тем, что когда-то знали. Конечно, я не вываливала на них все сразу. И мне приходилось двигаться медленно, чтобы не перегрузить тех, кто заболел слишком рано и вообще никогда ничего такого не изучал.

Но это не страшно. Учение можно превратить в игру. Я разделила детей на команды и велела выкрикивать ответы, а сама металась туда и сюда с указкой. Но однажды на урок вошел доктор — прямо с утренних операций — и застал меня врасплох. Я не могла вообще прекратить игру, но попыталась смягчить остроту соревнования. Доктор с усталым и отстраненным видом сел за парту. Он не стал возражать против игры. Через несколько минут он включился в нее, выкрикивая смешные и нелепые ответы и не просто неправильные, но явно выдуманные названия. А потом, постепенно, стал понижать голос. Все тише, тише — до бормотания себе под нос, до шепота, до того, что вообще уже ничего не стало слышно. Ничего. Таким абсурдным приемом он захватил контроль над происходящим. Весь класс молча шевелил губами, подражая доктору. Дети не сводили глаз с его лица.

И вдруг он громко зарычал, и все расхохотались.

— Чего вы все на меня уставились? Этому вас учит ваша учительница, да? Пялиться на людей, которые сидят и никого не трогают?

Большинство детей засмеялись, но некоторые по-прежнему не сводили с него глаз. Они жажда-

ли новых забавных выходок.

— Идите отсюда. Идите хулиганьте где-нибудь в другом месте.

Потом он извинился передо мной за то, что прервал урок. Я начала объяснять, почему решила сделать уроки больше похожими на настоящую школу.

— Понимаете, я согласна с вами насчет стресса, — серьезно заговорила я. — Я согласна с тем, что вы написали в своей инструкции. Я просто подумала…

— В какой инструкции? Ах, в той! Это просто обрывки мыслей. Отнюдь не заповеди, высеченные на мраморе.

— Я хочу сказать, если дети не слишком плохо себя чувствуют…

— Конечно, я уверен, что вы правы. Это не имеет значения.

— А то мне показалось, что детям скучно.

— Ясно, и незачем разводить церемонии, — сказал он и пошел прочь.

Потом остановился и обернулся, чтобы нехотя извиниться:

— Мы поговорим об этом в другой раз.

Я подумала, что другого раза не будет. Доктор явно считал меня надоедливой дурой.

За обедом санитарки сказали, что утром кто-то умер на операционном столе. Значит, мой гнев был неоправданным, и я почувствовала себя еще большей дурой.

Во второй половине дня я была свободна. У моих учеников был длинный тихий час, и мне иногда хотелось взять с них пример. У меня в комнате было холодно — как и во всем здании, гораздо холоднее, чем в квартире на Авеню-роуд, хотя мои бабушка с дедушкой и выкручивали регулятор батарей на минимум из патриотических соображений. И одеяло тоже было очень тонкое. Странно, — казалось бы, туберкулезные больные нуждаются в тепле и уюте.

Впрочем, у меня-то туберкулеза нет. Может быть, санаторий экономит на удобствах для здоровых людей.

Я была сонная, но заснуть не могла. Над головой скрипели колесики — это больных на кроватях выкатывали на открытые веранды, чтобы подвергнуть воздействию ледяного воздуха.

Здание, деревья, озеро больше ни разу не казались мне такими, как в самый первый день, когда меня поразила их тайна, их мудрость. В тот день я поверила, что невидима. Сегодня мне казалось, что это неправда и никогда не было правдой.

Вон учительница. Чего это она?
Смотрит на озеро.
Зачем?
Видно, ей больше заняться нечем.
Везет же некоторым.

Время от времени я пропускала обед (хотя он входил в мое жалованье) и отправлялась в Амундсен, где обедала в кафе. Вместо кофе там подавали суррогат из жареной пшеницы, а сэндвичи лучше было брать с консервированным лососем. Были еще сэндвичи с куриным салатом, но его приходилось тщательно просматривать, выбирая шкурки и жилы. Но в кафе мне как-то легче дышалось — может, потому, что там меня никто не знал.

Хотя на этот счет я, скорее всего, ошибалась.

Женского туалета в заведении не было — приходилось идти в соседнее здание, где располагался отель, а там — в глубины здания по коридору, мимо открытой двери в пивную, где всегда было темно и шумно; из пивной пахло пивом и виски и вылетали клубы такого плотного сигаретного и сигарного дыма, что аж с ног сбивало. Но меня это не беспокоило. Лесорубы и работники лесопилки никогда не ухали мне вслед, в отличие от солдат и пилотов в Торонто. Здешние мужчины

были глубоко погружены в мужской мир — они травили байки, обращаясь друг к другу, и ходили сюда не для того, чтобы гоняться за женщинами. Скорее, для того, чтобы на время убраться от них подальше.

Кабинет доктора находился на главной улице. В маленьком одноэтажном домике, — значит, жил доктор где-то еще. Из разговоров санитарок я поняла, что доктор не женат. На единственной неглавной улице городка я нашла дом, который мог принадлежать ему, — оштукатуренный, с мансардным окном над входной дверью, со стопками книг на подоконниках. У дома был унылый, но аккуратный вид, повествующий о минимальном, но обязательном уровне удобства для одинокого мужчины — одинокого мужчины, любящего порядок.

В конце этой единственной жилой улицы стояла двухэтажная школа. На первом этаже учились до восьмого класса, на втором — с девятого по двенадцатый. Как-то я заметила там Мэри — она играла в снежки. Мне показалось, что сражение идет между девочками и мальчиками. Увидев меня, Мэри громко закричала: «Училка идет!» — бросила наугад снежки с обеих рук и двинулась ко мне.

— До завтра! — крикнула она через плечо; скорее не прощание, а угроза, но, кажется, никем не услышанная. — Вы домой? — спросила она меня. — Я тоже. Я обычно езжу с Рыжим, но он сегодня припозднился. Вы на трамвае ездите?

Я сказала, что да, и Мэри ответила:

— Я могу вам показать другую дорогу, заодно и деньги сбережете. Через кусты.

Она повела меня по узкой, но вполне проходимой тропе, которая шла над городом, потом через лес и мимо лесопилки.

— Так ездит Рыжий. Здесь выше, но зато дорога короче, когда сворачиваешь на «Сан».

Мы прошли мимо лесопилки, а потом над какими-то уродливыми вырубками в лесу — там стояли хижины, очевидно обитаемые, судя по веревкам с висящим на них бельем, поленницам и идущему из труб дыму. Из одной хижины выбежал огромный, похожий на волка пес и стал лаять и рычать, явно работая на публику.

— А ну заткнись! — заорала Мэри. Она мгновенно скатала и швырнула снежок, который попал собаке прямо между глаз.

Собака обратилась в бегство, но у Мэри уже был готов другой снежок, попавший собаке по крупу. Из хижины вышла женщина в фартуке

и завопила:

— Ты его чуть не убила!

— Ну и хрен бы с ним.

— Вот мой старик тебе всыплет!

— Погляжу я на него. Твой старик и в стену сортира не попадет!

Собака следовала за нами в отдалении, неубедительно рыча и лая.

— Не беспокойтесь, я с любой собакой разберусь, — сказала Мэри. — Спорим, я и с медведем разберусь, если мы вдруг наскочим на медведя.

— А разве они сейчас не спят?

На самом деле собака меня сильно испугала, но я старалась не подавать виду.

— Да, но с ними никогда не знаешь. Однажды медведь-шатун залез в мусорку в «Сане». Мамка обернулась, а он там. Рыжий достал ружье и застрелил его. Рыжий катал нас с Анабель на санях, и других ребят иногда тоже. Он умеет так свистеть, чтобы отпугивать медведей. А люди не слышат, для них этот звук слишком высокий.

— Правда? У него специальный свисток такой?

— Нет. Он ртом свистит.

Я вспомнила о представлении, устроенном доктором на моем уроке.

— Не знаю, может, он только так сказал, чтобы

мы с Анабель не боялись. Она не могла ехать, и ему приходилось тянуть ее на санях, а я бежала следом. Иногда я тоже вскакивала на сани, а доктор ворчал: «Что такое с этими санями? Они, похоже, тонну весят». Потом он старался внезапно повернуться и подловить меня, но у него ни разу не вышло. И он спрашивал Анабель, почему сани такие тяжелые и что она ела на завтрак, но она меня ни разу не выдала. При других ребятах я этого не делала. Лучше всего было тогда, когда катались только мы с Анабель. Она была моя лучшая подруга, такой у меня уже никогда не будет.

— А эти девочки, с которыми ты играешь в школе? Они тебе разве не подруги?

— Ну, я с ними просто время провожу, когда нечем больше заняться. Они для меня ничего не значат. У нас с Анабель был день рождения в одном и том же месяце. В июне. Когда нам исполнилось по одиннадцать лет, Рыжий взял нас покататься на лодке по озеру. Он учил нас плавать. Ну, меня. Анабель ему всегда приходилось поддерживать, она не могла научиться. А однажды он уплыл сам далеко и мы насыпали песку ему в туфли. А на наш двенадцатый день рождения мы не могли такое делать, но пошли к нему домой и ели торт. Анабель не могла съесть

ни кусочка, поэтому он повез нас в своей машине и мы кидали кусочки торта из окон чайкам. Они дрались и вопили как сумасшедшие. Мы хохотали до упаду, и доктору пришлось остановить машину и держать Анабель, чтобы у нее не началось кровотечение. А потом, после этого, мне уже не позволяли с ней видеться. Мамка вообще не хотела, чтобы я водилась с туберкулезными. Но Рыжий ее уговорил — сказал, что все прекратит, когда надо будет. И прекратил, и я на него ужасно злилась. Но все равно с Анабель было бы уже не так весело — она тогда уже слишком сильно болела. Я бы вам показала ее могилу, но она ничем не отмечена. Мы с Рыжим там что-нибудь поставим, когда у него руки дойдут. Если бы мы сейчас пошли прямо по дороге, а не свернули вниз, мы бы дошли до места, где она похоронена. Там хоронят только людей, которых некому забрать домой.

Мы уже спустились под гору и приближались к санаторию.

— Ой, чуть не забыла! — воскликнула она и вытащила пачку билетов. — Это на День святого Валентина. Мы в школе ставим такую пьесу,

называется «Передник».[6] Мне надо продать все эти билеты, а вы будете моей первой покупательницей! Мне тоже дали роль!

Оказалось, что я верно угадала дом доктора в Амундсене. Доктор повел меня туда на ужин. Приглашение последовало внезапно, когда мы столкнулись в вестибюле. Может быть, его мучила совесть из-за обещания поговорить со мной о педагогических идеях.

Он предложил как раз тот день, на который было назначено представление «Передника». Я сказала об этом, и он ответил:

— Ну и я тоже купил билет. Это не значит, что мы обязаны прийти.

— Но я вроде как обещала ей.

— Ну, значит, можете вроде как взять обещание обратно. Постановка будет ужасная, верьте моему слову.

Я повиновалась, хотя не видела Мэри до спектакля и не смогла ее предупредить. Я ждала там, где сказал мне доктор, — на открытой веранде у парадной двери. На мне было мое лучшее платье

---

[6] Примечания: 6

«Корабль ее величества „Передник“» — популярная комическая опера (1878) английских авторов, драматурга сэра Уильяма Швенка Гильберта (1836–1911) и композитора сэра Артура Сеймура Салливана (1842–1900).

из темно-зеленого крепа с маленькими жемчужными пуговками и воротничком из настоящего кружева. Я надела замшевые туфли на высоком каблуке, а потом всунула ноги прямо в туфлях в пимы. Я ждала, назначенное время уже прошло, и я начала бояться — во-первых, что из кабинета выйдет заведующая и увидит меня и, во-вторых, что доктор вообще про меня забыл.

Но вот он вышел, застегивая пальто, и извинился.

— Всегда находятся хвосты, которые нужно подобрать, — сказал он и под яркими звездами повел меня вокруг всего здания к своей машине. Он спросил, не скользко ли мне, и, когда я сказала «нет» (и тут же засомневалась, вспомнив о замшевых туфлях), он не предложил мне руки.

Машина у него была старая, потрепанная, как все машины в то время. И без отопления. Доктор сказал, что мы едем к нему домой, и я вздохнула с облегчением. Я не представляла, как мы стали бы беседовать в переполненной пивной при отеле, а сэндвичей в кафе мне хотелось по возможности избежать.

Когда мы приехали, доктор велел мне не снимать пальто, пока в доме не станет потеплее. Он тут же принялся растапливать печь.

— Я дворник, повар и официант в одном лице, — сказал он. — Скоро тут станет тепло и ужин подоспеет. Не предлагайте помочь, я предпочитаю все делать сам. Где вам удобней будет подождать? Если хотите, можете взглянуть на книги в гостиной. В пальто там должно быть вполне терпимо. Дом отапливается печками, и в комнатах, которыми я не пользуюсь, я просто не топлю. Выключатель внутри комнаты, прямо у двери. Вы не возражаете, если я послушаю новости? Я привык.

Я пошла в гостиную, чувствуя, что это приказ. Кухонную дверь я оставила открытой, но доктор пришел и закрыл ее со словами: «Только пока кухня согреется» — и ушел обратно — слушать торжественно-драматичный, почти священнодействующий голос диктора Си-би-си, сообщающий военные новости — новости последнего года войны. Я не слушала эту радиостанцию с тех пор, как уехала от бабушки с дедушкой, и очень пожалела, что нельзя остаться на кухне. Но меня ждали россыпи книг. Не только на полках, но и на столах, стульях, подоконниках, сваленные кучами на полу. Просмотрев несколько штук, я пришла к выводу, что доктор, скорее всего, покупает книги наборами и, похоже, состоит в

нескольких книжных клубах. Серия «Гарвардская классика». Многотомная «История» Уилла и Ариэль Дюрантов. Точно такие же стояли на полках у моего деда. Беллетристики и поэзии было немного, хотя попалось несколько удививших меня классических детских книг.

Книги о Гражданской войне в США, войнах в Южной Африке, Наполеоновских войнах, Пелопоннесских войнах, кампаниях Юлия Цезаря. Исследования Амазонки и Арктики. «Шеклтон во льдах». «Судьба экспедиции Франклина». «Отряд Доннера». «Затерянные племена: погребенные города Центральной Африки». «Ньютон и алхимия». «Секреты Гиндукуша». Хозяин этих книг явно стремится к знаниям, глотая их большими разрозненными кусками. Вряд ли его можно назвать педантом, человеком с жесткими, незыблемыми вкусами.

Значит, когда он меня спросил, какой именно русский роман я имею в виду, то стоял на довольно шаткой позиции.

Когда он закричал из кухни: «Готово!» — я пришла, вооруженная новым скептицизмом.

— С кем вы больше согласны, с Нафтой или Сеттембрини? — спросила я.

— Прошу прощения?

— В «Волшебной горе». Кто вам нравится больше — Нафта или Сеттембрини?

— Если честно, я всегда считал их обоих балаболами. А вы?

— Сеттембрини более гуманен, но Нафта интереснее.

— Что, теперь этому учат в школах?

— Мы не проходили этот роман в школе, — хладнокровно сказала я.

Он окинул меня беглым взглядом, подняв бровь:

— Извините. Если вас что-то заинтересовало в моей библиотеке, не стесняйтесь. Приходите и читайте в свободное время. У меня есть электрический обогреватель — с дровяной печью вы вряд ли управитесь. Подумаете об этом? Я соображу запасной ключ.

— Спасибо.

На ужин были свиные отбивные, картофельное пюре и консервированный горошек. На десерт — пирог с яблоками, из булочной. Пирог стал бы вкусней, если бы его подогрели.

Доктор расспрашивал меня о моей жизни в Торонто, об учебе в университете, о моих бабушке и дедушке. Он предположил, что меня воспитывали по чрезвычайно жестким правилам.

— Мой дедушка — священник либерального толка, вроде Пауля Тиллиха.

— А вы? Маленькая либеральная христианская внучка?

— Нет.

— Тушé. Вы думаете, что я груб?

— Как посмотреть. Если это допрос сотрудника работодателем, то нет.

— Тогда я продолжу. У вас есть возлюбленный?

— Да.

— Он в армии, надо полагать.

— Во флоте.

Мне показалось, что это удачный выбор, — это позволит объяснить, почему я никогда не знаю, где находится мой жених, и не получаю от него писем. Можно также будет сказать, что ему никогда не дают увольнения на берег.

— А на чем он плавает?

— На сторожевом корабле.

Тоже хороший выбор. Через некоторое время его можно будет торпедировать — сторожевые корабли постоянно топят.

— Какой храбрец! Вам чай с молоком или сахаром?

— Без всего, спасибо.

— Хорошо, потому что у меня ни того ни другого

нет. А знаете, когда вы врете, это очень заметно. Вы краснеете.

Если я до тех пор не покраснела, то при этих словах — уж точно. Кажется, волна жара пошла от ступней вверх по всему телу и из-под мышек потек пот. Я только надеялась, что платье не будет бесповоротно испорчено.

— Я всегда краснею, когда пью чай.

— В самом деле? Понятно.

Кажется, хуже уже все равно не будет. Я решила перейти в наступление. Поменяла тему и спросила доктора, как он оперирует людей. Неужели удаляет легкие, как кто-то мне говорил?

Он мог бы ответить, опять поддразнивая, свысока — возможно, так он представлял себе флирт, — и я думаю, что в этом случае надела бы пальто и ушла прямо в холодную ночь. И может быть, он это понимал. Он заговорил про торакопластику и объяснил, что этот метод тяжелее для пациента, чем коллапс и спадение целого легкого. Интересно, что о нем знал еще Гиппократ. Хотя, конечно, в последнее время обрел популярность и другой метод — удаление доли легкого.

— Но разве вы не теряете пациентов? — спросила я.

Он, видно, решил, что пришло время опять

пошутить.

— А как же! Они убегают и прячутся в кустах. А потом деваются неизвестно куда. Может, прыгают в озеро… Вы хотели спросить, не умирают ли они? Конечно, бывает, что все методы бессильны. Да.

Но грядут большие перемены, продолжал он. Операции, которые он делает, скоро так же устареют, как кровопускание. Появится новое лекарство. Стрептомицин. Уже идут клинические испытания. Конечно, у него есть и недостатки, у всего есть какие-то недостатки. Вреден для нервной системы. Но найдется решение и для этого.

— Тогда коновалам вроде меня придется идти на покой.

Он мыл посуду, а я вытирала. Он обвязал вокруг моей талии посудное полотенце, чтобы я не испортила платье. Аккуратно завязав узел, доктор положил ладонь мне на спину, между лопатками. Плотно и уверенно, чуть раздвинув пальцы — словно ощупывал меня на медицинском осмотре. Ложась спать, я все еще ощущала спиной это прикосновение. Я чувствовала, как нарастает его настойчивость, от мизинца до твердого большого пальца. Мне было приятно. Это прикосновение на самом деле было важнее поцелуя, запечатлен-

ного у меня на лбу чуть позже, за миг до моего выхода из машины. Сухого поцелуя, краткого и формального, поставленного мимоходом клейма собственника.

Ключ от докторского дома обнаружился на полу моей комнаты, просунутый под дверь в мое отсутствие. Но после всего, что было, я не могла им воспользоваться. Сделай мне такое предложение любой другой человек, я бы ухватилась за него руками и ногами. Особенно учитывая электрообогреватель. Но в данном случае прошлое и будущее присутствие доктора украдет у меня все заурядное удовольствие и заменит его наслаждением — скорее судорожным и невыносимым для нервов, чем расслабленным и роскошным. Я буду трястись даже рядом с обогревателем и, скорее всего, не смогу прочитать ни слова.

Я ждала, что появится Мэри и будет ругать меня за пропущенное представление. Сперва я собиралась сказать, что болела. Простудилась. Но потом вспомнила, что простуды в санатории были серьезным делом — маски, дезинфекция, временное изгнание. И к тому же скоро поняла, что утаить визит к доктору мне в любом случае не удастся. Он ни для кого не был секретом. В

том числе для медсестер, которые ничего не сказали — то ли потому, что были возвышенно настроены и проявляли деликатность, то ли потому, что утратили интерес к подобным делам. Но санитарки открыто поддразнивали меня:

— Ну как, приятно вчера поужинали?

Тон был дружелюбный, — казалось, они одобряют происходящее. Видимо, в их глазах моя непривычная странность соединилась с привычной и уважаемой странностью доктора, и все вышло к лучшему. Мои акции поднялись. Что бы я собой ни представляла, по крайней мере, при благоприятном обороте событий я могу обзавестись мужчиной.

Мэри не появлялась целую неделю.

«До следующей субботы» — эти слова он произнес перед тем, как выдал мне поцелуй. В следующую субботу я снова ждала на крыльце, и на этот раз он не опоздал. Мы доехали до его дома, и я пошла в гостиную, пока он растапливал печку. В гостиной я заметила пыльный электрический обогреватель.

— Ты не воспользовалась моим предложением. Думаешь, я только из вежливости? Если я что-то предлагаю, это всегда от чистого сердца.

Я сказала, что не хотела выходить в город, что-

бы не наткнуться на Мэри.

— Потому что я пропустила ее представление.

— Ну, если ты хочешь кроить свою жизнь в угоду Мэри…

Меню ужина было то же, что и в прошлый раз. Отбивные, картофельное пюре, только вместо консервированного горошка — консервированная кукуруза. На этот раз он позволил мне помочь ему с ужином и даже попросил накрыть на стол.

— Кстати, и узнаешь, где что лежит. У меня, по-моему, все довольно логично разложено.

В результате мне удалось посмотреть, как он орудует у печи. Я смотрела на сосредоточенность, скупые точные движения, и у меня внутри то рассыпались искры, то все холодело.

Мы только начали есть, когда в дверь постучали. Он встал, отодвинул засов, и в дом ворвалась Мэри.

В руках у нее была картонная коробка. Она поставила ее на стол, сбросила пальто и оказалась в красно-желтом костюме.

— Запоздалое поздравление с Днем святого Валентина! — провозгласила она. — Вы не пришли на мой концерт, так что я принесла концерт вам на дом! И еще подарок принесла, в коробочке.

У нее было отличное чувство равновесия — она

по очереди скинула сапоги, стоя на одной ноге. Отбросив их пинком с дороги, она принялась скакать вокруг стола, распевая жалобным, но сильным молодым голосом:

Я зовусь малютка Лютик,
Бедная малютка Лютик,
Хоть сама не знаю почему.
Но все кричат: «Малютка Лютик,
Бедная малютка Лютик!» —
Что такое — право, не пойму.

Доктор вскочил сразу, когда она еще и запеть не успела. Он с чрезвычайно занятым видом встал у печки, соскребая жир со сковородки, на которой только что жарились отбивные.

Я захлопала:

— Какой прекрасный костюм!

Костюм действительно был прекрасный. Красная юбка, ярко-желтая нижняя юбка, воздушный белый фартук, вышитый корсаж.

— Это моя мамка сделала.

— Даже вышивку?

— Угу. Всю ночь накануне сидела, до четырех часов, чтоб закончить.

Она снова принялась кружиться и топать, что-

бы показать костюм. На полках звякали тарелки. Я похлопала еще. Мы обе хотели только одного. Чтобы доктор обернулся и перестал нас игнорировать. Сказал хоть одно вежливое слово — пускай сквозь зубы.

— И гляньте-ка, что у меня еще есть, — сказала Мэри. — Валентинское печенье.

Она оторвала клапан коробки, и там оказались печенья-валентинки в форме сердечек, с толстым слоем красной глазури.

— Великолепно! — воскликнула я, и Мэри опять запрыгала:

Я капитан «Передника»,

И я весьма хорош,

Вот он, вот он, знайте все, мой экипаж во всей красе,

Лучше экипажа не найдешь!

Доктор наконец повернулся, и Мэри ему отсалютовала.

— Так, — сказал он. — Достаточно.

Она не обратила внимания:

Так кричите «ура» неустанно

В честь бравого капитана!

— Я сказал: «Достаточно».

— *…В честь бравого капитана!..*

— Мэри. Мы ужинаем. Тебя мы не приглашали. Ты понимаешь? Не приглашали.

Мэри наконец умолкла. Но лишь на миг.

— Ну и тьфу на вас тогда! Вы не очень-то вежливы.

— И еще тебе совершенно ни к чему это печенье. Тебе лучше вообще не есть печенья. А то станешь жирной, как молодая хрюшка.

Лицо у Мэри вспухло, словно она собиралась заплакать, но вместо этого она сказала:

— Кто бы говорил. У вас один глаз кривей другого.

— Достаточно.

— Я правду говорю.

Доктор нашел ее сапоги и поставил перед ней:

— Надевай.

Она повиновалась: глаза у нее были полны слез, из носу текло. Она громко хлюпала. Доктор принес ей пальто и не помог надеть, а только смотрел, как она неуклюже влезает руками в рукава и ищет пуговицы.

— Так. А теперь, как ты сюда попала?

Она не ответила.

— Пришла пешком? Где твоя мать?

— Играет в юкр.

— Хорошо, я отвезу тебя домой. Чтобы у тебя не было ни единого шанса плюхнуться в сугроб и замерзнуть до смерти из жалости к себе.

Я молчала. Мэри ни разу не взглянула на меня. Мы обе были слишком потрясены, чтобы прощаться.

Когда за окном завелась машина, я начала убирать со стола. Мы не успели съесть десерт — это опять был яблочный пирог. То ли доктор не знал, что на свете бывают и другие виды пирогов, то ли в здешней булочной других не пекли.

Я взяла одно печенье сердечком и съела его. Глазурь была ужасно сладкая. Не ягодная, не вишневая — только сахар и красный пищевой краситель. Я съела еще одно печенье, потом еще одно.

Я знала, что должна была хотя бы попрощаться. Поблагодарить. Но это не помогло бы. Я сказала себе, что это не помогло бы. Представление было адресовано не мне. Может быть, только часть его, очень малая часть, была обращена ко мне.

Доктор был жесток. Меня поразила его жестокость. По отношению к ребенку, так нуждающемуся в любви. Но в каком-то смысле он сделал это для меня. Чтобы никто не отнимал время, которое он хотел провести со мной. Эта мысль мне

польстила, и мне стало стыдно, что эта мысль мне льстит. Я не знала, что скажу доктору, когда он вернется.

Но он и не ждал, чтобы я ему что-нибудь сказала. Он повел меня в постель. Интересно, он так планировал с самого начала или для него это был такой же сюрприз, как и для меня? Во всяком случае, моя девственность не застала его врасплох: он не только запасся презервативом, но и подложил полотенце. Он действовал осторожно, но настойчиво и добился цели. Вот мой пыл оказался сюрпризом для нас обоих. Видимо, воображение — достойная замена опыту.

— Я собираюсь на тебе жениться, честно, — сказал он.

Перед тем как отвезти меня домой, он вышвырнул все печенья, красные сердечки, в сугроб, чтобы их расклевали зимние птицы.

Так все решилось. Наша внезапная помолвка — он слегка побаивался этого слова — осталась между нами, но стала свершившимся фактом. Я не должна была упоминать о ней в письмах к бабушке и дедушке. Свадьба состоится, когда ему удастся выкроить пару дней отпуска подряд. Свадьба будет самой скромной, сказал он. Я должна была понять, что идея церемонии, выполняемой

в присутствии других людей, чьи воззрения он не уважает, все эти насильственно навязываемые сюсюканья и хихиканья для него неприемлемы.

Кольца с бриллиантами он тоже не признавал. Я сказала ему, что никогда не хотела кольцо (это была правда, потому что я просто никогда о них не думала). Он сказал, что это хорошо, — он знал, что я не из идиоток, которым главное, чтобы было «как у людей».

Совместные ужины нам пришлось прекратить — не только из-за разговоров, но и потому, что на одну продуктовую карточку трудно было раздобыть мяса на двоих. Моей карточки у меня не было — я отдала ее на кухню, то есть матери Мэри, когда начала столоваться в «Сане».

Лучше не привлекать к себе внимания.

Конечно, все что-то подозревали. Пожилые медсестры стали со мной ласковы, и даже заведующая время от времени дарила меня вымученной улыбкой. Я прихорашивалась, но скромненько, почти бессознательно. Я научилась окутывать себя бархатной тишиной, нести себя аккуратно, опустив глаза. Мне не приходило в голову, что эти женщины следят за тем, какой поворот примет наша близость, и готовы в любой момент воспылать ненавистью добродетели к греху, если

доктор вдруг вздумает меня бросить.

Но санитарки были всецело на моей стороне. Они заглядывали ко мне в чашку и шутили, что видят в чаинках на дне очертания свадебных колоколов.

Март был мрачен. За дверями больничных палат что-то происходило. Санитарки сказали, что это самый плохой месяц, жди беды. Почему-то людям взбредало в голову умирать именно в марте, даже тем, кто пережил атаку зимы. Если кто-то из моих учеников не являлся в класс, я не знала — то ли ему стало хуже, то ли его просто уложили в постель с подозрением на простуду. Еще раньше я обзавелась классной доской с передвижной панелью и написала по краю имена всех учеников. Теперь мне даже не приходилось стирать имена тех, кто вернется в класс не скоро, — это делали за меня сами дети. Молча. Они понимали здешний этикет, который мне только предстояло освоить.

Наконец доктор нашел время, чтобы все устроить. Он подсунул под дверь моей комнаты записку, в которой говорилось, что я должна быть готова к первой неделе апреля. Если к тому времени не наступит какой-нибудь непредвиденный кризис, он сможет вырваться на пару дней.

Мы едем в Хантсвилль.

«Поездка в Хантсвилль» на нашем языке обозначает свадьбу.

Начался самый памятный, в чем я твердо уверена, день моей жизни. Зеленое креповое платье, только что из химчистки, аккуратно скатано и уложено в сумку вместе с другими вещами, нужными на одну ночь. Это бабушка научила меня туго скатывать платья — тогда они гораздо меньше мнутся, чем сложенные. Наверно, мне придется переодеться где-нибудь в женском туалете. Я смотрю по сторонам дороги — нет ли первых весенних цветов, чтобы набрать букет. А согласится ли доктор на букет? Но еще слишком рано, даже мать-и-мачехи нет. Вдоль пустой вьющейся дороги не видно ничего, кроме чахлых черных елей и островков можжевельника среди болот. Иногда дорога проходит меж скал — уже знакомых мне здешних косых складок гранита и железистых ржавых, словно окровавленных, камней.

В машине включено радио. Играет торжествующая музыка — союзники вот-вот войдут в Берлин. Доктор… Алистер говорит, что они нарочно медлят, чтобы дать русским войти первыми. Он говорит, что они об этом пожалеют.

Теперь, когда мы далеко от Амундсена, мне легче называть доктора по имени. Мы первый раз так долго едем вместе, и меня возбуждает его мужское незнание меня — хотя мне уже известно, как быстро он переходит от незнания к познанию, — и его умение легко, непринужденно вести машину. Меня возбуждает, что он хирург, хотя в этом я никогда не признаюсь. Я готова в любой момент, прямо сейчас, лечь под него на любом болоте, в любой грязной луже или расплющить позвоночник о придорожную скалу, если доктору будет угодно совокупиться со мной стоя. Еще я знаю, что должна держать все эти чувства при себе.

Я обращаю мысли в будущее. Я полагаю, что, как только мы доберемся до Хантсвилля, мы найдем священника и встанем рядом у него в гостиной, скромной, но благородной — чем-то напоминающей гостиную моих дедушки и бабушки и другие гостиные, к которым я привыкла. Я вспоминаю, как дедушку звали венчать, даже когда он уже вышел на пенсию. Бабушка в этих случаях чуточку румянила щеки и надевала темно-синий кружевной жакет, готовясь к роли свидетельницы.

Но оказывается, существуют разные способы

выйти замуж, а у моего жениха есть еще одна фобия. Он не желает иметь ничего общего со священниками. Мы едем в хантсвилльскую мэрию, заполняем анкеты, подтверждая свой холостой и незамужний статус, и нам назначают время регистрации: нас поженит мировой судья сегодня же после обеда.

Надо идти обедать. Алистер останавливает машину у ресторана, который выглядит как родной брат кафе в Амундсене.

— Годится?

Он глядит мне в лицо и понимает, что нет.

— Нет? Ну хорошо.

В конце концов мы обедаем в холодной гостиной частного дома, в окне которого выставлено объявление: «Обеды из курицы». Тарелки холодны как лед, кроме нас, в гостиной никого нет, музыки из радио тоже нет, только звякают ножи и вилки — это мы сражаемся с жилистой курицей. Я уверена: он думает, что уж лучше бы мы остались в первом ресторане.

Но я все же набираюсь храбрости и спрашиваю про туалет, и там, в холоде, еще более пугающем, чем холод гостиной, встряхиваю зеленое платье и надеваю его, заново крашу губы и причесываюсь.

Когда я выхожу, Алистер встает, приветствуя меня, улыбается, сжимает мою руку и говорит, что я очень хорошенькая.

Мы неловко возвращаемся к машине, держась за руки. Он открывает для меня переднюю дверцу, обходит машину, садится, устраивается и поворачивает ключ в замке зажигания, но потом отключает его снова.

Наша машина припаркована перед магазином скобяных товаров. Магазин предлагает пятидесятипроцентную скидку на лопаты для снега. В витрине все еще висит объявление о том, что здесь точат коньки.

Через дорогу — деревянный дом, выкрашенный маслянистым желтым цветом. Ступеньки крыльца расшатались, и поверх них крест-накрест, буквой «Х», приколочены две доски.

Перед машиной Алистера стоит грузовик — довоенной модели, с длинной подножкой и проржавевшими крыльями. Из магазина выходит мужчина в комбинезоне и садится в грузовик. Двигатель жалобно взревывает, и наконец грузовик со звоном и грохотом уезжает. Приезжает фургон для доставки товара, принадлежащий магазину, с его названием на борту, и пытается втиснуться на свободное место. Места не хватает.

Водитель выходит, подходит к нашей машине и стучит по окну Алистера. Алистер удивлен: он всецело поглощен нашим разговором и не заметил, что что-то не так. Он опускает стекло, и водитель фургона спрашивает, зачем мы тут встали, — мы собираемся покупать что-то в магазине? Если нет, то не могли бы мы передвинуть машину в другое место?

— Мы уже уезжаем, — говорит Алистер, человек, сидящий рядом со мной. Человек, который собирался на мне жениться, но теперь уже не собирается. — Уже уезжаем.

«Мы». Он сказал «мы». Мгновение я держусь, цепляясь за это слово. Потом думаю, что это последний раз. Последний раз, когда он включает меня в слово «мы».

Для меня важно не это «мы» — не оно забивает последний гвоздь. Важен тон, которым он разговаривает с водителем, спокойное и разумное извинение. Я почти мечтаю о том, чтобы вернуться во времени на минуту назад, когда он говорил со мной, даже не замечая попыток фургона втиснуться на место. То, что он говорил, было ужасно, но, по крайней мере, его руки изо всех сил сжимали руль, и по этой хватке, по его погруженности в себя, по голосу чувствовалось,

что ему больно. Что бы он ни говорил, что бы ни имел в виду, это шло из глубин его существа — из тех же глубин он говорил со мной, когда мы были вместе в постели. Но не сейчас, после того как он перекинулся словами с другим мужчиной. Он закрывает окно и всецело уходит в маневры с машиной — аккуратно выбирается задним ходом из узкого парковочного места и сдает назад, чтобы не задеть фургон.

Секундой позже я понимаю, что была бы рада вернуться и в этот миг, когда он выворачивал шею, глядя назад. Это лучше, чем то, что происходит сейчас, — когда мы едем по главной улице Хантсвилля, словно все уже сказано и сделано и ничего нельзя исправить.

«Я не могу», — сказал он.

Он сказал, что не может довести до конца нашу свадьбу.

Он ничего не может объяснить.

Может только сказать, что это была ошибка.

Мне кажется, я теперь до конца жизни буду вспоминать его слова и голос при виде фигурной буквы «Т», как в этом объявлении «Точка коньков». И при виде двух грубых досок, сколоченных крестом в виде буквы «Х», как на ступеньках желтого дома напротив магазина.

— Сейчас я отвезу тебя на станцию. Я куплю тебе билет до Торонто. Я уверен, что во второй половине дня есть поезд на Торонто. Я придумаю какое-нибудь убедительное объяснение и поручу кому-нибудь собрать твои вещи. Тебе придется дать мне свой торонтовский адрес — у меня он, скорее всего, не сохранился. А, да, я напишу тебе хорошую рекомендацию. Ты хорошо работала. Ты бы все равно не досидела до конца семестра — я тебе не говорил, но всех детей отсюда переводят. Нас ждут большие перемены.

Новый тон — почти задорный, насмешливый. Комедийное облегчение. Он старается не показывать свое облегчение, пока я не уеду.

Я смотрю на улицы. Наверно, что-то такое ощущают люди, которых везут на казнь. Еще не доехали. Есть еще немного времени. Это еще не в последний раз я слышу его голос. Еще нет.

Он ни у кого не спрашивает дорогу на станцию. Я вслух осведомляюсь, уж не приходилось ли ему и раньше сажать девушек на поезд.

— Не надо так, — говорит он.

Каждый поворот — словно кто-то ножницами отхватывает еще кусок от остатка моей жизни.

Есть поезд на Торонто в пять часов дня. Идя узнавать расписание, он велит мне оставаться

в машине. Возвращается с билетом в руке и, как мне кажется, более легким шагом. Он, должно быть, сам это заметил — по мере того, как он подходит к машине, его манера становится серьезней.

— Там на станции хорошо, тепло. Для женщин есть отдельный зал ожидания.

Он открывает для меня дверцу машины:

— А хочешь, я подожду вместе с тобой и посажу тебя на поезд? Может быть, мы найдем какую-нибудь приличную кондитерскую и съедим по куску пирога. Обед был ужасный.

Эти слова заставляют меня встрепенуться. Я вылезаю из машины и иду впереди него в здание станции. Он показывает мне дверь зала ожидания для женщин. Поднимает бровь и пытается отпустить финальную шутку:

— Может быть, однажды ты поймешь, что это была самая большая удача в твоей жизни.

Я выбираю скамейку в зале ожидания для женщин — такую, с которой видны двери на улицу. Это чтобы сразу увидеть его, если он решит вернуться. Он скажет, что пошутил. Или что это было испытание, как в какой-нибудь средневековой пьесе.

А может быть, он уже передумал. Сидя в ма-

шине, которая несется по шоссе, и глядя на игру бледного весеннего света на скалах, на которые мы лишь недавно смотрели вместе. До него доходит вся глубина совершенного им безумного поступка, он разворачивается прямо посреди дороги и спешит обратно.

Я жду не меньше часа, пока торонтовский поезд подают к перрону, но мне кажется, что прошло лишь несколько минут. И даже после появления поезда у меня в мозгу несутся одна за другой фантазии. Я вхожу в вагон, как невольница с цепями на ногах. Когда свистит свисток, объявляя наше отбытие, я прижимаюсь лицом к стеклу, пытаясь разглядеть перрон. Даже сейчас, может быть, еще не поздно спрыгнуть с подножки. Спрыгнуть, пробежать станцию насквозь и вылететь на площадь, где он только что поставил машину и бежит вверх по ступенькам, моля всех богов, чтобы не опоздать.

Я бегу ему навстречу — он не опоздал.

Чу! Что это за шум, вопли, крики? Не один человек, а целая куча едва не опоздавших пассажиров несется по проходу вагона. Девочки-старшеклассницы в спортивных костюмах — они заливаются смехом, глядя на устроенный ими переполох. Недовольный кондуктор подгоняет их, пока они,

толкаясь, рассаживаются по местам.

С ними, пожалуй, самая громогласная — Мэри.

Я отворачиваюсь и больше не смотрю на них.

Но она уже выкрикивает мое имя и требует ответить, где я была.

Гостила у друзей, отвечаю я.

Она плюхается на сиденье рядом со мной и сообщает, что они ездили играть в баскетбол против Хантсвилльской школы. Было жуть как весело. Они проиграли.

— Мы ведь проиграли, верно? — кричит она в неподдельном восторге, и все остальные стонут или хихикают. Мэри называет счет матча, действительно позорный.

— Вы прямо разодеты, — говорит она. Но ее это не слишком волнует: кажется, мое объяснение ей неинтересно.

Она едва обращает внимание, когда я говорю ей, что еду в Торонто навестить бабушку с дедушкой. Только замечает, что они, наверно, ужасно старые. Про Алистера она не говорит ни слова. Даже плохого. Я знаю, что она ничего не забыла. Просто упорядочила в мыслях эту сцену и сложила в чулан, где лежат ее прошлые «я». А может, она из тех, кто легко и бездумно переносит унижение.

Сейчас я ей благодарна, хотя в тот момент чувствовала нечто совершенно иное. Будь я одна, что бы я стала делать, добравшись до Амундсена? Соскочила бы с поезда и помчалась к дому доктора с воплями «почему, почему?». Навеки покрыла бы себя позором. Но на деле стоянки в Амундсене только-только хватило, чтобы баскетбольная команда успела собрать вещи и выгрузиться из вагона, предварительно постучав по стеклу для сведения встречающих. Все это время кондуктор ворчал, чтобы они пошевеливались, а то уедут в Торонто.

Долгие годы я надеялась его встретить. Я жила и все еще живу в Торонто. Мне всегда казалось, что в Торонто рано или поздно попадают все, хоть ненадолго. Конечно, это не значит, что непременно столкнешься на улице с нужным человеком — при условии, что хоть немного хочешь его увидеть.

И все же это наконец случилось. На оживленном переходе, где даже затормозить нельзя. Мы шли навстречу друг другу. Уставились друг на друга одновременно — потрясение на побитых временем лицах.

— Как ты? — крикнул он, и я ответила:

— Хорошо.

И добавила для ровного счета:

— Счастлива.

В тот конкретный момент это было правдой лишь в очень общем смысле. Мы с мужем как-то вялотекуще ссорились из-за того, должны ли мы выплачивать долги, сделанные одним из его детей. В тот день я пошла на выставку в картинной галерее, чтобы хоть как-то восстановить душевное равновесие.

Он снова крикнул мне вслед:

— Молодец!

Мне все еще казалось, что мы можем выбраться из этой толпы и всего лишь миг спустя окажемся вместе. Но для меня было столь же очевидно, что каждый из нас пойдет дальше своей дорогой. Так и вышло. Я достигла тротуара — ни задыхающегося крика за спиной, ни внезапной руки у меня на плече. Только виденная мною вспышка — на долю секунды один его глаз открылся шире другого. Левый глаз, всегда только левый, как мне и запомнилось. Это каждый раз смотрелось ужасно странно: словно он начеку или удивлен, словно ему пришло в голову что-то абсолютно неправдоподобное и он чуть не рассмеялся.

Что же до меня — я чувствовала себя почти так же, как тогда в поезде, покидающем Амундсен,

когда была все еще оглушена и не верила в то, что произошло.

Любовь на самом деле всегда остается той же.

Покидая Мэверли

В старые времена, когда в каждом городке был свой кинотеатр, в Мэверли он тоже был. Назывался он «Капиталь», как часто бывало с тогдашними кинотеатрами. Владельцем и киномехаником в нем был Морган Холли. Он не любил иметь дело с публикой — предпочитал сидеть наверху у себя в закутке и крутить кино — и очень рассердился, когда молодая билетерша сказала, что уходит с работы, потому что собралась рожать. Этого можно было ожидать: она уже полгода как вышла замуж, а в те времена принято было прятаться от посторонних глаз еще до того, как живот становился заметным. Но Холли настолько не любил всяческих перемен и самой мысли о том, что у людей бывает частная жизнь, что новость застала его врасплох.

К счастью, билетерша тут же привела себе замену. Девушка, живущая по соседству с ней, сказала, что хотела бы подрабатывать по вечерам. Днем она работать не могла, потому что помогала матери с младшими. Она была достаточно умна, чтобы справиться с продажей билетов, хотя и застенчива.

Морган сказал, что это ничего, — он не для того платит билетершам, чтобы они болтали со зрителями.

И вот девушка вышла на работу. Звали ее Лия, и первым и единственным вопросом Моргана было, что это за имя такое. Она сказала, что это из Библии. Он заметил, что девушка совсем не пользуется косметикой и волосы у нее очень сильно прилизаны и удерживаются заколками-невидимками, и такая прическа ее совсем не красит. Он мимолетно подумал о том, что она не выглядит на шестнадцать и, может быть, еще не имеет права работать, но, разглядев ее поближе, решил, что она не врет. Он сказал, что ей надо будет работать на одном сеансе, который начинается в восемь часов вечера, по будням и на двух, начиная с семи вечера, в субботу. После закрытия в ее обязанности входит также пересчитать и запереть выручку.

Была только одна загвоздка. Девушка сказала, что в будни сможет ходить домой сама, но в субботу ей не разрешат — по субботам отец не может за ней заходить, потому что работает в ночную смену на фабрике.

Морган не понял, чего можно бояться в их городке, и уже было собирался указать ей на дверь,

но вспомнил про ночного полицейского, который часто прерывал обход, чтобы заглянуть в кино и посмотреть кусочек фильма. Не сможет ли он провожать Лию домой?

Она сказала, что спросит у отца.

Отец согласился, но поставил еще ряд условий. Лия не должна была смотреть на экран и слушать реплики героев. В религиозной конфессии, к которой принадлежала семья, это не допускалось. Морган сказал, что не для того нанимает билетеров, чтобы они бесплатно пялились на экран. Что же до реплик — он соврал, что кинозал звукоизолирован.

Рэй Эллиот, ночной полицейский, нанялся на эту работу, чтобы помогать жене хотя бы часть дня. Он обходился пятью часами утреннего сна и кратким послеобеденным сном. Правда, после обеда ему часто не удавалось уснуть — иногда потому, что надо было доделать какую-нибудь работу по дому, а иногда просто оказывалось, что он заговорился с женой, Изабель. Детей у них не было, и они могли завести разговор в любой момент и о чем угодно. Он приносил ей городские новости, которые часто ее смешили, а она пересказывала ему прочитанные книги.

Рэй ушел на фронт, как только ему исполнилось

восемнадцать. Он пошел в военно-воздушный флот — летчикам, как тогда говорили, доставалось больше всего приключений и самая быстрая смерть. Он стал средним верхним стрелком — Изабель так и не смогла понять, что это значит, — и остался в живых. Ближе к концу войны его перевели в новый экипаж, и не прошло и недели, как его старый самолет сбили и его прежний экипаж, люди, с которыми он столько раз летал на задание, пропал без вести. Он вернулся домой со смутным ощущением, что теперь должен сделать что-то важное в жизни, которую ему так неожиданно оставили. Но что именно — не знал.

Сначала ему надо было окончить школу. В городке, где он вырос, устроили специальную школу на деньги благодарных граждан для таких, как он, — ветеранов, желающих учиться дальше и поступить в колледж. Английский язык и литературу им преподавала Изабель. Тридцатилетняя замужняя женщина. Ее муж тоже был ветераном и по воинскому званию превосходил всех учеников в ее классе. Она собиралась проработать в этой школе год, потом уйти с работы и завести детей. Она открыто обсуждала это со своими учениками, и они говорили за глаза, что некоторым

мужикам везет.

Рэю эти разговоры были неприятны — по той причине, что он влюбился в учительницу. А она — в него, что казалось гораздо удивительней. Это было смешно и нелепо для всех, кроме них самих. Последовал развод, скандал в ее семье, принадлежавшей к «хорошему обществу», и удар для ее мужа, который еще с самого детства знал, что хочет взять ее в жены. Рэю пришлось легче — у него почти не было родственников, а те, что были, заявили: надо полагать, он теперь от них отвернется, раз уж женился на дамочке из высшего общества. А раз так, то они не смеют надоедать ему своим присутствием. Возможно, они ждали, что он начнет это отрицать или доказывать что-то. Но он лишь ответил: «Ну и ладно», и все тут. Значит, пора начать с чистого листа. Изабель решила оставаться в школе, пока Рэй не окончит колледж и не начнет работать по той специальности, которую ему только предстояло выбрать.

Но планы пришлось изменить. Она заболела. Сначала они думали, что это нервы. Из-за переполоха и всей этой дурацкой суетни.

Потом начались боли. Боли при каждом глубоком вдохе. Боль за грудиной и в левом плече.

Изабель не обращала внимания. Она шутила, что Бог наказывает ее за любовную авантюру и что с Его стороны это напрасный труд, поскольку она в Него даже не верит.

У нее оказалась болезнь под названием «перикардит». Серьезная, и то, что Изабель не обращала внимания на свою хворь, ухудшило дело. Она никогда не вылечится, но сможет кое-как жить. Преподавать она больше не будет. Любая инфекция станет для нее смертельной, а где инфекции буйствуют сильней всего, как не в школах. Теперь Рэю приходилось содержать жену, и он нашел работу полицейского в этом маленьком городке под названием Мэверли, на границе двух графств, Грей и Брюс. Рэй был не против такой работы, а Изабель постепенно свыклась со своим полуодиночным заточением.

В разговорах они избегали только одной темы. Каждый задумывался о том, не страдает ли другой от невозможности иметь детей. Рэю приходило в голову, что именно разочарование бездетности толкает Изабель на постоянные расспросы о девочке, которую он теперь провожал домой по субботам.

— Это ужасно! — сказала она, когда услышала о запрете на кино, и еще сильнее расстроилась, ко-

гда узнала, что девочке не дали окончить школу, потому что она должна работать по дому. — Тем более ты говоришь, что она умненькая.

Рэй не помнил, чтобы говорил такое. Он рассказывал, что она до болезненности застенчива, так что во время их передвижения по городу ему приходилось все время ломать голову, придумывая темы для разговоров. Обычные вопросы не годились. Например, «какой твой любимый предмет в школе?». Во-первых, его надо было задавать в прошедшем времени, а во-вторых, теперь уже не имело совершенно никакого значения, какие предметы ей нравились когда-то. Или «кем ты хочешь работать, когда вырастешь?». С какой стороны ни посмотреть, она уже выросла и уже работает — хотя ее никто не спрашивал, хочет она делать именно такую работу или нет. Или вопрос о том, нравится ли ей этот город и не скучает ли она по тем местам, где жила раньше. Бессмысленно. А имена и возраст всех младших детей в семье она уже перечислила. Рэй спросил про кошек и собак, но оказалось, что у них нет ни кошки, ни собаки.

Зато у нее в конце концов нашелся вопрос к нему. Она спросила, над чем сегодня вечером смеялись люди в кино.

Рэй не стал напоминать ей, что она не должна была ничего слышать. Но не мог припомнить, что такого смешного было в фильме. Он сказал, что, наверно, это была какая-нибудь глупость, — заранее никогда не скажешь, что рассмешит зрителей. Он объяснил, что его фильмы обычно не захватывают, потому что он видит их кусками, отрывочно. Не удается проследить сюжет.

— Сюжет, — повторила она.

Ему пришлось объяснить значение этого слова — объяснить, что в каждом фильме рассказывается какая-то история. И с тех пор они не испытывали недостатка в темах для разговора. Излишне было предостерегать девочку, чтобы она ничего из услышанного не повторяла дома. Она сама это понимала. Его задачей было не рассказать сюжет определенного фильма — впрочем, он, скорее всего, и не смог бы, — а объяснить, что в сюжетах часто действуют жулики и порядочные люди и что поначалу жулики обычно процветают, совершая преступления и обдуривая людей, которые поют в ночных клубах (это все равно что танцевальные залы, пояснил он) или, бог знает почему, распевают на горных вершинах или в каких-нибудь еще малоправдоподобных местах, задерживая развитие сюжета. Иногда фильмы

бывают цветные. И актеры одеты в роскошные костюмы, если действие фильма происходит в прошлом. И картинно убивают один другого. По щекам женщин катятся глицериновые слезы. На съемки привозят экзотических зверей из зоопарков и дразнят их, чтобы они злились. Убитые встают, как только камера поворачивается в другую сторону. Живые и невредимые, хотя только что на глазах у зрителей их застрелили или палач снес им голову и она покатилась с плахи в корзину.

— Не увлекайся, — предостерегала Изабель. — Ей начнут сниться кошмары.

Рэй сказал, что это вряд ли. Судя по виду, девочка переваривала услышанное, не впадая в тревогу или замешательство. Например, она ни разу не спросила, что такое плаха и почему с нее должна катиться голова. В этой девочке что-то есть, говорил Рэй жене, что-то такое, отчего она жадно впитывала его рассказы, а не просто восторгалась или удивлялась. Он подумал, что она уже в каком-то смысле отгородилась от семьи. Не для того, чтобы презирать их или судить. Просто она уходила в свои мысли — куда-то глубоко, на самое дно.

Но потом Рэй сказал кое-что, а потом ужасно

пожалел о своих словах — он даже сам не знал почему.

— Ей в этой жизни нечего ждать, ей ни с какой стороны ничего не светит.

— Ну, мы можем забрать ее к себе, — сказала Изабель.

Он предупредил ее, что с такими вещами не шутят:

— Даже не думай об этом.

Незадолго до Рождества (впрочем, холода еще не установились) Морган пришел в полицейский участок — среди недели, около полуночи — и сказал, что Лия пропала.

Она продала билеты, как обычно, закрыла окошечко кассы, положила деньги куда надо и ушла домой — насколько он знал. Он сам запер кинотеатр по окончании сеанса, но, когда вышел на улицу, появилась какая-то незнакомая женщина и спросила, куда делась Лия. Это была ее мать. Мать Лии. Отец был все еще на работе, на фабрике, и Морган предположил, что, может быть, девочка решила зайти посмотреть, как он работает. Мать как будто не поняла, о чем он, и он объяснил, что можно пойти на фабрику — вдруг Лия там, и она, то есть мать, разрыдалась и стала умолять его этого не делать. Так что Морган отвез

ее домой, думая, что, может быть, девушка уже вернулась, но ее так и не было, и тогда он решил поставить в известность Рэя.

Ему совершенно не улыбалось сообщать новость отцу девушки.

Рэй сказал, что надо немедленно ехать на фабрику — был очень малый шанс, что она там. Но, конечно, когда они нашли отца, оказалось, что он ее вообще не видел, и он пришел в ярость из-за того, что его жена расхаживает по улицам, когда он не давал ей разрешения покидать дом.

Рэй спросил о друзьях девочки и не удивился, услышав в ответ, что никаких друзей у нее нету. Он отпустил Моргана домой, а сам поехал домой к Лии, где нашел ее мать — в исступлении, как и говорил Морган. Дети — по крайней мере, некоторые — еще не спали и тоже как будто лишились дара речи. Они дрожали: то ли от страха, то ли опасаясь внезапно ворвавшегося в дом незнакомца, то ли от холода — на улице заметно подморозило, и в доме это чувствовалось. Может быть, отец семейства установил правила и насчет отопления тоже.

Рэю удалось вытянуть из матери, что Лия была в зимнем пальто. Он знал это мешковатое коричневое клетчатое одеяние и подумал, что она хотя

бы не замерзнет — во всяком случае сразу. После прихода Моргана в участок успела начаться метель, и теперь снег уже валил вовсю.

Когда смена Рэя кончилась, он пошел домой и сказал Изабель, что случилось. Потом ушел снова, и она не пыталась его остановить.

Через час он вернулся несолоно хлебавши — с новостью, что идет первый зимний снегопад и дороги, скорее всего, завалит.

К утру так и вышло: город был отрезан от окружающего мира впервые за эту зиму, и снегоочистители с трудом поддерживали проходимость хотя бы главной улицы. Почти все магазины закрылись, а в той части города, где жила семья Лии, отключилось электричество, и ничего нельзя было поделать. Ветер свистел и гнул деревья, словно пытаясь подмести ими землю.

Полицейский из дневной смены додумался кое до чего, что не пришло в голову Рэю. Он был прихожанином Объединенной церкви и знал — точней, его жена знала, — что Лия раз в неделю ходит к жене священника гладить белье. Они с Рэем пошли в дом священника — вдруг там кто-нибудь знает разгадку исчезновения Лии, — но там тоже никто ничего не знал, и после проблеска надежды этот след показался еще более

безнадежным.

Рэя слегка удивило, что девушка работала еще где-то и ни разу об этом не упомянула. Конечно, по сравнению с кинотеатром эту работу никак нельзя было назвать выходом в свет, но все же.

После обеда он попробовал уснуть и действительно проспал час или около того. За ужином Изабель старалась завести разговор, но все темы сходили на нет. Рэй все время возвращался к тому, как ходил в дом священника; он вспоминал, как жена священника всячески старалась их расспросить и им помочь, но сам хозяин дома вел себя как-то не очень по-пастырски. Он открыл дверь с раздраженным видом, словно ему помешали сочинять проповедь или еще что-нибудь в этом роде. Он позвал жену, и она, придя, вынуждена была объяснять ему, о ком идет речь. Помнишь, девушка, что приходила к нам помогать с глажкой? Лия? Тогда священник выразил надежду, что какие-нибудь новости скоро будут, и, произнося эти слова, постепенно закрыл дверь, прячась за ней от холодного ветра.

— Ну а что он еще мог сделать? — спросила Изабель. — Помолиться?

Рэй про себя подумал, что это не помешало бы.

— Это только смутило бы всех и показало всю

безнадежность дела, — сказала Изабель. И добавила, что, наверно, это очень современный священник, который придает больше значения символической стороне Церкви.

Несмотря на метель, в городе организовали поиски. Кое-как открыли двери сараев на задних дворах, заглянули в старый амбар-конюшню, пустующий уже много лет, — вдруг девушка укрылась там. Но ничего не нашли. Поставили в известность местную радиостанцию, и по радио передали описание Лии.

Рэй подумал, что если она голосовала на дороге, то, возможно, покинула город до начала снегопада. Это могло быть и хорошо и плохо.

В описании, которое передали по радио, говорилось, что она ниже среднего роста, — Рэй сказал бы, что выше среднего, — и с прямыми русыми волосами. Он бы сказал, что волосы у нее темно-каштановые, даже ближе к черным.

Отец Лии не принимал участия в поисках, и братья тоже. Конечно, мальчики были младше сестры и не могли выйти из дому без воли отца. Когда Рэй дошел до их дома пешком и кое-как поднялся на крыльцо, отец девушки, едва-едва приоткрыв дверь, сказал, что дочь, скорее всего, сбежала. Ее наказание теперь не в его, отца, руках,

а в руках Господних. Он не пригласил Рэя войти и согреться. Может быть, в доме по-прежнему не было отопления.

Снегопад прекратился назавтра, примерно к полудню. Снегоочистители выехали из гаража и расчистили улицы города. Снегоочистители, принадлежащие графству, почистили шоссе. Водителям велели смотреть повнимательней — вдруг они увидят в придорожных сугробах окоченевшее тело.

Через день приехал почтовый фургон и привез письмо. Оно было адресовано не кому-либо из семьи Лии, но священнику и его жене. Письмо от Лии — она сообщала, что вышла замуж. За сына священника — он играл на саксофоне в джаз-оркестре. Он приписал от себя слова «Сюрприз! Сюрприз!» в самом конце письма. Во всяком случае, так рассказывали, хотя Изабель резонно спросила, откуда это могли узнать — разве что на почте отпарили конверт и заглянули внутрь.

Саксофонист не жил в этом городке ребенком — когда он был маленьким, его отец служил где-то в другом месте. Сын навещал родителей очень редко. Большинство здешних жителей даже в лицо его не знали. Он никогда не ходил в церковь. Пару лет назад он привез домой женщину. Очень

ярко накрашенную и разодетую. Тогда говорили, что это его жена, но, очевидно, это не могло быть правдой.

Как часто девушка приходила в дом священника гладить белье, когда саксофонист гостил у родителей? Нашлись люди, которые все подсчитали. Выходило, что он и она столкнулись один-единственный раз. Рэй это услышал в полицейском участке — полицейские обожали сплетничать, совсем как женщины.

Изабель решила, что это очень романтичная история. И сбежавшая парочка не виновата. Они ведь не заказывали снегопад.

Оказалось, что сама Изабель мимоходом видела этого саксофониста. Они однажды столкнулись на почте, когда он гостил у родителей, а Изабель стало чуть получше и она могла выходить на улицу. Она заказала по почте пластинку, но та не пришла. Саксофонист спросил, что за пластинка, и Изабель ответила. Теперь она уже сама не помнила, что это было. Он тогда рассказал ей, что занимается совсем другой музыкой. Изабель почему-то сразу поняла, что он не местный. Он чересчур близко наклонялся к ней, и от него сильно пахло жвачкой «Джуси фрут». Он не упомянул, что живет в доме священника, но кто-то еще рас-

сказал ей об этом уже после того, как саксофонист попрощался и пожелал ей удачи.

Он явно заигрывал с ней, самую чуточку перехватывая через край, словно был уверен в том, что его авансы встретят благосклонно. Нес какую-то чепуху про то, чтобы ему позволили прийти послушать музыку, если пластинку все-таки пришлют. Изабель надеялась, что эти слова нужно воспринимать как шутку.

Она дразнила Рэя, говоря, что это благодаря его описаниям огромного прекрасного мира, отраженного в кино, девушка решилась на побег.

Рэй никому не мог рассказать и даже сам не мог поверить, какую пустоту в душе чувствовал из-за пропажи Лии. Конечно, когда все выяснилось, он испытал огромное облегчение.

Но все же ее больше не было. Пускай она исчезла не совсем обычно, пусть можно было надеяться на лучшее, но все же ее больше не было. Рэй, как ни странно, обиделся. Все-таки она могла хоть словом обмолвиться об этой целиком неизвестной ему странице ее жизни.

Ее родители с остальными детьми тоже скоро уехали, — кажется, никто не знал куда.

Когда священник вышел на пенсию, он и его жена остались в городе.

Им удалось сохранить за собой старый дом, и его часто по-прежнему называли домом священника, хотя, строго говоря, он уже таковым не был. Молодой жене нового священника дом чем-то не понравился, и церковные власти решили не ремонтировать его, а построить новый, чтобы ей больше не на что было жаловаться. Старый дом задешево продали старому священнику. Там было место и для сына священника с женой, когда они с детьми приезжали погостить.

Детей было двое — об их рождении сообщила местная газета. Мальчик, потом девочка. Они время от времени гостили у дедушки и бабушки — чаще только с матерью, потому что отец был занят своими танцами или что у него там. Ни Рэй, ни Изабель их за это время ни разу не встретили.

Изабель стало лучше; ее здоровье почти вернулось в норму. Она так хорошо готовила, что и она, и Рэй начали толстеть, и ей пришлось перестать или, по крайней мере, пореже готовить всякие диковинные блюда. Она вместе с несколькими другими женщинами из городка организовала группу для чтения и обсуждения «замечательных книг». Кое-кто оказался разочарован и перестал ходить, но в целом группа процветала. Изабель

со смехом говорила о том, какая, должно быть, суматоха поднялась на небесах, когда они проходили бедного старину Данте.

Потом у нее начались обмороки или полуобмороки, но она не соглашалась идти к врачу, пока Рэй не рассердился на нее, — тогда она заявила, что болеет из-за его вспыльчивости. Она попросила прощения, и они помирились, но с сердцем у нее стало так плохо, что им пришлось нанять женщину, медсестру, чтобы сидела с ней, когда Рэя нет дома. К счастью, у них были деньги: наследство у нее и небольшая прибавка к жалованью у него, но, несмотря на это, он решил и дальше работать ночным полицейским.

Как-то летним утром, возвращаясь домой со смены, он зашел в почтовое отделение — поглядеть, не готова ли почта. Иногда ее уже успевали рассортировать к этому времени, иногда нет. Этим утром — еще не успели.

И вдруг на тротуаре возникла Лия — она шла прямо навстречу Рэю в ярких лучах утреннего солнца. Она толкала коляску, в которой сидела девочка лет двух и молотила ногами по жестяной подножке. Второй ребенок, посерьезней, шел рядом, держась за юбку матери. Точнее, за очень длинные оранжевые брюки. Над брюками

была свободная белая майка, больше похожая на предмет нижнего белья. Волосы Лии блестели сильнее, чем раньше, а улыбка — до этого Рэй ни разу не видел, чтобы она улыбалась, — словно обдавала его неудержимым восторгом.

Она выглядела как любая из подруг Изабель — все подруги жены Рэя, как правило, были моложе ее или только что приехали в город, хотя были среди них и женщины постарше, коренные местные жительницы, захваченные духом блестящего нового века; они отбросили свои прежние взгляды и изменили язык, стремясь, чтобы он звучал четче и грубее.

Рэй был разочарован, что не удалось забрать на почте журналы. Хотя для Изабель это было уже не так важно. Раньше она практически жила этими журналами — они все были очень серьезные и будили мысль, но в них были и остроумные карикатуры, над которыми Изабель смеялась. Она тогда смеялась даже над рекламой мехов и драгоценностей, и сейчас Рэй надеялся, что она немножко оживится, получив журналы. Но теперь у него хотя бы будет о чем ей рассказать. О Лии.

Лия приветствовала его совсем новым голосом и делано изумилась, когда он ее узнал, поскольку,

как она выразилась, стала совсем старушкой. Она представила Рэю девочку, которая не подняла головы и продолжала ритмично барабанить по железной подножке, и мальчика, который посмотрел вдаль и что-то пробормотал. Лия поддразнивала мальчика, потому что он никак не желал отцепиться от ее одежды.

— Мы уже перешли дорогу, сладенький мой.

Мальчика звали Дэвид, а девочку Шелли. По объявлениям в газете Рэй не запомнил, как их звали. Только помнил, что имена современные.

Лия сказала, что они живут у родителей мужа.

Не «гостят», а «живут». Рэй только позже задумался об этих словах, но они могли и ничего не значить.

— Мы как раз шли на почту.

Он сказал, что идет с почты и что там еще не закончили сортировку.

— О, жалко. Мы думали, что, может быть, нам пришло письмо от папы, да, Дэвид?

Мальчик опять вцепился в ее одежду.

— Мы подождем, пока они не закончат, — сказала Лия. — Может быть, тогда нам будет письмо.

Рэю показалось, что она хочет поговорить с ним подольше, да ему и самому не хотелось уходить, но он не мог найти тему для разговора.

— Я иду в аптеку, — сказал он.

— Да?

— Мне нужно взять лекарство для жены.

— О, я надеюсь, что у нее ничего серьезного!

Рэю почудилось, что он каким-то образом предал жену, и он коротко ответил:

— Нет, ничего особенного.

Но Лия уже смотрела мимо него, куда-то еще, и здоровалась тем же восторженным голосом, каким несколько минут назад приветствовала Рэя.

Это подошел священник Объединенной церкви — новый, точнее, не очень старый, тот самый, чья жена потребовала дом с современными удобствами.

Лия спросила мужчин, знакомы ли они, и они сказали, что да. Но по тону обоих было слышно, что они не очень хорошо друг друга знают и, может быть, скорее довольны этим. Рэй обратил внимание, что священник не носит священнический воротничок.

— Ну, вы меня еще ни разу не забирали в участок, — сказал священник, вероятно желая пошутить, чтобы выглядеть дружелюбней. Он пожал Рэю руку.

— Как мне повезло, — сказала Лия. — Я как раз хотела вас кое о чем спросить, и вдруг вот он вы.

— Вот он я, — подтвердил священник.

— Я хотела спросить про воскресную школу. Я просто подумала… У меня растут двое детей, и я думала о том, как скоро их нужно записывать, какая процедура и все такое.

— О да, — сказал священник.

Видно было, что он из тех священников, которые не любят публично отправлять свою должность. Не хотят, чтобы каждый раз при выходе на улицу их осаждали прихожане. Но священник старательно прятал раздражение, и, кроме того, разговор с девушкой, выглядящей как Лия, имел свои плюсы.

— Надо будет это обсудить, — сказал он. — Можете в любое время записаться ко мне на прием.

Рэй начал объяснять, что ему пора.

— Рад был повидаться, — сказал он Лии, а священнику кивнул.

И пошел дальше, став богаче на две новости. Первое: Лия намерена пробыть тут какое-то время, поскольку озаботилась записью детей в воскресную школу. И второе: она так и не избавилась до конца от религиозности, которую вложили в нее в детстве.

Ему хотелось снова встретиться с Лией, но больше он нигде ее не видел.

Добравшись домой, он рассказал Изабель, как изменилась девушка, и Изабель сказала:

— Кажется, она все-таки стала совсем обыкновенной.

Изабель говорила чуточку раздраженно — может быть, потому, что дожидалась Рэя, чтобы он приготовил ей кофе. Помощница должна была прийти только в девять утра, а самой Изабель запрещено было трогать кофеварку после того, как она один раз сильно обожглась.

Дальше ее здоровье только ухудшалось, и несколько раз казалось, что дело совсем плохо. На Рождество Рэю дали отпуск, и они поехали в большой город, где можно было найти нужных врачей-специалистов. Изабель сразу положили в больницу, а Рэю предоставили комнату при больнице, из тех, что предназначались для иногородних родственников. Он вдруг очутился в ситуации полного безделья: у него не было никаких обязанностей, кроме как навещать Изабель. Он проводил у нее по многу часов ежедневно и записывал, как ее болезнь отзывается на разные виды лечения. Сначала он пытался развлекать Изабель оживленными разговорами о прошлом, об эпизодах из больничной жизни и о других пациентах, которые попадались ему на глаза. Он

почти ежедневно ходил гулять, какая бы ни была погода, и об этих прогулках тоже рассказывал жене. Он приносил с собой газету и читал ей новости. Но однажды она сказала:

— Спасибо, милый, ты такой заботливый, но я уже прошла эту стадию.

— Какую стадию? — вскинулся он, но она только сказала:

— Я тебя умоляю.

После этого он сидел молча и читал про себя книги из больничной библиотеки. Изабель сказала:

— Не беспокойся, если я закрою глаза. Я все равно знаю, что ты здесь.

К этому времени ее уже перевели из интенсивной терапии в комнату с четырьмя кроватями, на которых лежали женщины примерно в том же состоянии, хотя одна из них время от времени набиралась сил, чтобы прокричать Рэю: «Давайка поцелуемся!»

Однажды он пришел и обнаружил в кровати Изабель другую женщину. На миг он подумал, что Изабель умерла и ему никто не сообщил. Но словоохотливая пациентка в кровати, стоящей наискосок, прокричала:

— Наверху!

В ее голосе слышалась какая-то радость, торжество.

Это оказалось правдой. Изабель сегодня утром не проснулась, и ее перевели на другой этаж, куда, по-видимому, клали пациентов, которые имели нулевые шансы на выздоровление — даже меньше, чем обитатели предыдущей палаты, — но не желали умирать.

— Вы, собственно, можете ехать домой, — сказали ему. — Если будут какие-то изменения, мы вам сообщим.

Это было вполне разумно. Во-первых, он уже прожил сколько можно в жилье для родственников. Во-вторых, он уже более чем израсходовал время отпуска, предоставленного ему полицейским участком в Мэверли. Все доводы говорили в пользу возвращения.

Но он остался в городе. Он устроился в больницу уборщиком — мыть, чистить, подтирать. И нашел меблированную квартиру — с минимумом обстановки — недалеко от больницы.

Он поехал домой, но лишь ненадолго. По приезде он сразу принялся устраивать продажу дома вместе со всем содержимым. Он дал поручение риелторам и как можно скорее убрался, чтобы не путаться у них под ногами: он не хотел никому

ничего объяснять. Ему было все равно, что будет с домом. Все годы, прожитые Рэем в городке, и все, что Рэй знал о нем, словно уплывало прочь.

Но одну новость он услышал за время своего краткого визита: скандал с участием священника Объединенной церкви, который пытался получить у жены развод по причине прелюбодеяния. Плохо было уже и то, что священник согрешил с прихожанкой. Но вместо того чтобы держать это в тайне, уехать и отбыть епитимью или перевестись в какой-нибудь захудалый приход в глуши, он решил все перенести прямо на амвоне. Он сознался — даже более чем. Он заявил, что все было фальшью. Что он бормотал слова Писания и отбарабанивал заповеди, не веря в них. А самой главной фальшью были его проповеди о любви и плотской жизни — его шаблонные, робкие, уклончивые наставления: всё фальшь. Теперь он обрел свободу и мог, как свободный человек, объявить прихожанам, какое это счастье — наслаждаться жизнью тела вдобавок к жизни духа. По-видимому, женщиной, приведшей его в такое состояние, была Лия. Рэю рассказали, что ее муж, музыкант, приезжал за ней, но она не захотела с ним поехать. Муж во всем винил священника, но он был пьяница — муж, в смысле, — поэтому

никто не знал, можно ли ему верить. Впрочем, его мать, как видно, ему верила, потому что вышвырнула Лию из дома, а детей оставила себе.

Рэй считал, что все это — омерзительные сплетни. Прелюбодеи, пьяницы, скандалы — кто прав и кто виноват? Да кого это волнует? Девочка выросла и стала прихорашиваться и торговаться, как все. Люди теряют время, теряют жизнь, жадно толкаясь в поисках удовольствий и забыв о том, что на самом деле важно.

Конечно, тогда, когда он еще мог разговаривать с Изабель, все было по-другому. Не то чтобы Изабель стала бы искать ответы — нет, она бы показала ему, что вопрос гораздо сложней, чем ему казалось сначала. А потом рассмеялась бы.

На работе он со всеми ладил. Его пригласили вступить в команду по боулингу, и он поблагодарил, но сказал, что у него нет времени. На самом деле у него была куча времени, но он должен был сидеть с Изабель. Наблюдая за ней в ожидании перемен или какого-то объяснения. Не желая упустить ни единой мелочи.

— Ее зовут Изабель, — напоминал он санитаркам, если они говорили: «Ну-ка, милочка» или «Давай, дорогуша».

Потом он привык, что к ней так обращаются.

Значит, изменения все-таки были. Если не в ней, то в нем самом.

Он долго приходил к ней каждый день.

Потом стал ходить через день. Потом два раза в неделю.

Прошло четыре года. Он думал, что это, наверно, рекорд. Он спросил тех, кто за ней ухаживал, и они сказали: «Ну, где-то близко». У них была такая манера — ни о чем не говорить определенно.

Он уже избавился от навязчивой мысли, что Изабель о чем-то думает. Он уже не ждал, что она откроет глаза. Но он просто не мог взять и уйти, оставив ее одну.

Она изменилась, превратившись из очень худой женщины не в ребенка, но в неприятный на вид, плохо подобранный набор костей, с выпирающей, как у птицы, грудиной. Судя по беспорядочно-лихорадочному дыханию, она готова была умереть в любой момент.

При больнице были большие залы для лечебной физкультуры. Обычно он видел их только пустыми, темными, с убранным оборудованием. Но как-то ночью он уходил из здания по другому маршруту и заметил, что в зале горит свет.

Он пошел посмотреть и увидел, что в зале кто-то есть. Женщина. Она сидела верхом на большом

упругом шаре для упражнений — то ли отдыхала, то ли пыталась вспомнить, что делать дальше.

Это была Лия. Сначала он ее не узнал, но потом посмотрел на нее еще раз и увидел Лию. Узнай он ее раньше, может быть, и не стал бы подходить, но к этому времени уже прошел полпути по залу, чтобы выключить свет. Она его заметила.

Она соскользнула с шара. На ней был спортивный костюм, придававший ей очень целеустремленный вид. Она заметно пополнела.

— Я так и думала, что рано или поздно на вас наткнусь, — сказала она. — Как там Изабель?

Он слегка удивился, услышав, что она назвала Изабель по имени и что вообще о ней заговорила, словно о знакомой.

Он кратко объяснил, как там Изабель. Он только и мог говорить об этом кратко.

— Вы с ней разговариваете? — спросила Лия.

— Уже меньше.

— Ой, обязательно разговаривайте. Нельзя переставать.

С чего это она взяла, что всё про всё знает?

— Вы ведь не удивились, увидев меня? Вы, наверно, слышали? — спросила она.

Он не знал, что ответить.

— Ну, — сказал он.

— Просто я давно уже услышала, что вы тут и все такое, и думала, что и вы про меня знаете, что я тоже тут.

Он сказал, что нет.

— Я занимаюсь восстановительной физкультурой. В смысле, для раковых больных. Если они хотят заниматься, типа.

Он что-то пробормотал насчет того, что это очень хорошо.

— Это просто классно. В смысле, и для меня тоже. Я пока держусь, но иногда меня достает. Ну, особенно за ужином. Тогда мне становится не по себе.

Она увидела по его лицу, что он ничего не понимает, и с готовностью — может быть, даже с жаром — объяснила:

— Ну, без детей и все такое. Вы не знали, что они достались отцу?

— Нет, — сказал он.

— А, понятно. Ну, на самом деле это потому, что суд решил, что его мать может за ними смотреть. Он в «Анонимных алкоголиках» и все такое, но все равно ему не присудили бы детей, если бы не его мать.

Она зашмыгала носом и смахнула слезы, словно почти забыв о его присутствии.

— Ничего страшного, честно, все не так плохо. Мне просто вроде как само плачется. Плакать не вредно, главное — чтобы это не превратилось в дело всей жизни.

В «Анонимных алкоголиках» — это музыкант. А куда же делся священник и чем кончилась вся та история?

Можно было подумать, что Рэй задал этот вопрос вслух, потому что она тут же сказала:

— А, это, да. Тогда. Карл. Когда поднялся такой шум и все такое? Я совсем чокнулась, мне надо было голову проверить. Карл женился снова. Ему полегчало. В смысле, он успокоился после той истории, после меня. Это забавно на самом деле. Представьте, он взял да и женился на другом священнике. На священнице. Вы ведь знаете, что теперь женщинам можно быть священниками? Ну и вот, она из таких. Теперь он сам вроде как священническая жена. По-моему, обхохочешься.

Глаза у нее были уже сухие, она улыбалась. Он знал, что у нее что-то еще есть в запасе, но не мог догадаться, что именно.

— Вы ведь уже давно тут работаете. Наверно, квартиру снимаете?

— Да.

— И сами себе готовите ужин и все такое?

Он сказал, что да.

— А хотите, я иногда буду к вам приходить и готовить? По-моему, будет здорово!

Глаза у нее заблестели, и она словно удерживала его взглядом.

Он сказал, что может быть, как-нибудь, но, по правде сказать, у него дома очень мало места и двое туда просто не влезут.

Потом он сказал, что уже пару дней не заглядывал к Изабель и теперь должен пойти ее проведать.

Она едва заметно кивнула, соглашаясь. Вроде бы ее это не задело и не разочаровало.

— Ну, увидимся.

— Увидимся.

Его искали повсюду. Изабель наконец ушла. Они сказали «ушла», словно она вдруг встала и вышла из палаты. Час назад к ней кто-то заглядывал, и она была в обычном состоянии, а вот теперь — ушла.

Он часто задумывался, в чем разница.

Но пустота на том месте, где когда-то была она, его ошеломила.

Он в изумлении посмотрел на санитарку. Она решила, что он спрашивает о дальнейшей процедуре, и начала ему рассказывать. Он прекрасно

понимал, что она говорит, но все равно был погружен в себя.

Он думал, что с Изабель это случилось давным-давно, но ошибался. Это случилось только сейчас.

Она существовала — и вдруг перестала существовать. Вообще перестала, как будто ее никогда не было. А люди суетились вокруг, словно этот возмутительный факт можно было затушевать какими-то разумными распоряжениями. И он тоже вел себя как положено: подписывал, где ему велели подписать; ему сказали, что это нужно, чтобы распорядиться останками.

Какое замечательное слово — «останки». Словно сухой слоистый осадок на дне чашки, забытой в буфете.

Вскоре оказалось, что он на улице и притворяется, будто у него есть причина, не хуже, чем у кого другого, попеременно переставлять ноги, двигаясь вперед.

Что он унес с собой — единственное, что он унес с собой, — это ощущение нехватки чего-то, нечто вроде удушья, словно легкие не справлялись; он предполагал, что эта тяжесть останется с ним до конца жизни.

Он сегодня говорил с какой-то девушкой, ко-

торую знал когда-то. Она упоминала про своих детей. Потерю детей. Говорила о том, что привыкает. Что к вечеру ей бывает трудно.

Ее можно назвать специалистом по потерям — он в сравнении с ней новичок. Но сейчас он не мог вспомнить ее имени. Потерял ее имя, хотя когда-то отлично знал, как ее зовут. Растерялся. Потерял. Вот это шутка — если, конечно, кому нравятся такие шутки.

Он уже поднимался по лестнице к собственной квартире и вдруг вспомнил.

Лия.

Это было неизмеримое облегчение — вспомнить ее.

Карьер

В то время мы жили рядом с карьером, оставшимся от добычи гравия. Это был не огромный карьер, выгрызенный чудовищами-машинами, — скорее, небольшая яма, на которой фермер давным-давно заработал немного денег. Даже, пожалуй, мелкая, — казалось, ее рыли с какой-то другой целью: например, под фундамент дома, который так и не построили.

Моя мать все время старательно упоминала этот карьер.

— Мы живем у старого гравийного карьера, по дороге на станцию техобслуживания, — говорила она, а потом начинала смеяться — так она была рада, что разорвала все связи с домом, улицей, мужем — со всей своей прежней жизнью.

Я едва помню ту жизнь. То есть отдельные части я помню отчетливо, но не хватает связей, чтобы сложить единое целое. Все, что осталось у меня в памяти от городского дома, — обои с мишками в моей комнате. В новом доме — на самом деле это был жилой прицеп — мы с моей сестрой Каро спали на узких койках, расположенных в два этажа. Когда мы сюда только что переехали,

Каро много говорила со мной о нашем старом доме, стараясь, чтобы я вспомнила то или сё. Эти разговоры начинались, когда мы ложились в постель, а кончались обычно тем, что я не могла что-нибудь вспомнить, и Каро на меня сердилась. Иногда мне казалось, что я вспоминаю, но из детского упрямства или боязни ошибиться я притворялась, что не помню.

Когда мы переехали в трейлер, на дворе стояло лето. С нами была наша собака Блитци. «Ей тут ужасно нравится», — сказала мать, и это была правда. Какая собака не променяла бы городскую улицу — даже с большими домами и широкими газонами — на бескрайние поля за городом? Блитци взяла за правило облаивать каждую проезжающую машину, словно дорога принадлежала лично ей, и иногда притаскивала задушенную белку или сурка. Каро поначалу очень расстраивалась из-за этого, и тогда Нил вел с ней разговоры, объясняя, что у собаки такая природа и что существует пищевая цепочка, в которой одни живые существа едят других.

— Мы же даем ей собачьи консервы, — спорила Каро, и Нил отвечал:

— А вдруг перестанем давать? Представь себе, что будет, если в один прекрасный день мы все

исчезнем и ей придется добывать себе еду самостоятельно.

— Я не собираюсь никуда исчезать, — сказала Каро. — Я всегда буду здесь и всегда буду за ней ухаживать.

— Ты так думаешь? — отозвался Нил, и наша мать вмешалась в разговор, чтобы сменить тему.

Нил был готов в любой момент свернуть на американцев и атомную бомбу, но мать считала, что нам еще рано говорить об этом. Она не знала, что, когда он говорил «атомная война», мне слышалось «атомная ванна». Я чувствовала: тут что-то не то, но не переспрашивала — не хотела, чтобы надо мной смеялись.

Нил был актером. В городке открыли профессиональный летний театр, новинку для тех времен, и некоторые жители приветствовали его появление, а другие беспокоились, что он будет привлекать в город всякий сброд. Мои родители были на стороне театра, причем мать — более активно, поскольку располагала свободным временем. Отец был страховым агентом и много ездил. Мать всякими способами собирала средства для театра и бесплатно работала капельдинером. Она была достаточно молода и хороша собой, чтобы ее принимали за актрису.

Она и одеваться начала на актерский манер, в шали и длинные юбки, с болтающимися длинными бусами. Она отрастила буйную шевелюру и перестала пользоваться косметикой. Конечно, я тогда не понимала и даже не особенно замечала такие вещи. Для меня это была мама, и все тут. Но Каро, конечно, видела. И отец наверняка видел. Хотя, насколько я себе представляю его характер и его чувства к моей матери, он, скорее всего, гордился тем, как ей идет такой смелый, свободный стиль и как хорошо она ладит с людьми театра. Позже, говоря со мной о том времени, он сказал, что всегда уважал искусство. Теперь я могу себе представить, как неловко было матери — как она вздрагивала от стыда и смеялась, чтобы скрыть неловкость, когда он делал подобные заявления при ее театральных друзьях.

Потом события приняли оборот, который нетрудно было предугадать, — и, скорее всего, его кто-то в самом деле предугадал, только не мой отец. Я не знаю, случалось ли это с другими добровольными помощницами в театре. Зато я знаю — хотя и не помню, — что отец целый день рыдал и ходил за матерью по дому, не выпуская ее из виду и отказываясь ей верить. А она, вместо того чтобы как-то его утешить, сказала такое,

отчего все стало гораздо хуже.

Она сказала, что ребенок — от Нила.

Она была уверена?

Абсолютно. Она подсчитала дни.

И что было потом?

Отец перестал рыдать. Ему нужно было возвращаться на работу. Мать собрала вещи и увезла нас, и мы поселились с Нилом в трейлере, который он нашел, за городом. Мать потом говорила, что тоже плакала. Но еще она говорила, что почувствовала себя живой. По-настоящему живой — может быть, впервые в жизни. Словно ей дали шанс; словно ее жизнь началась заново, с самого начала. Она ушла, оставив в прошлой жизни серебро, фарфор, оформленный дизайнером дом, сад с цветами и даже книги из книжного шкафа. Мать намеревалась отныне жить, а не читать. Она оставила в шкафу всю одежду на вешалках и туфли с высокими каблуками, распяленные на колодках. Кольцо с бриллиантом и обручальное кольцо — на комоде. Шелковые ночные рубашки — в ящике комода. За городом она собиралась ходить голой — во всяком случае, пока тепло.

Но у нее ничего не вышло: когда она попробовала, Каро убежала и спряталась в своей койке, и даже Нил сказал, что не в восторге от этой идеи.

Что он сам, Нил, об этом думал? Его жизненная философия, которую он позже сформулировал в разговоре со мной, звучала следующим образом: радостно принимать все, что случается. Все, что с человеком происходит, — это дар. Мы даем и берем.

Я с большим подозрением отношусь к людям, которые выражаются подобным образом. Хотя, пожалуй, у меня и нет на это оснований.

Нил был не настоящим актером. Он сказал, что начал играть в театре эксперимента ради. Чтобы лучше познать самого себя. В университете он был частью хора в «Царе Эдипе» — до того, как бросил учебу. Ему это нравилось — отдаваться происходящему, сливаться с другими. Потом однажды в Торонто он столкнулся на улице с приятелем, который собирался на прослушивание — роль на лето в новом театре в маленьком городке. От нечего делать он пошел вместе с другом и получил роль, а его друг — нет. Это была роль Банко. Иногда режиссер делает Дух Банко видимым, иногда нет. На этот раз выбрали видимую версию, а Нил был как раз подходящего размера. Просто прекрасного размера. Весьма плотный дух.

Нил так и так собирался зимовать в нашем

городе, еще до того, как наша мать устроила ему сюрприз. Он уже приметил этот трейлер. Его плотницкого искусства хватило, чтобы получить заказ на ремонт театрального здания, и на этой работе он собирался протянуть до весны. Дальше в будущее он никогда не заглядывал.

Каро даже не пришлось менять школу. Школьный автобус подбирал ее в конце короткой проселочной дороги, идущей мимо карьера. Ей пришлось подружиться с деревенскими детьми и, может быть, что-то объяснить городским детям, с которыми она дружила раньше. Возможно, это создало для нее какие-то трудности, но я о них ничего не знаю.

Когда Каро возвращалась из школы, Блитци всегда ждала ее у дороги.

Я не ходила в детский сад, потому что матери не на чем было меня возить. Но я вполне обходилась без других детей. Мне хватало Каро и того времени, которое она проводила дома после школы. И мать охотно со мной играла. В ту зиму, когда выпал первый снег, мы с ней построили снеговика, и она спросила: «Хочешь, мы назовем его Нил?» Я сказала «да», и мы стали втыкать в него разные штуки, чтобы получалось смешно. Потом договорились, что, когда Нил будет подъезжать, я

выбегу из дома и закричу: «Вот Нил, вот Нил!» — но указывать при этом буду на снеговика. Так я и сделала, но Нил накричал на меня за то, что я могла попасть под его машину.

Это был один из немногих случаев, когда он при мне вел себя по-отцовски.

Должно быть, те короткие зимние дни казались мне странными — в городе огни зажигались с наступлением сумерек. Но дети привыкают к переменам. Иногда я задумывалась о нашем прежнем доме. Не то что я тосковала по нему или хотела опять там жить — просто думала о том, куда он девался.

Мать с Нилом по ночам не скучали. Если я просыпалась и мне нужно было в туалет, я звала ее. Она приходила в хорошем настроении, не спеша, замотанная в какую-нибудь тряпку или платок и окутанная запахом, который у меня в мыслях связывался с горящими свечами и музыкой. И любовью.

В это время происходило и что-то менее радостное, но я тогда никак не пыталась это осознать. Наша собака Блитци была не очень крупная, но все же не влезала под пальто Каро. Не знаю, как сестре удалось выкинуть такой фокус. И даже не один раз, а дважды. Она спрятала Блитци под

пальто и села с ней в школьный автобус, а потом, вместо школы, отправилась вместе с собакой к нашему старому городскому дому, который был меньше чем в квартале от школы. Там, на зимнем крыльце дома, мой отец и нашел Блитци, когда вернулся домой среди дня, чтобы пообедать в одиночестве. Все ужасно удивлялись, как это собака туда попала, нашла дорогу домой — словно в книжке. Каро шумела громче всех и утверждала, что вообще не видела собаку в то утро. Но потом сделала ошибку: повторила то же самое через неделю, и, хотя в автобусе и в школе никто ничего не заметил, наша мать заподозрила неладное.

Я не помню, как Блитци вернули нам, привез ли ее отец. Я никак не могу представить себе его в трейлере, или у двери трейлера, или даже на дороге, ведущей к трейлеру. Может быть, Нил приехал в городской дом и забрал собаку. Впрочем, эту картину представить столь же сложно.

Может быть, по моим словам выходит, что Каро все время была несчастна или строила всякие замыслы, но это не так. Как я уже сказала, по ночам, когда мы ложились в постель, она старалась вывести меня на разговоры о разном, но нельзя сказать, что она постоянно жаловалась. Ходить надутой было не в ее характере. Она была слиш-

ком нацелена на то, чтобы производить хорошее впечатление. Она хотела нравиться людям; она хотела, чтобы воздух вокруг нее искрился обещанием чего-то такого, что можно назвать весельем. Она больше думала об этом, чем я.

Сейчас мне кажется, что она была больше моего похожа на мать.

Должно быть, мать настойчиво расспрашивала ее о происшествии с собакой. Я, кажется, помню эти разговоры.

— Я это сделала шутки ради.

— Может быть, ты хочешь переехать к отцу?

Мне помнится, что ее об этом спрашивали, и помнится также, что она сказала «нет».

Я не спрашивала ее ни о чем. Ее поступок не казался мне странным. Может быть, это характерно для младших: все, что делают наделенные большей властью и самостоятельностью старшие дети, кажется им в порядке вещей.

Нашу почту складывали в жестяной почтовый ящик, который стоял у большой дороги. Мы с матерью ходили туда посмотреть, не пришло ли нам что-нибудь, каждый день, если погода не была уж совсем плохая. После моего дневного сна. Иногда это был единственный раз за весь день, что мы выходили наружу. По утрам мы

смотрели детские телепередачи, точнее, я смотрела, а мать в это время читала (ее решимости отказаться от чтения хватило ненадолго). На обед мы разогревали суп из консервной банки, потом я ложилась спать, а мать опять читала. Ребенок у нее в животе уже стал совсем большой и иногда шевелился, так что я могла потрогать, как он шевелится. Его или ее собирались назвать Бренди, точнее, уже звали Бренди, независимо от того, кто это окажется, мальчик или девочка.

Однажды, когда мы шли по проселку за почтой и уже почти дошли до почтового ящика, мать остановилась и замерла.

— Тихо, — сказала она мне, хотя я не произнесла ни слова и даже не шаркала сапожками по снегу (у меня была такая игра).

— Я и не говорю ничего, — обиделась я.

— Ш-ш-ш! Поворачиваем назад.

— Но мы не взяли почту!

— Не важно. Идем.

Тут я заметила, что Блитци, которая обычно бежала рядом, чуть обгоняя нас или чуть отставая, куда-то делась. На другой стороне дороги, в нескольких футах от почтового ящика, стояла какая-то чужая собака.

Как только мы вернулись домой и Блитци,

ждущую у двери, тоже впустили, мать позвонила в театр. Никто не ответил. Тогда она позвонила в школу и попросила передать водителю автобуса, чтобы он довез Каро до самой двери. Оказалось, что водитель не может этого сделать: с тех пор как Нил последний раз чистил нашу проселочную дорогу, там опять навалило снегу. Но он, то есть водитель, проследил за Каро, чтобы убедиться, что она благополучно дошла до дому. Никакого волка он поблизости не заметил.

Нил придерживался мнения, что никакого волка и не было. А если и был, то неопасный — скорее всего, ослабевший после зимней спячки.

Каро сказала, что волки зимой не спят:

— Мы проходили в школе.

Мать хотела, чтобы Нил раздобыл ружье.

— Ты хочешь, чтобы я купил ружье и застрелил несчастную голодную мать-волчицу, у которой, наверно, где-нибудь в кустах целый выводок волчат? Она всего лишь старается их защитить, точно так же как ты — своих детей, — тихо возразил он.

— Только двое, — сказала Каро. — У волков бывает только по два детеныша зараз.

— Да, да. Я разговариваю с твоей матерью.

— Ты этого не знаешь, — сказала мать. — Ты

понятия не имеешь, есть у нее голодные волчата или вообще какие-нибудь.

Мне и не снилось, что мать может так разговаривать с Нилом.

— Тихо, тихо, — сказал он. — Давай на минуточку задумаемся. Оружие — ужасная вещь. Если я пойду и куплю ружье, что именно я этим заявлю? Что одобряю войну во Вьетнаме? Что мог бы и сам пойти воевать?

— Ты не американец.

— Не провоцируй меня.

Примерно такой у них вышел разговор, и кончилось тем, что Нил не купил ружья. Волка мы больше ни разу не видели, если это вообще был волк. Кажется, мать перестала забирать почту, но, может быть, это потому, что у нее живот уже слишком сильно вырос.

Снег таял, словно по волшебству. Деревья еще стояли голые, и мать заставляла Каро надевать пальто в школу, но, возвращаясь из школы, Каро тащила его в руках.

Мать думала, что у нее будет двойня, но доктор сказал, что нет.

— Отлично, отлично. — Нила мысль о близнецах обрадовала. — Эти доктора, что они понимают.

Карьер наполнился талой и дождевой водой, так что Каро на пути к школьному автобусу приходилось пробираться по самому краю. Карьер превратился в небольшое озеро, неподвижное, сверкающее под ясным небом. Каро без особой надежды спросила, нельзя ли нам в нем играть.

— Ты с ума сошла, — сказала мать. — Там глубина футов двадцать, не меньше.

— Десять, может быть, — поправил Нил.

— У самого края неглубоко, — сказала Каро.

Глубоко, утверждала мать. Сразу у берега карьер уходит отвесно вглубь.

— Это вам не пляж, черт возьми! Даже не подходите туда!

Она стала много чертыхаться, даже больше, чем Нил, и с бóльшим отчаянием в голосе.

— Может, собаку туда тоже не пускать? — спросила она у Нила.

Нил сказал, что с собакой проблем нет:

— Собаки умеют плавать.

Была суббота. Каро вместе со мной смотрела «Доброго великана» и отпускала замечания, которые портили мне все удовольствие. Нил лежал на диване, который раскладывался и превращался в кровать для него и матери. Нил курил свои особенные сигареты — ему нельзя было курить их

на работе, поэтому он старался как можно полнее насладиться ими по выходным. Каро иногда приставала к нему, прося попробовать. Однажды он ей позволил, но велел не рассказывать матери.

Но я все видела и рассказала.

Поднялся шум (впрочем, на скандал он не тянул).

— Ты же знаешь, что он мгновенно отберет детей, — говорила мать. — Ни в коем случае, никогда больше.

— Больше никогда, — добродушно согласился Нил. — А то, что он им дает «Криспис» и прочую ядовитую дрянь, это ничего?

Поначалу мы совсем не виделись с отцом. Потом, после Рождества, установился график субботних встреч. После каждой встречи мать спрашивала, хорошо ли мы провели время. Я всегда говорила «да», и не кривила душой, — я думала, что, если меня сводили в кино, или посмотреть на озеро Гурон, или поесть в ресторане, это значит, что я хорошо провела время. Каро тоже говорила «да», но ее тон намекал, что мать сует нос не в свое дело. Потом, зимой, отец поехал в отпуск на Кубу (мать говорила об этом с некоторым удивлением и даже одобрением) и вернулся оттуда с каким-то упорным гриппом,

так что визиты прекратились сами собой. Они должны были возобновиться весной, но пока не возобновились.

Когда передача кончилась, нас с Каро выгнали на улицу — «побегать», как сказала мать, и подышать свежим воздухом. Собаку мы тоже взяли.

Выйдя наружу, мы первым делом ослабили шарфы, намотанные на нас матерью, и выпустили концы наружу. (Мы тогда, вероятно, не связывали одно с другим, но чем дальше заходила беременность, тем больше мать вела себя «как положено матери» — во всяком случае, в том, что касалось ненужных нам шарфов или регулярного питания. Она больше не агитировала за возврат к дикой природе, как прошлой осенью.) Каро спросила, чем я хочу заняться, и я сказала, что не знаю. С ее стороны это была формальность, с моей — чистая правда. Мы пустили Блитци вперед и пошли за ней, а она решила обследовать карьер. Ветер хлестал воду, взбивая на ней маленькие волны, и скоро нам стало холодно и мы снова замотались шарфами.

Не знаю, сколько времени мы просто бродили у воды, зная, что из трейлера нас не видно. Через некоторое время я осознала, что мне дают указания.

Я должна была вернуться в трейлер и что-то сказать Нилу и матери.

Сказать, что собака упала в воду.

Что собака упала в воду и Каро боится, что собака утонет.

Блитци. Утопнет.

Утонет.

Но Блитци же не упала в воду.

Но может упасть. И тогда Каро может прыгнуть в воду, чтобы спасти ее.

Мне помнится, что я возражала — «но ты не… но она не… может упасть, но ведь не упала же»… Еще я помнила слова Нила о том, что собаки умеют плавать.

Каро велела мне идти и делать что сказано.

Но зачем?

Может быть, я произнесла это вслух. А может быть, только стояла, не повинуясь приказу сестры и ища очередное возражение.

Мысленным взором я вижу, как сестра хватает Блитци и швыряет, а Блитци цепляется за ее пальто, но тщетно. Потом она пятится, Каро пятится для разбега и несется к воде. Бежит, подскакивая, и вдруг бросается в воду. Но я совсем не помню всплесков — ведь обе они ударились о воду, и я должна была услышать всплеск. Но я не помню

никакого всплеска, ни маленького, ни большого. Может быть, в это время я уже бежала к трейлеру. Наверно, так.

Когда мне это снится, во сне я всегда бегу. Но во сне — не к трейлеру, а в другую сторону, к карьеру. Я вижу, как бултыхается Блитци и как плывет к ней Каро, сильными гребками, чтобы ее спасти. Я вижу пальто в светло-коричневую клетку, шарф из шотландки, победный взгляд и рыжеватые волосы с потемневшими от воды концами. Мне остается только смотреть и радоваться — ведь от меня в итоге ничего не потребовалось.

На самом деле я побежала к трейлеру — вверх по небольшому склону. И, добежав, села. Словно на ступеньку крыльца или на скамейку у дома, хотя у трейлера не было ни крыльца, ни скамейки. Села и стала ждать, что будет дальше.

Это я точно знаю, потому что это факт. Впрочем, я не знаю, в чем состоял мой план или о чем я думала. Может быть, я ждала начала следующего акта в драме Каро. Или в драме Блитци.

Не знаю, сколько я там сидела — пять минут? Больше? Меньше? Было не очень холодно.

Одно время я ходила с этим к психотерапевту, и она — это была женщина — убедила меня, что я подергала дверь трейлера и та оказалась

закрытой. Потому что моя мать и Нил занимались любовью и заперлись, чтобы им никто не мешал. Если бы я начала колотить в дверь, они бы рассердились. Психотерапевт была очень довольна, что привела меня к такому выводу. Меня он удовлетворил, но ненадолго. Теперь я уже не думаю, что это правда. Мать с Нилом не стали бы запираться — однажды они не заперлись, Каро вошла и увидела их, и они очень смеялись над тем, какое у нее стало лицо.

Может быть, я помнила слова Нила о том, что собаки не тонут, а это значило, что Каро незачем было бросаться в воду и спасать Блитци. Поэтому она не смогла бы довести собственный замысел до конца. У нее все время были какие-нибудь замыслы.

Думала ли я, что она умеет плавать? В девять лет многие дети умеют. И действительно, оказалось, что в предыдущее лето ей дали один урок плавания, но потом уроки прекратились, потому что мы переехали в трейлер. Наверно, она думала, что этого хватит. А я, возможно, и в самом деле верила в ее всемогущество.

Психотерапевт не наводила меня на мысль, что мне, может быть, до тошноты надоело выполнять приказы сестры, но меня эта мысль посещала.

Впрочем, она не казалась мне правильной. Будь я постарше — другое дело. В то время сестра еще заполняла весь мой мир, и я не предполагала, что может быть иначе.

Сколько я там сидела? Скорее всего, недолго. Вполне возможно, что я постучала в дверь. Чуть погодя. Через минуту-другую. Во всяком случае, в какой-то момент из двери выглянула мать — без всякой причины. Может, у нее было предчувствие.

Следующий кадр: я внутри. Мать кричит на Нила, хочет, чтобы он понял что-то важное. Он встает на ноги, стоит, обращается к ней, трогает ее — так мягко, нежно, утешительно. Но это вовсе не то, что сейчас нужно матери, и она вырывается у него из рук и вылетает в дверь. Он качает головой и смотрит на свои босые ноги. Беспомощные, голые большие пальцы больших ног.

Кажется, он что-то говорит мне с певучей печалью в голосе. Странно.

После этого я уже не помню никаких подробностей.

Мать не бросилась в воду. Преждевременных родов от потрясения у нее тоже не случилось. Мой брат Брент родился полностью доношенным, через неделю или даже десять дней после

похорон. Где находилась мать в ожидании родов, я не знаю. Может быть, ее держали в больнице под действием успокоительных, принимая во внимание обстоятельства.

День похорон я помню очень хорошо. Милая, приятная женщина по имени Джози, которую я до тех пор не знала, повела меня в поход. Мы поиграли на детской площадке с качелями и чем-то вроде кукольного домика, но большого, в котором поместилась и я. Потом мы пообедали — на обед было все мое любимое, но не очень большими порциями, чтобы меня не стошнило. Позже я близко познакомилась с Джози. Мой отец подружился с ней на Кубе, и после того, как родители развелись, она стала моей мачехой, второй женой отца.

Мать оправилась. Да у нее и не было другого выхода. Ей нужно было присматривать за Брентом и — бóльшую часть времени — еще и за мной. Кажется, я была у отца и Джози, пока мать осваивалась в доме, где собиралась жить до конца своих дней. Я не помню себя в этом доме с совсем маленьким Брентом — первое воспоминание относится ко времени, когда он уже сидит в высоком стульчике.

Мать вернулась на работу в театр. Поначалу,

вероятно, как раньше — капельдинером-добровольцем, — но к тому времени, как я пошла в школу, мать уже работала по-настоящему, за деньги, круглый год. Она стала бизнес-менеджером театра. Театр пережил трудные времена, но выжил и существует до сих пор.

Нил не верил в похороны и поэтому не пошел на похороны Каро. Брента он так и не увидел. Много лет спустя я узнала, что он написал матери письмо: поскольку он не собирается выступать в роли отца, то лучше ему сразу откланяться. Я никогда не говорила о нем с Брентом, чтобы не расстраивать мать. И еще потому, что Брент был на него совершенно не похож. Гораздо больше он, то есть Брент, был похож на моего отца — и это наводит на некоторые мысли о том, что происходило во время его зачатия. Отец не сказал об этом ни слова и никогда не скажет. Он относится к Бренту точно так же, как и ко мне, но он поступал бы так в любом случае. Такой уж он человек.

Своих детей у отца и Джози не было, но мне кажется, их это не расстраивает. Джози — единственная, кто вспоминает о Каро, и то нечасто. Она говорит, что мой отец не винит мою мать. Сам отец говорит, что он, наверно, был очень скучный, а моей матери недоставало захватывающих

поворотов в жизни. Отца надо было встряхнуть, и его встряхнули. Жалеть о случившемся нет смысла. Без этого он никогда не встретил бы Джози и они двое сейчас не были бы так счастливы.

— Двое — это ты и еще кто? — спрашиваю я, просто чтобы позлить его, и он упрямо отвечает:

— Джози. Джози, конечно.

Мать не желает вспоминать об этой поре нашей жизни, и я не настаиваю. Я знаю, что она ездила посмотреть на те места и что там все переменилось — на непахотной земле выстроили новые дома, современного вида. Мать упомянула о них с некоторым презрением. Я и сама ходила по нашему старому проселку, но никому об этом не сказала. Нынче в семьях принято вываливать все потроха напоказ, но мне это кажется ошибкой.

Даже там, где раньше был карьер, сейчас стоит дом — землю сровняли.

Я живу с женщиной, ее зовут Рут-Энн. Она моложе меня, но в каком-то смысле мудрее. А может, просто оптимистичней смотрит на процесс, который называет изгнанием моих демонов. Если бы не она, я бы ни за что не стала встречаться с Нилом. Конечно, у меня и возможности такой очень долго не было, так же как не было и мыслей о том, чтобы его найти. Он сам мне написал.

Увидел мою фотографию в «Алумни газетт» и прислал краткую записку-поздравление. Понятия не имею, отчего он вдруг заглянул в «Алумни газетт». Мою фотографию там поместили по случаю присуждения мне какой-то научной премии, которая что-то значит для очень узкого круга людей и ничего — за его пределами.

Оказалось, что Нил живет менее чем в пятидесяти милях от того места, где я преподаю (по случайному совпадению это тот же университет, где я когда-то училась). Интересно, когда я училась, он тоже там жил? Так близко. Может, он подался в научные работники?

Сперва я не собиралась отвечать на его письмо, но потом рассказала Рут-Энн, и она сказала, что нужно ответить. В общем, я послала ему имейл, и мы договорились. Я должна была подъехать к нему в городок и встретиться в безопасной обстановке университетского кафе. Я сказала себе, что если у него окажется невыносимый вид (не знаю, что я под этим подразумевала), то я просто пройду мимо.

Он стал меньше, как обычно бывает со взрослыми, которых помнишь с детства. Волосы, теперь коротко стриженные, поредели. Он взял мне чаю. Сам он тоже пил чай.

Чем он занимается?

Он сказал, что натаскивает студентов для сдачи экзаменов. И еще помогает им писать рефераты. Иногда, можно сказать, пишет рефераты за них. Конечно, не бесплатно.

— Одно могу сказать: миллионером с такой работы не станешь.

Живет он в дыре. Ну, относительно пристойной дыре. Ему там нравится. Одежду он покупает в секонд-хенде Армии спасения. Это тоже ничего.

— Соответствует моим принципам.

Я не выразила восторга по поводу его откровений, впрочем, думаю, он этого и не ждал.

— Но, наверно, мой стиль жизни тебя мало интересует. Я подумал, ты хотела бы знать, что тогда произошло.

Я не сразу обрела дар речи.

— Я был упорот в дугу, — сказал он. — И к тому же я не умею плавать. Там, где я рос, бассейнов не было. Я бы тоже утонул. Ты это хотела знать?

Я сказала, что не его поведение интересует меня больше всего.

Он стал третьим человеком, кого я спросила:

— Как ты думаешь, чего хотела добиться Каро?

Психотерапевт на этот вопрос ответила, что мы никогда не узнаем. «Скорее всего, она и сама

не знала. Привлечь внимание? Я не думаю, что она утопилась намеренно. Хотела дать понять, что ей плохо?»

Рут-Энн предположила: «Чтобы добиться своего у матери? Чтобы та пришла в себя и поняла, что должна вернуться к вашему отцу?»

Нил же сказал:

— Это не имеет значения. Может, она думала, что умеет грести, а оказалось, что не умеет. Может, не знала, что мокрая зимняя одежда будет такой тяжелой. Не знала, что некому будет ей помочь.

И еще:

— Не трать на это времени. Ты, случайно, не гадаешь, что было бы, если бы ты сразу побежала и позвала нас? Не пытаешься взять вину на себя?

Я сказала, что думала об этом и решила, что моей вины тут нет.

— Главное — быть счастливым, — сказал он. — Несмотря ни на что. Вот попробуй. У тебя получится. Потом будет все легче и легче. Независимо от обстоятельств жизни. Ты не поверишь, как это здорово. Принимай всё, и тогда трагедии уходят. Или светлеют. И ты остаешься в мире, где всё легко.

На этом мы распрощались.

Я понимаю, что он имел в виду. Действительно, так и нужно поступать. Но у меня в мыслях Каро вечно ныряет с разбегу в воду, а я навечно застыла на месте, ожидая от нее каких-то объяснений, ожидая всплеска.

Надежный тыл

Все это было в семидесятых. Хотя в том маленьком городке и других ему подобных семидесятые были совсем не такими, как мы их представляем себе теперь, и даже не такими, какими я знала их в Ванкувере. Мальчики стриглись не так коротко, как раньше, но все же их волосы не болтались у лопаток, и в воздухе не веяло каким-то особенным духом свободы или бунтарством.

Все началось с молитвы. Дядя стал дразнить меня тем, что я не читаю молитву перед едой. Мне было тринадцать лет, и я жила с дядей и тетей — я провела у них год, пока мои родители были в Африке. До тех пор мне не приходилось склонять голову над тарелкой еды.

— Господь да благословит эту еду на пользу нам, а нас — на службу Ему, — произнес дядя Джаспер, пока я сидела с застывшей в воздухе рукой, сжимающей вилку, и с полным ртом картошки и мяса, которые пока нельзя было жевать.

— Тебя что-то удивило? — спросил дядя после «ради Иисуса Христа, аминь». Может быть, мои родители молятся как-то по-другому или после еды, а не до, осведомился он.

— Они вообще не молятся, — ответила я.

— Неужели? — произнес он. Эти слова были полны деланого изумления. — Не может быть! Не молятся перед едой — и поехали в Африку нести свет язычникам! Подумать только!

Родители работали школьными учителями в Гане, и, насколько мне было известно, им там пока не попался ни один язычник. Христианская жизнь в Гане била ключом повсюду, вплоть до надписей на стенках автобусов, и это даже отчасти смущало.

— Мои родители — унитарии, — сказала я, почему-то не включив себя в ту же категорию.

Дядя Джаспер покачал головой и попросил меня объяснить, что значит это слово. Быть может, они не верят в Господа Моисеева и Авраамова? Тогда они, конечно же, иудеи. Нет? Неужели магометане?

— Дело в том, что у каждого человека свое представление о Боге, — сказала я с уверенностью, которой дядя, вероятно, не ожидал. При наличии двух братьев-студентов, которые, судя по всему, не собирались упокоиться в лоне унитарианской церкви, пылкие религиозные — и атеистические тоже — дебаты за обеденным столом были для меня привычны. — Но мои родители верят в то,

что следует делать добрые дела и жить добродетельной жизнью, — добавила я.

Это была ошибка. На дядином лице тут же отразилось глубочайшее недоверие — поднятые брови, изумленный кивок, — но даже мне самой эти слова показались чужими, напыщенными, произнесенными без убеждения.

Я не одобряла отъезда родителей в Африку. Я возражала против того, чтобы меня спихнули — именно такими словами я и говорила — на дядю и тетю. Возможно, я даже заявила своим многострадальным родителям, что все их добрые дела — полная чепуха. У нас дома было принято говорить то, что думаешь. Впрочем, кажется, в лексиконе моих родителей не было слов вроде «добрые дела» или «нести свет».

Дядя пока что удовлетворился достигнутым. Он объявил, что мы на время оставим эту тему, так как в час у него снова начинается прием больных — ему пора идти творить свои собственные добрые дела.

Вероятно, именно в этот момент тетя взяла вилку и принялась есть. Она всегда ждала окончания перепалки. Возможно, это было вызвано не испугом из-за моей прямоты, а всего лишь привычкой. Тетя обычно молчала, пока не убеждалась, что

дядя сказал все, что хотел сказать. Даже если я обращалась непосредственно к ней, она сначала взглядывала на дядю и ждала — вдруг он захочет ответить. Говорила она всегда бодро. И улыбалась, как только видела, что разрешено улыбнуться. Поэтому мне не верилось, что дядя ее угнетает. Еще мне трудно было поверить, что она — сестра моей матери: она выглядела гораздо моложе, свежей и аккуратней, плюс еще вечные лучистые улыбки.

Моя мать не стеснялась перебить отца, если считала нужным немедленно высказаться — а это бывало часто. Мои братья — даже тот, что объявил о своем желании перейти в ислам, чтобы указывать женщинам их место, — всегда прислушивались к ней как к равной.

«Дон посвятила свою жизнь этому человеку», — говорила мать, старательно воздерживаясь от оценок. Или: «Этот человек для нее свет в окне». Тогда так говорили, и это не обязательно значило осуждение. Но я не встречала женщины, к которой эти слова подходили бы так же точно, как к тете Дон.

Конечно, говорила мать, будь у них дети, все было бы по-другому.

Подумать только. Дети. Путались бы под но-

гами у дяди Джаспера и скулили бы, добиваясь внимания матери. То болели бы, то пищали, устраивая беспорядок в доме и требуя еды, которую не ест дядя.

Немыслимо. Этот дом принадлежал ему, здесь готовилась еда, которую любит он, радио— и телепередачи тоже выбирал он. Даже если он был занят на приеме больных (в пристроенном к дому кабинете) или посещал их на дому, здесь все должно было идти так, чтобы в любой момент выдержать его инспекцию.

До меня не сразу дошло, что такой режим имеет и свои плюсы. Ярко начищенные серебряные ложки и вилки, натертые темные полы, приятные на ощупь простыни — всем хозяйственным священнодействием заведовала тетя, а воплощалось оно руками горничной по имени Бернис. Бернис готовила еду из свежих продуктов и гладила посудные полотенца. Все остальные врачи города посылали белье в китайские прачечные, а наше белье Бернис и тетя Дон собственноручно развешивали на веревках во дворе. Простыни и бинты отбеливались солнцем и пахли свежестью. Косоглазые, по мнению дяди, чересчур налегали на крахмал.

— Китайцы, — говорила тетя мягко, чуть под-

шучивая и словно извиняясь одновременно перед дядей и перед работниками прачечной.

— Косоглазые, — задорно повторял дядя.

Это слово звучало естественно только в устах Бернис.

Моя верность родительскому дому, где процветала интеллектуальная жизнь и царил физический беспорядок, понемногу слабела. Конечно, на создание и поддержание домашнего уюта уходят все силы женщины. На такие вещи, как перепечатывание унитарианских манифестов или побег в Африку, уже ничего не остается. (Поначалу каждый раз, когда кто-нибудь говорил, что мои родители сбежали в Африку, я повторяла, что они уехали туда работать. Потом мне это опротивело.)

«Надежный тыл» — это были ключевые слова. «Самое важное занятие в жизни женщины — создание надежного тыла для мужчины».

Что, тетя Дон прямо так и изъяснялась? Не думаю. Она сторонилась громких заявлений. Наверно, я прочитала эти слова в каком-нибудь из женских хозяйственных журналов, найденных в доме. Мою мать от подобных изданий тошнило.

Поначалу я исследовала городок. Я нашла в дальнем углу гаража тяжелый старый вело-

сипед и укатила на нем, не подумав спросить разрешения. Я поехала под горку по только что посыпанной гравием дороге над заливом, и велосипед потерял управление. Я сильно ободрала одно колено, и пришлось зайти в приемную к дяде, в кабинет при доме. Дядя умело обработал мою рану. При этом он держался по-деловому, с безличной мягкостью. Без всяких шуточек. Он сказал, что не помнит, откуда взялся этот велосипед — коварное неуклюжее чудовище. Если я уж так хочу кататься, надо раздобыть мне другой, получше. Когда я обвыклась в новой школе и усвоила правила для подрастающих девочек, мне стало ясно, что катание на велосипеде совершенно исключено, так что больше мы к этой теме не возвращались. Меня, впрочем, удивило, что дядя не стал говорить о приличиях и о том, что положено или не положено делать девочкам. Будучи на работе, он, казалось, забыл, что должен наставлять меня на путь истинный и, особенно за обеденным столом, напоминать мне, чтобы я брала пример с тети Дон.

Тетя же, узнав о моей вылазке, сказала:

— Ты поехала туда кататься сама, одна? Ты что-то искала? Ну ничего, скоро ты заведешь подруг.

Она была права и в том и в другом: я в самом

деле скоро завела подруг и это в самом деле ограничило мою свободу.

Дядя Джаспер был не просто врачом — он был Доктором с большой буквы. Это он добился того, что в городе построили больницу, а потом запретил называть ее в его честь. Он вырос в бедной семье, но был очень способным и преподавал в школе, пока не накопил денег, чтобы учиться на врача. Он принимал роды и вырезал аппендиксы прямо на кухнях фермерских домов, пробившись сквозь метель. Такое еще бывало даже в пятидесятых и шестидесятых. Все знали, что он никогда не сдается — лечит и заражение крови, и воспаление легких. Он вытаскивал больных с того света, когда про новые лекарства еще и не слыхали.

Но у себя в лечебнице он казался другим человеком, гораздо более легким в обращении, чем дома. Словно дома ему приходилось быть все время начеку, а в кабинете можно было ослабить бдительность — хотя, если вдуматься, логичней было бы наоборот. Работающая с ним медсестра даже не проявляла особого пиетета, совсем не похоже на тетю Дон. Когда дядя обрабатывал мою коленку, медсестра как раз сунула голову в дверь и сказала, что уходит домой пораньше.

— Доктор Форт, вам придется отвечать на звон-

ки. Помните, я вам говорила?

— Угу, — ответил он.

Конечно, медсестра была старая — лет пятидесяти, а то и больше, а у женщин в этом возрасте иногда проявляются командирские замашки.

Но мне было очень трудно представить, что такие замашки могут проявиться у тети Дон. Она как будто застыла в розовощекой, робкой юности. Когда я только приехала к тете и дяде и еще думала, что мне позволено бродить повсюду, я зашла в спальню дяди и тети — разглядеть тетину фотографию, которая стояла на тумбочке у кровати.

У тети на фотографии были все те же мягкие очертания фигуры и темные волнистые волосы. Но волосы частично прикрывала красная шапочка, совсем не идущая тете, и еще на ней была фиолетовая накидка. Спустившись на первый этаж, я спросила тетю, что это за костюм, и она сказала:

— Какой костюм? А, это мы носили на курсах медсестер.

— Вы были медсестрой?

— О нет! — Она рассмеялась, словно такое было бы нелепицей, вызовом обществу с ее стороны. — Я бросила учебу.

— Вы на этих курсах познакомились с дядей?

— О нет. Он к тому времени уже много лет был врачом. Я встретила его, когда у меня был прободной аппендицит. Я жила у подруги — в смысле, в семье подруги, здесь в городе, — и мне было очень плохо, но я не знала, что со мной. Он поставил диагноз и вырезал мне аппендикс.

С этими словами она покраснела еще сильней обычного и добавила, что мне, наверно, лучше не заходить к ним в спальню без разрешения. Даже я поняла, что это значит полный запрет.

— Так ваша подруга до сих пор тут живет?

— О, ну, знаешь… Когда выходишь замуж, прежняя дружба уже становится не та.

Примерно в то же время, когда происходил этот разговор, я узнала, что у дяди Джаспера тоже есть родня (а я раньше думала, что у него никого нет). У него была сестра. Она тоже многого добилась (во всяком случае, в моем понимании). Она была музыкантшей, скрипачкой. Ее звали Мона. По крайней мере, она выступала под этим именем, хотя ее настоящее имя, данное при крещении, было Мод. Мона Форт. Впервые я услышала о ней, прожив в городке примерно половину учебного года. Однажды, возвращаясь из школы домой, я увидела в витрине газетной лавочки афишу, возвещающую, что через две недели в городской

ратуше состоится концерт. Трио из Торонто. Мона Форт была высокая беловолосая дама со скрипкой. Добравшись до дому, я рассказала тете о совпадении фамилий, и тетя ответила:

— О да. Это сестра твоего дяди.

Потом добавила:

— Только не говори о ней ни с кем.

Подумав минуту, она, кажется, решила, что мне следует знать больше:

— Твой дядя не любит такую музыку. Симфоническую.

А потом рассказала еще немного.

Сестра дяди Джаспера была старше его на несколько лет, и, когда они были еще маленькими, кое-что произошло. Какие-то родственники решили, что раз девочка такая талантливая, ее нужно забрать и дать ей шанс. Поэтому сестру воспитывали совсем не так, как брата, и у них очень мало общего, и это всё, что она — тетя Дон — может мне рассказать. Хотя дядя даже этого не одобрит, если узнает.

— Он не любит такую музыку? — повторила я. — А какую он любит?

— Наверно, можно сказать, что старомодную. Но точно не классику.

— «Битлз»?

— О боже!

— Неужели Лоуренса Уэлка?[7]

— Давай мы не будем это обсуждать. Я и так уже слишком много рассказала, чего не должна была.

Но я не остановилась:

— А вы какую музыку любите?

— Ну… наверно, любую.

— Но должно же вам что-то нравиться больше, а что-то меньше.

На это она ответила лишь обычным для нее застенчивым смешком. Это был нервный смешок, похожий на тот, с которым она спрашивала у дяди, как ему понравился ужин, но с большей долей озабоченности. Дядя почти всегда одобрял ужин, но с оговорками. Вкусно, только островато. (Или пресновато, или чуточку пережарено, или, может быть, недожарено.) Однажды он ответил: «Никак» — и отказался объяснять дальше, и тетин смешок исчез в плотно сжатых губах и героическом самообладании.

Что мы ели за тем ужином? Мне кажется, что карри, но, может быть, лишь потому, что мой

---

[7] Примечания: 7

Лоуренс Уэлк (1903–1992) — американский аккордеонист, руководитель оркестра легкой музыки и телеведущий; в 1955–1982 гг. вел на канале Эй-би-си популярное «Шоу Лоуренса Уэлка».

отец не любил карри, хотя и не скандалил по этому поводу. Дядя же встал из-за стола и сделал себе бутерброд с арахисовым маслом — так подчеркнуто, что это было равносильно скандалу. Что бы ни подала в тот вечер тетя, вряд ли это было намеренной провокацией с ее стороны. Может, какое-то чуть необычное блюдо, которое понравилось ей по иллюстрации в журнале. И насколько я помню, перед вынесением вердикта дядя съел все, что было у него на тарелке. Значит, им двигал не голод, а желание заявить о своем чистом и всеобъемлющем неодобрении.

Сейчас мне приходит в голову, что, может быть, в тот день что-то случилось в больнице, умер какой-нибудь больной, который не должен был умереть. Может быть, дело было вовсе не в еде. Но вряд ли это пришло в голову тете Дон — а если и пришло, она удержала свои подозрения при себе. Она всячески каялась и старалась загладить свою вину.

В то время у тети Дон была еще одна проблема, но я лишь много позже поняла, в чем она заключалась. Затруднения тети были связаны с супружеской парой, живущей в соседнем доме. Соседи въехали в дом примерно тогда же, когда я поселилась у тети с дядей. Муж был инспектором

школьного округа, а жена — учительницей музыки. Оба примерно одних лет с тетей Дон, моложе дяди Джаспера. И тоже бездетные, поэтому у них оставалось много времени на общение. Они были в той стадии жизни на новом месте, когда все подряд кажутся замечательными людьми и будущими друзьями. Вот они и пригласили тетю Дон и дядю Джаспера к себе на рюмку чего-нибудь. Светская жизнь тети с дядей была настолько ограниченна и в городе это настолько хорошо знали, что тете негде было научиться отказываться от приглашений. Так тетя с дядей и очутились в гостях у соседей: с рюмками в руках, за светской беседой. Надо полагать, дядя Джаспер снизошел до того, чтобы вести себя как подобает случаю, хотя и не простил тете ее опрометчивого согласия.

Теперь тетя была в затруднительном положении. Она понимала, что, если тебя пригласили в гости и ты пошла, положено в ответ пригласить хозяев к себе. Если вы ходили на напитки — значит на напитки, если на кофе — значит на кофе. Устраивать званый обед не нужно. Но тетя не знала, как сделать даже то малое, что требовал этикет. Не то чтобы дяде не нравились соседи — он просто не желал видеть посторонних у себя в

доме ни под каким видом.

Принесенная мною новость, кажется, давала выход из затруднения. Трио из Торонто — в том числе, конечно, Мона — собиралось дать в городке только один концерт. По случайности именно в этот вечер дядя Джаспер собирался уйти из дому и вернуться поздно. Он должен был присутствовать на ежегодном собрании врачей графства, с ужином. Не с банкетом. Жен на это мероприятие не приглашали.

Соседи собирались на концерт. Что и понятно, учитывая род занятий соседки. Но они согласились зайти к нам на кофе с угощением сразу после концерта. И познакомиться — вот здесь тетя замахнулась на то, что было ей не по силам, — познакомиться с участниками трио, которые тоже должны были ненадолго зайти к нам.

Не знаю, рассказала ли тетя соседям о нашем родстве с Моной Форт. Если у нее была хоть капля рассудка, то нет. А рассудка у тети хватало — во всяком случае, обычно. Наверняка она объяснила, что доктора в этот вечер не будет дома, но, конечно, не дошла до того, чтобы попросить соседей держать всю затею в тайне от него. И еще — как ей удалось сохранить все в секрете от Бернис, которая обычно уходила домой во время

нашего ужина и не могла не увидеть тетины приготовления? Не знаю. А самое главное — я понятия не имею, как тетя Дон умудрилась передать приглашение музыкантам. Может, она все время тайно поддерживала связь с Моной? Сомневаюсь. Я уверена, что она не смогла бы длительно обманывать дядю.

Мне представляется, что она, опьянев от собственной храбрости, написала записку и отнесла ее в отель, где музыканты должны были остановиться. Их торонтовского адреса у тети быть не могло.

На пути в отель она, должно быть, чувствовала устремленные на нее взгляды и молилась, чтобы ей подвернулся не управляющий, знакомый ее мужа, а новая служащая, молодая женщина, какая-то иностранка, которая, пожалуй, даже не опознала бы жену доктора.

Наверно, тетя дала понять музыкантам, что те не обязаны оставаться в гостях надолго. Выступление в концерте очень утомляет, а назавтра рано утром музыканты должны были выезжать в другой город.

Зачем она так рисковала? Почему не приняла гостей одна? Трудно сказать. Может быть, боялась, что не сможет в одиночку поддержать

разговор. Может, хотела немножко покрасоваться перед соседями. А может — хотя в это мне слабо верится, — хотела сделать дружеский жест в сторону золовки, с которой, насколько мне известно, никогда не встречалась.

Должно быть, в те дни она ходила оглушенная собственной смелостью. И наверняка горячо молилась о том, чтобы пронесло — чтобы дядя Джаспер не узнал случайно. Например, чтобы в один из дней, предшествующих назначенной дате, он не столкнулся на улице с учительницей музыки и чтобы та не рассыпалась в благодарностях и описаниях нетерпеливого ожидания.

Концерт не так утомил музыкантов, как можно было подумать. И малое количество зрителей, собравшихся в городской ратуше, их тоже не огорчило, — видимо, они знали, чего ждать. Энтузиазм наших соседей и тепло гостиной (в ратуше топили плохо), а также теплое сияние вишневых бархатных занавесей (днем они казались тускло-бордовыми, но в искусственном свете обретали праздничный вид) подняли им настроение. Уют — по контрасту с холодом и сыростью снаружи — и кофе согрели измученных непогодой экзотичных залетных гостей. Не говоря уже о хересе, что последовал за кофе. Херес или

портвейн в хрустальных бокалах положенной формы и размера, а также маленькие пирожные, посыпанные кокосовой стружкой, ромбики и полумесяцы песочного печенья, шоколадные вафли. Я в жизни ничего подобного не видела. Когда у моих родителей бывали гости, к столу подавалось чили в глиняном горшке.

На тете Дон было креповое платье телесного цвета со скромным вырезом. На женщине постарше оно смотрелось бы вполне пристойно и даже чопорно, но тетя выглядела так, словно принимает участие в какой-то слегка эпатажной вечеринке. Жена соседа тоже оделась нарядно — пожалуй, чуть нарядней, чем требовал случай. Низенький плотный виолончелист был в черном костюме, который только благодаря галстуку-бабочке не походил на одежду похоронных дел мастера, а пианистка, его жена, — в черном платье с изобилием оборочек, не идущих к ее полной фигуре. Но Мона Форт сияла, как луна, в платье прямого покроя из какой-то серебристой материи. Мона была ширококостная, с большим носом — таким же, как у ее брата.

Видимо, тетя Дон заранее пригласила кого-то настроить пианино, иначе музыканты не задержались бы у инструмента. (Мне кажется

странным, что в доме вообще оказалось пианино, учитывая музыкальные вкусы дяди, с которыми мы скоро познакомимся поближе. Могу только сказать, что в те годы в домах людей определенного класса обязательно было пианино.)

Жена соседа попросила сыграть «Маленькую ночную серенаду», и я ее поддержала, чтобы выпендриться. На самом деле я не знала этой музыки, а слышала только название — *Eine Kleine Nachtmusik* — на уроках немецкого в моей прежней школе, в большом городе.

Потом сосед тоже попросил что-то сыграть, и музыканты сыграли, а когда они закончили, сосед извинился перед тетей Дон, что так грубо вылез со своими предпочтениями, опередив хозяйку дома.

О нет, сказала тетя Дон, не обращайте на меня внимания, мне нравится любая музыка. И залилась жгучим румянцем. Не знаю, нравилась ли ей вообще музыка, но со стороны было похоже, что она в экстазе. Может, потому, что эти моменты, этот единящий разных людей восторг был делом именно ее рук?

Неужели она забыла? Как она могла забыть? Собрание медиков графства, ежегодный ужин и перевыборы комитета обычно заканчивались

к половине одиннадцатого. А было уже одиннадцать.

Слишком поздно, слишком поздно мы осознали, сколько времени.

Вот открывается внешняя дверь, потом дверь из прихожей, и — не задержавшись, вопреки обыкновению, чтобы снять сапоги, зимнее пальто и шарф, — в гостиную широкими шагами входит дядя.

Музыканты в разгаре игры и не замолкают. Соседи здороваются с дядей — приветливо, но тихо, чтобы не мешать музыке. Дядя — в сапогах, в расстегнутом пальто и болтающемся шарфе — кажется вдвое больше своих обычных размеров. Его взгляд пылает гневом — но не направлен ни на кого в особенности, даже на жену.

Она тоже на него не смотрит. Она начинает собирать тарелки со стола, составляя стопкой одну на другую и не замечая, что на некоторых тарелках еще остались маленькие пирожные и сейчас она раздавит их в лепешку.

Без спешки, но и без остановок дядя шествует через большую гостиную, потом через столовую и оттуда, через качающуюся на петлях двустворчатую дверь, в кухню.

Пианистка сидит, опустив руки на клавиши, и

виолончелист тоже умолк. Скрипка продолжает играть одна. Я до сих пор не знаю, полагалось ли так по нотам, или это был сознательный вызов. Насколько я помню, скрипачка даже не подняла головы, не взглянула в искаженное злобой лицо. Ее большая белая голова — совсем как у него, только явно больше перенесшая в жизни — чуть дрожит. Но, может быть, она весь вечер так дрожала.

Вот он вернулся с полной тарелкой фасоли в томате. Должно быть, открыл банку и вывалил содержимое холодным на тарелку. Пальто он так и не снял. И, все так же ни на кого не глядя, но оглушительно лязгая вилкой, ест, словно умирает от голоду и словно он один в комнате. Можно подумать, что на ежегодном собрании с ужином вообще не кормили.

Я никогда не видела, чтобы он так ел. Обычно за едой он держится повелительно, но манеры у него безупречны.

Музыка, что играет его сестра, умолкает — видимо, ровно тогда, когда положено по нотам. Фасоль в томате чуточку отстает. Соседи уже сбежали в переднюю, замотались в зимнюю одежду и напоследок просовывают головы в дверь, чтобы рассыпаться в благодарностях — обуреваемые

отчаянным желанием убраться отсюда.

Теперь уходят и музыканты, но не так спешно. Ведь инструменты нужно тщательно упаковать: нельзя как попало распихать их по футлярам. Музыканты выполняют эту задачу не торопясь — видимо, с обычной для них скоростью, — а затем тоже исчезают. Я не помню, говорились ли при этом какие-то слова и овладела ли собой тетя Дон настолько, чтобы поблагодарить гостей и проводить их до двери. Я не могу за этим следить, потому что дядя Джаспер вдруг начинает разговаривать, притом очень громко, и обращается он ко мне. Мне смутно помнится, что вроде бы, когда он заговорил, скрипачка бросила на него один взгляд. Но дядя полностью игнорирует его, а может, просто не замечает. Взгляд не гневный, как можно было ожидать, и даже не удивленный. Это взгляд очень усталой женщины с очень бледным лицом — немыслимо бледным.

— Вот скажи-ка мне, — говорит дядя так, словно, кроме нас с ним, тут больше никого нет, — скажи мне, твои родители тоже этим увлекаются? Такого рода музыкой? Концертами и прочим? Платят деньги за то, чтобы пару часов просиживать штаны, слушая звуки, которых они через полдня даже не узнают? Платят за то, чтобы показать-

ся не теми, кто они есть на самом деле? Ну-ка, скажи мне!

Я сказала, что нет, и не соврала. Мои родители в принципе ничего не имели против концертов, но на моей памяти ни разу не бывали ни на одном.

— Видишь? Потому что у них ума хватает. Хватает ума держаться подальше от толпы, которая вопит и хлопает, как будто ей показали восьмое чудо света. Ты знаешь, про каких людей я говорю? Про лгунов. Которые кривляются и строят из себя невесть что. Корчат из себя высшее общество. Нет, не так — идут на поводу у своих жен, которым охота корчить из себя высшее общество. Когда вырастешь, помни об этом. Хорошо?

Я согласилась об этом помнить. Меня не особенно удивили его слова. Тогда многие так думали. Особенно мужчины. Были вещи, которые мужчины терпеть не могли. Или «не видели в них смысла», как тогда говорилось. Вероятно, мужчины относились к этим вещам так же, как я к алгебре, — я очень сомневалась, что когда-нибудь пойму, какой в ней смысл.

Правда, я не требовала на этом основании, чтобы алгебру стерли с лица земли.

Утром, когда я спустилась из спальни, дядя Джаспер уже ушел. Бернис на кухне мыла посуду,

а тетя Дон ставила бокалы в сервант. Она улыбнулась мне, но руки у нее чуть дрожали, и бокалы предостерегающе звякали.

— Дом мужчины — его крепость, — сказала она.

— Крепость, форт, — сказала я. — Игра слов.

Тетя снова улыбнулась, но, кажется, даже не слышала, о чем я говорю.

— Когда будешь писать матери в Гану… когда будешь писать… наверно, лучше не упоминать о… то есть, я хотела сказать, я не знаю, стоит ли тебе упоминать о том маленьком инциденте, который вышел у нас вчера вечером. Когда она там видит столько настоящих бедствий, и голода, и все такое… мне кажется, с нашей стороны было бы очень эгоистично писать ей о таких тривиальных мелочах.

Я поняла. И даже не стала говорить, что, насколько мне известно, в Гане голодающих нет.

И вообще, мои письма к родителям были полны ехидных описаний и жалоб только в первый месяц. Потом все стало слишком сложно и невозможно объяснить.

После разговора про музыку дядя Джаспер начал относиться ко мне чуточку уважительней. Он выслушивал мои взгляды по поводу общедоступ-

ного здравоохранения так, словно я высказывала собственные мысли, а не просто повторяла за родителями. Один раз дядя сказал даже, что очень приятно за едой поговорить с думающим человеком. Тетя с ним согласилась. Она согласилась лишь в угоду дяде, и, когда тот рассмеялся особенным смехом, покраснела как свекла. Ей приходилось нелегко, но в конце концов дядя ее простил и на День святого Валентина подарил ей подвеску из гелиотропа. Получив подарок, тетя заулыбалась и тут же отвернулась, чтобы смахнуть слезу облегчения.

Может быть, восковая бледность Моны и резкая угловатость ее тела, лишь слегка сглаженная серебристым платьем, были признаками болезни. О ее смерти той же весной сообщила местная газета, упомянув также про концерт в ратуше и перепечатав некролог из торонтовской газеты с кратким описанием музыкальной карьеры — не блестящей, но весьма достойной. Дядя Джаспер выразил удивление — не смертью сестры, но тем, что ее должны были похоронить не в Торонто. Мону должны были проводить в последний путь из церкви Осанны, расположенной в нескольких милях к северу от нашего городка, в сельской местности. Когда дядя Джаспер и Мона-Мод были

маленькими, это была их семейная церковь. Англиканская. Сейчас дядя Джаспер и тетя Дон ходили в Объединенную церковь, как большинство зажиточных семей города. Прихожане Объединенной церкви были тверды в вере, но не считали, что обязательно являться в церковь каждое воскресенье. Они также не думали, что Господь гневается, если люди иногда выпьют рюмочку-две. (Бернис, горничная, ходила в другую церковь, где играла на органе. Ее собратья по вере были немногочисленны и со странностями. Они подбрасывали на пороги домов городка листовки со списками людей, которым суждено гореть в аду. Не местных жителей, а знаменитостей вроде Пьера Трюдо.)

— В той церкви даже службы больше не служат! — возмущался дядя. — Какой смысл везти ее туда? Я думаю, им и не разрешат этого.

Но оказалось, что церковь еще открыта. Те, кто когда-то в юности посещал ее, теперь заказывали в ней отпевание, а иногда дети старых прихожан там венчались. Внутри церковь выглядела ухоженной — кто-то завещал на это деньги — и была оборудована вполне современной системой отопления.

Мы с тетей Дон поехали туда на ее машине. Дя-

дя Джаспер был занят и мог освободиться только в последнюю минуту.

Я никогда не бывала на похоронах. Мои родители не считали, что такой жизненный опыт необходим ребенку, несмотря на то что в их кругу, насколько я помню, похороны назывались «праздником жизни».

Вопреки моим ожиданиям тетя оделась не в черное. Она была в костюме мягкого сиреневого цвета, мерлушковом жакете и такой же мерлушковой шляпке-таблетке. Тетя выглядела очень хорошенькой и явно была в прекрасном настроении, хотя и пыталась это скрывать.

Смерть Моны вырвала жало из плоти. У дяди Джаспера в плоти сидело ядовитое жало, а эта смерть его вырвала, и, конечно, тетя не могла не радоваться.

С тех пор как я поселилась у тети и дяди, мои взгляды на жизнь частично изменились. Я уже не могла некритично относиться к людям вроде Моны. И к самой Моне, к ее музыке и к ее карьере. Я не считала ее уродом или чудовищем, но могла понять, почему некоторые другие люди так считают. Дело было не только в широкой кости и крупном носе, в скрипке и чуть смешной позе скрипача — дело было в самой музыке и в том,

как Мона была ей предана. Если ты женщина, преданность чему угодно может сделать тебя смешной.

Я не хочу сказать, что дядя Джаспер полностью перетянул меня на свою сторону, просто его взгляды уже не казались мне такими дикими и чуждыми, как раньше. Ранним утром в воскресенье — прокрадываясь мимо закрытой двери тетиной и дядиной спальни, чтобы стянуть на кухне скон с корицей из тех, что тетя испекла накануне, — я слышала звуки, каких никогда не издавали мои родители или кто-либо еще из знакомых мне людей: рык и взвизги наслаждения. Двое сливались в самозабвенном пособничестве. Меня это тревожило, открывая темные бездны и подрывая мою уверенность.

— Вряд ли из Торонто много народу сюда поедет, — сказала тетя. — Гибсоны тоже не попадают. У него важная встреча, а ей не удалось отменить уроки.

Она говорила о тех самых соседях. Они продолжали приятельствовать, но дружба слегка остыла и уже не подразумевала хождения друг к другу в гости.

Девочка в школе предупредила меня: «Вот погоди, они тебя потащат на Последнее Прощание.

Меня заставили смотреть на бабушку, и я упала в обморок».

Я не знала, что такое Последнее Прощание, но догадалась. Я решила, что зажмурюсь и буду смотреть через щелочки между веками и притворяться.

— Только бы в церкви не пахло плесенью, — продолжала тетя Дон. — У твоего дяди очень чувствительные носовые пазухи.

Плесенью в церкви не пахло. И каменные стены и пол не сочились мрачной сыростью. Наверно, кто-то пришел с утра пораньше, чтобы включить отопление.

На скамьях почти не оставалось места.

— Много пациентов твоего дяди собралось, — тихо заметила тетя Дон. — Как мило с их стороны! В городе есть и другие доктора, но к другому столько людей не пришло бы.

Орган играл хорошо известный мне гимн. Моя ванкуверская подруга когда-то исполняла его на пасхальном концерте. «Иисус, мое желанье».

За органом сидела та самая пианистка, чье выступление в нашем доме так внезапно оборвалось. Рядом с ней был и виолончелист, на местах для хора. Наверно, потом он тоже сыграет.

Мы посидели и послушали, и тут в задней части

церкви раздался сдержанный шум. Я не стала поворачиваться и смотреть — я только что заметила темный длинный полированный ящик, который стоял поперек церкви, сразу у алтаря. Гроб. Он был закрыт. Если его не собираются открывать, я могу не бояться Последнего Прощания. Но все равно я представила себе Мону в ящике. Большой костлявый нос торчит кверху, лицо осунулось, глаза навечно закрыты. Я приклеила этот образ на видное место у себя в голове и держала, пока не убедилась, что меня от него не тошнит.

Тетя Дон тоже не стала оборачиваться, чтобы посмотреть, что там такое.

Источник шума приближался к нам по проходу, и оказалось, что это дядя Джаспер. Он не остановился у скамьи, где мы с тетей Дон заняли ему место. Прошел мимо — без неподобающей спешки, но деловито. С ним шел кто-то еще.

Горничная, Бернис. Вся разодетая. На ней был темно-синий костюм и такого же цвета шляпа, украшенная гнездышком из цветов. Бернис не смотрела ни на нас, ни на кого другого. Лицо ее было багровым, губы плотно сжаты.

Тетя Дон тоже ни на кого не смотрела. Именно в эту секунду она достала из кармашка на спинке скамьи перед собой сборник гимнов и принялась

его внимательно листать.

Дядя Джаспер не остановился и у гроба: он подвел Бернис к органу. Музыка сбилась в один удар, странный изумленный комок. Потом гул… пустота… тишина, если не считать шебуршания, — это люди на скамьях тянули шеи, пытаясь разглядеть, что происходит.

Пианистка, что сидела за органом, и виолончелист исчезли. Должно быть, где-то у алтаря была боковая дверь и они вышли через нее. Дядя Джаспер усадил Бернис на место пианистки.

Когда Бернис начала играть, дядя вышел вперед и сделал знак собравшимся. Его жест означал: «Вставайте и пойте». Кое-кто повиновался. Потом поющих стало больше. Потом запели все.

Они шелестели страницами сборника гимнов, но очень многие начали петь и не глядя в книгу: «Вечный незыблемый крест».

Дядя Джаспер сделал свое дело. Теперь он мог вернуться к нам и сесть на место, которое мы для него заняли.

Но тут обнаружилась одна загвоздка. Такая, которой дядя не ожидал.

Это — англиканская церковь. В Объединенной церкви, к которой привык дядя Джаспер, хор входит через дверь, расположенную за кафедрой

проповедника, рассаживается по скамьям и глядит на паству, излучая утешительное ощущение единства. Затем появляется священник — и это сигнал, что можно начинать. Но в англиканской церкви хор входит через центральную дверь и с пением шествует по проходу торжественным безликим сонмом. Хористы подъемлют взоры от нот лишь для того, чтобы возвести их к алтарю, и словно отчасти преображаются, отрешившись от житейских попечений, и не замечают своих родственников, соседей и прочих ближних среди собравшихся прихожан.

Вот хор идет от двери к алтарю, распевая «Вечный незыблемый крест», как и вся остальная паства, — должно быть, дядя Джаспер договорился заранее. Может быть, он сказал хористам, что это любимый гимн покойной.

Проблему создает взаимное расположение тел в пространстве. Поскольку хор уже занял весь проход церкви, дядя Джаспер никак не может вернуться к нам на скамью. Он застрял.

У дяди только один выход, и то если действовать быстро, и он действует. Хор еще не достиг самой передней скамьи, так что дядя проталкивается туда. Уже стоящие там люди несколько удивлены, но теснятся, чтобы дать ему место.

Сколько могут. Как на грех, все они довольно плотного сложения, да и дядя — мужчина ширококостный, хотя и поджарый.

Ближе я подойду ко кресту —
Там покой для усталых сердец —
И душою прильну ко Христу,
Чрез Него обрету я венец.

Эти слова поет и дядя — с жаром, несколько ограниченным теснотой отведенного ему пространства. Дядя не может повернуться к алтарю и вынужден стоять лицом в проход, глядя на профили марширующего хора. Он выглядит как человек, загнанный в ловушку, и ничего не может поделать. Даже когда пение заканчивается, дядя никуда не идет, а садится тут же, с трудом втискиваясь на место. Возможно, он боится, что если сейчас встанет и пойдет к нам, то испортит всю торжественность минуты.

Тетя Дон не пела вместе со всеми — она не успела найти нужное место в сборнике гимнов. А просто подпевать, как это делала я, она, похоже, не умеет.

А может, она уловила тень разочарования на лице дяди Джаспера еще раньше, чем он осознал это разочарование сам.

А может, она поняла, что ей — впервые в жизни — все равно. Все равно, хоть убей.

— Помолимся, — возглашает священник.

Гордыня

У некоторых все в жизни идет наперекосяк. Как бы это получше объяснить? Понимаете, есть люди, против которых всё — на них сваливаются все тридцать три несчастья, и все равно они как-то выкарабкиваются. Они с детства совершают ошибки — например, им случается накакать в штаны во втором классе, — а потом они всю жизнь живут в городке вроде нашего, где никто ничего не забывает (в любом городке, я хочу сказать, таков любой маленький город), и все равно как-то справляются, вырастают открытыми и добродушными людьми и клянутся, что ни за какие коврижки не променяли бы наш городок на другое место жительства, и при этом не врут.

А бывают люди, с которыми все по-другому. Они тоже никуда не уезжают, но уж лучше бы уехали. Для их же блага, можно сказать. Они начинают копать себе яму еще в юности — совершенно неочевидную, в отличие от обкаканных штанишек, — и всю жизнь упорно ее углубляют, даже специально привлекают к ней внимание, если вдруг решат, что яма недостаточно заметна.

Конечно, многое в нашей жизни переменилось.

Теперь всюду навалом психологов. Доброта и понимание. Нам говорят, что некоторым людям жизнь дается тяжелее. Это не их вина — даже если сыплющиеся на них удары существуют только в их воображении. Удары в любом случае болезненны для человека, который их получает (или, в данном случае, не получает).

Но при желании все можно обратить во благо.

Вообще, Онеида не ходила в школу с нами всеми. То есть, я хочу сказать, в школе не могло случиться ничего такого, чтобы повлиять на всю ее дальнейшую жизнь. Она ходила в школу для девочек. Частную — я забыл, как она называлась, а может, и никогда не знал. Даже летом Онеида мало общалась с нами. Кажется, у ее семьи был летний дом на озере Симко. Они были богатые, очень богатые, так что даже зажиточные горожане были им не ровня.

Онеида — необычное имя, и тогда было необычным, и не прижилось. Потом я узнал, что оно индейское. Наверняка это ее мать придумала. Мать умерла, когда она, Онеида, была подростком. Отец вроде бы звал ее Идой.

У меня когда-то были все бумаги, кучи документов, я собрал их, когда работал над историей города. Но даже в них содержались не все ответы.

Я так и не нашел убедительного объяснения, куда исчезли деньги. Впрочем, тут бумаги были не нужны. Тогда все можно было узнать из городских сплетен. Но почему-то никто не думает, что время умеет заткнуть рот любым сплетникам.

Отец Иды управлял банком. Даже в те дни банкиров все время переводили с места на место — наверно, для того, чтобы у них не завязывалась чересчур тесная дружба с клиентами. Но в нашем городке Янцены слишком привыкли добиваться всего, чего хотели, и законы им были не писаны. Во всяком случае, так казалось. Хорас Янцен определенно выглядел как человек, рожденный повелевать. У него была окладистая белая борода (хотя, судя по фотографиям, бороды вышли из моды уже к началу Первой мировой), внушительный рост, внушительный живот и лицо громовержца.

Даже в трудные тридцатые годы у людей по-прежнему рождались всякие замыслы. Бродяги, путешествующие по железной дороге, находили приют в специально открытых для них тюрьмах, но можете не сомневаться, даже кое-кто из этих бродяг вынашивал планы, сулившие миллион долларов.

В те дни миллион долларов еще был миллио-

ном долларов.

Впрочем, в банк к Хорасу Янцену на переговоры пришел отнюдь не бродяга. Мы не знаем, был ли это один человек или целая группа. Незнакомец или приятель приятеля. Но не сомневайтесь, он был хорошо одет и внушал доверие. Хорас судил о людях по внешности и был неглуп, хотя, возможно, и недостаточно проницателен, чтобы почуять неладное.

Идея заключалась в том, чтобы возродить паровой автомобиль, какие выпускались в начале века. Может быть, у Хораса Янцена тоже когда-то был такой и эта идея пробудила у него ностальгические воспоминания. Конечно, подразумевалось, что новая конструкция будет совершеннее старой, экономичнее и бесшумнее.

Я не знаю всех подробностей — я тогда еще учился в школе. Но я могу себе представить, как утекла информация и пошли слухи, и как одни насмехались, а другие загорались энтузиазмом, и как приходили новости о предпринимателях откуда-нибудь из Торонто, Виндзора или Китченера, готовых открыть местное отделение. Одни называли инициаторов затеи горячими головами, другие спрашивали, есть ли у них финансовая поддержка.

У них действительно была финансовая поддержка — банк согласился выдать им заем. Это было личное решение Янцена, поэтому доподлинно не знали, что за деньги вложил он в дело — свои личные или какие-то другие. Может быть, и свои, но потом выяснилось, что он занял денег в банке, хотя не имел на это права, — наверняка думал, что вернет вовремя и никто не узнает. А может, тогда законы были не такие строгие. Предприниматели наняли людей и вычистили старую конюшню, чтобы разместить там производство. Что было дальше, я помню не очень хорошо, поскольку в это время как раз окончил школу и должен был решить, чем буду зарабатывать на жизнь. Мое увечье — хотя губу мне зашили — исключало профессии, требующие долгих разговоров, так что я решил стать бухгалтером, и поэтому мне пришлось на время уехать из нашего городка и поступить стажером в компанию в Годриче. Когда я вернулся, о паровом автомобиле отзывались с презрением те, кто с самого начала был против проекта, и умалчивали те, кто когда-то был за. Приезжие инициаторы проекта покинули город. Банк потерял кучу денег.

О мошенничестве речи не было, только о

неосмотрительности. Кого-то должны были наказать. Обычного менеджера просто выкинули бы с позором на улицу, но с Хорасом Янценом этого делать не стали. То, что с ним сделали, было едва ли не хуже увольнения. Его перевели управляющим в отделение банка в деревушке под названием Хоксбург — милях в шести от нас по шоссе. Раньше там не было управляющего, потому что он был не нужен. Всех служащих в отделении было — главный кассир и второй кассир, обе женщины.

Конечно, он мог отказаться, но — из гордости, как все думали, — не стал. Из гордости он предпочел, чтобы его каждое утро отвозили за шесть миль, и там сидел за наскоро воздвигнутой, частично закрывающей его перегородкой из дешевой фанеры — даже не в нормальном кабинете. Он сидел там целый день и ничего не делал — ждал, пока за ним не приедут и не отвезут домой.

Возила его дочь. За годы перевозок она в какой-то момент превратилась из Иды в Онеиду. Наконец-то ей было чем заняться. Хозяйство она, впрочем, не вела, так как они не могли уволить миссис Бёрч. Такова была одна из возможных формулировок. Можно было также сказать, что

они платили миссис Бёрч сущие гроши, так что, если бы они ее уволили, она бы прямиком отправилась в богадельню.

Когда я представляю себе Онеиду с отцом на пути в Хоксбург и обратно, мне видится, что отец сидит на заднем сиденье, а она впереди, как наемный шофер. Может быть, он просто был слишком крупный и не влез бы рядом с ней на переднее сиденье. А может, у него борода не помещалась. Я не замечал, чтобы Онеида выглядела особенно несчастной или угнетенной из-за этого расклада. Ее отец тоже не выглядел несчастным. Он излучал достоинство. А Онеида излучала что-то другое. Когда она заходила в магазин или просто шла по улице, вокруг нее возникало небольшое пространство, готовое принять ее заказ или ответить на приветствие. Она сама как будто чуть смущалась, но держалась грациозно, всегда готовая слегка посмеяться над собой или над ситуацией. Конечно, у нее был хороший костяк и яркая внешность, светлые, сияющие волосы и кожа. Поэтому вам покажется очень странным, что я мог ее жалеть — за это скольжение по поверхности, за доверчивость.

Только представьте себе: чтобы *я* кого-то жалел.

Началась война, и жизнь переменилась — словно за одну ночь. Бродяги больше не крутились вокруг железной дороги. Открылось множество рабочих мест, и молодые люди уже не слонялись в поисках работы и не голосовали на шоссе, а расхаживали в тускло-синей или защитной зеленой военной форме. Мать сказала — мне повезло, что я такой. Я решил, что она права, но запретил ей повторять это вне дома. Я уже вернулся из Годрича, моя учеба закончилась, и я сразу устроился на работу счетоводом в универсальный магазин Кребса. Можно было сказать — и наверняка говорили, — что меня туда взяли из-за матери: она работала там же в бакалейном отделе. Но повлияло еще и совпадение: как раз в это время Кенни Кребс, молодой управляющий, завербовался в военно-воздушный флот и погиб во время учебного вылета.

Такое стало обычным делом, и все же в атмосфере ощущалась некая энергия, и у людей завелись деньги. Я чувствовал себя отрезанным от своих ровесников-мужчин, но для меня это было привычно. Впрочем, были и другие молодые люди в том же положении. Сыновей фермеров не призывали в армию — они должны были растить хлеб и скот. Некоторые молодые парни согласились

на бронь, даже несмотря на то, что на ферме был батрак. Я знал, что меня никто не спросит, почему я не на фронте, — разве что в шутку. Если кто-то спрашивал, у меня был наготове ответ: «Я должен вести счета». У Кребса, а вскоре и у других. Я занимался цифрами. Тогда еще мало кто думал, что на это способны и женщины. Даже к концу войны, когда женщины уже давно выполняли и эту работу. По-прежнему считалось: хочешь, чтобы работа была сделана хорошо, — нанимай мужчину.

Иногда я задаю себе вопрос: почему заячью губу, зашитую вполне нормально, хотя и заметно, и речь — странновато звучащую, но вполне понятную — сочли достаточной причиной, чтобы меня не призывать? Я ведь наверняка получил повестку и ходил на врачебный осмотр, и там меня признали негодным к строевой службе. Но я этого не помню, хоть убей. Может, я так привык к тому, что меня считают негодным в том или ином отношении, что и этот отказ воспринял как должное?

Порой я запрещал матери обсуждать ту или иную тему, но вообще не особо прислушивался к ее словам. Она вечно выискивала во всем положительные стороны. Я кое-что знал о ней — не

от нее. Я знал, что из-за меня она боялась рожать еще детей, и когда сказала об этом мужчине, который за ней ухаживал, он ее бросил. Но мне не приходило в голову жалеть ее или себя. Я не страдал из-за отсутствия отца, умершего еще до моего рождения, или девушки, завести которую мне не давала внешность, или недосягаемости мимолетного триумфа — возможности гордо прошествовать по улицам города, уходя на войну.

Мы с матерью ели на ужин свои любимые блюда и слушали по радио то, что хотели. Перед сном это всегда были зарубежные новости Би-би-си. Когда выступали король или Черчилль, у матери всегда начинали блестеть глаза. Я сводил ее в кино на «Миссис Минивер», и этот фильм тоже очень сильно на нее подействовал. Драмы — вымышленные и настоящие — наполняли нашу жизнь. Эвакуация из Дюнкерка, мужество королевской семьи, ночные бомбежки Лондона и Биг-Бен, который упорно звонил, возвещая мрачные новости. Военные корабли, пропавшие в море, а потом — гораздо страшнее — гражданское судно, паром, затонувший между Канадой и Ньюфаундлендом, так пугающе близко к нашим собственным берегам.

В ту ночь я не мог уснуть и пошел пройтись по

улицам. Мне нужно было подумать об утонувших. Старухи и почти старухи вроде моей матери, не выпускающие из рук вязанья. Какой-нибудь мальчишка, измученный зубной болью. Другие люди, которые провели последние полчаса своей жизни — перед тем, как судно затонуло, — жалуясь на морскую болезнь. Меня переполняло очень странное чувство, отчасти ужас, а отчасти… наверно, точнее всего будет описать это как своего рода леденящий восторг. Как будто взрывами смело прежнюю жизнь и наступило равенство — я не могу не сказать об этом, — равенство между такими, как я, и людьми еще хуже меня, с одной стороны, и такими, как они, с другой.

Конечно, это чувство исчезло, когда я ко многому привык, — в последующие годы войны. Голые ягодицы здоровых молодых людей и худые ягодицы стариков, загоняемых в газовые камеры.

А может, и не исчезло, но я научился его гасить.

Наверняка я за годы войны сталкивался с Онеидой и как-то следил за ее жизнью. Ее отец умер прямо перед Днем Победы, и его скорбные похороны как-то неловко смешались с торжествами. Моя мать тоже умерла — следующим летом, как раз тогда, когда стало известно про атомную

бомбу. Но смерть матери была более внезапной и публичной — она умерла прямо на работе, сказав только: «Мне надо присесть на минуточку».

В последние годы жизни отца Онеиды его мало кто видел и мало кто о нем слышал. Нелепая работа в Хоксбурге закончилась, но Онеида, кажется, была занята еще сильнее. А может, тогда просто в воздухе висело ощущение, что все подряд ужасно заняты — вынуждены вести учет своим продуктовым карточкам, слать письма на фронт и пересказывать письма, полученные в ответ.

К тому же на Онеиде остался большой дом, который ей теперь приходилось вести в одиночку.

Однажды она остановила меня на улице и сказала, что хочет попросить совета насчет продажи. Продажи дома. Я сказал, что об этом на самом деле не со мной надо говорить. Она сказала, что, может, и так, но меня она знает. Конечно, она знала меня не лучше, чем любого другого жителя города, но все равно настояла на своем и пришла ко мне домой для разговора. Она похвалила, как я перекрасил дом и переставил мебель, и заметила, что все эти перемены, должно быть, отчасти спасают меня от тоски по матери.

Это было правдой, но мало кто способен сказать такое вслух.

Я не привык принимать у себя гостей, поэтому ничем не угостил ее, только дал советы и предостерег от ошибок и все время напоминал ей, что я не специалист.

Потом она взяла и сделала все наоборот. Согласилась на первую же предложенную цену, в основном потому, что покупатель без конца распространялся, как влюбился в этот старый дом с первого взгляда и будет счастлив растить в нем детей. Дети там или не дети, но лично я доверился бы кому угодно из жителей города, только не ему. И за дом он предложил гроши. Я не мог не сказать об этом Онеиде. Я сказал, что дети разнесут дом по камешку, а она ответила, что дети для того и существуют. Они должны шуметь и грохотать — прямая противоположность ее собственному детству. Но, по правде сказать, в доме не успели пошуметь никакие дети, потому что покупатель немедленно снес его и построил четырехэтажный доходный дом, с лифтом, а участок превратил в автомобильную стоянку. Это был первый многоквартирный доходный дом в нашем городке. Когда начался снос, Онеида в ужасе прибежала ко мне с вопросом, нельзя ли что-нибудь сделать — например, объявить старый дом архитектурным памятником, или по-

дать в суд на покупателя за нарушение обещаний (которые он давал исключительно устно), или еще что-нибудь. Ее изумляло, что человек может такое сделать. Человек, который регулярно ходит в церковь.

— Я бы сама ни за что так не поступила, а ведь я только и хожу что на Рождество.

Потом она покачала головой и рассмеялась.

— Какая я дура, — сказала она. — Почему я тебя не послушала?

В это время она снимала половину вполне приличного дома, но жаловалась, что не видит в окно ничего, кроме дома напротив.

Как будто большинство людей видит что-то другое, хотел было сказать я, но не сказал.

И как вы думаете, что она сделала, когда многоэтажный дом достроили? Взяла да и сняла в нем квартиру, на самом верхнем этаже. Я точно знаю, что ей не дали скидку с квартплаты, да она и не попросила об этом. Она уже не сердилась на владельца и горячо хвалила вид из окна и прачечную в подвале — там она стирала белье, опуская монетки в машины.

— Я учусь экономить, — сказала она. — Вместо того, чтобы гонять стиральную машину ради одной вещи, как только в голову взбредет.

Про обманувшего ее дельца она говорила:

— В конце концов, благодаря таким людям движется мир.

Она приглашала меня прийти к ней и полюбоваться видом, но я каждый раз под каким-нибудь предлогом отказывался.

С этого времени мы стали часто видеться. Поначалу она заходила ко мне излить свои горести, связанные с домом, или обсудить очередное решение, а потом так и продолжала заходить, даже когда решила свой квартирный вопрос. Я купил телевизор — у нее телевизора не было: по ее словам, она боялась, что болезненно пристрастится к нему.

Мне такая перспектива не грозила, поскольку я мало бывал дома. И вообще в те годы показывали много хороших передач. Вкусы Онеиды в основном совпадали с моими. Мы оба любили государственные телеканалы, и особенно — английские комедии. Некоторые комедии мы смотрели снова и снова. Мы ценили и комизм положений, а не только шутки. Сперва меня смущала откровенность британского юмора, местами даже непристойного, но Онеида наслаждалась им так же, как и всем прочим. Когда сериал кончался и его начинали показывать

опять, с самого начала, мы утрированно стонали, но начинали смотреть снова и втягивались. Мы даже замечали, как постепенно выцветает пленка. Сейчас я иногда натыкаюсь на эти сериалы — они подцвечены заново и выглядят как новенькие, но я каждый раз переключаюсь на другой канал: мне это кажется ужасно грустным.

Я еще в юности научился прилично готовить, а поскольку иногда самые интересные передачи показывали после ужина, я готовил на двоих, а она приносила десерт из кондитерской. Я купил пару таких специальных складных столов, и мы ели перед телевизором, смотря сначала новости, а потом уже и долгожданную передачу. Когда была жива моя мать, она всегда настаивала, что есть следует только за столом — иное немыслимо для респектабельной семьи. Но у Онеиды, кажется, не было никаких комплексов по этому поводу.

Уходила она иногда уже в одиннадцатом часу. Она вполне готова была идти пешком, но я этого не одобрял и потому отвозил ее на машине. Онеида продала машину, на которой когда-то возила отца, а новую так и не купила. Она по всему городу ходила пешком, и люди это видели и смеялись над ней, но ей было все равно. Это было еще до того, как подвижный образ жизни и

ходьба вошли в моду.

Мы с ней никогда не выходили в свет вместе. Иногда она пропускала наши встречи, потому что уезжала куда-нибудь или, наоборот, принимала у себя каких-нибудь приезжих друзей. Меня она с ними не знакомила.

Погодите. Это звучит так, как будто мною пренебрегали. Ничего подобного. Встреча с любым новым человеком была для меня мучением, и Онеида наверняка это понимала. А оттого что мы привыкли есть вместе, проводя вечера перед телевизором вдвоем, нам было так легко и просто друг с другом, что казалось, между нами нет места сложностям. О наших встречах наверняка знали многие, но, поскольку речь шла обо мне, никто не обращал внимания. Все знали, что я и налоговую декларацию за нее заполняю, но почему бы и нет? Я умел это делать, а от Онеиды такого умения никто не ожидал.

Чего наверняка никто не знал, так это того, что она мне не платит. Я бы попросил чисто символические деньги, просто для порядка, но эта тема ни разу не всплыла в разговоре. Онеида вовсе не была скупой. Просто ей это в голову не пришло.

Когда мне приходилось называть ее по имени, порой у меня вырывалось «Ида». Если я звал ее

так в лицо, она принималась меня поддразнивать. Говорила, что я при малейшей возможности называю людей их старыми школьными прозвищами. Сам я этого за собой не замечал.

— Никто не возражает, — говорила она. — Ведь это ты.

Вот эти ее слова меня слегка обижали, хотя я и старался не подавать виду. Какое право она имеет утверждать, что чувствуют люди из-за того, что я делаю или не делаю? Это был намек, что я цепляюсь за свое детство, хочу остаться в нем, и еще хочу, чтобы все прочие тоже остались в нем вместе со мной.

Сказать так значило бы чрезмерно упростить дело. В моем представлении я провел школьные годы, привыкая к своему лицу и к тому, как из-за него относятся ко мне другие. Надо полагать, для меня было своего рода победой — привыкнуть ко всему этому, доказать, что я могу выжить в городке, зарабатывать себе на жизнь и не быть вынужденным постоянно приучать к себе все новых и новых людей. Но вот отправиться вместе со всеми обратно в четвертый класс — нет уж, спасибо.

И кто такая Онеида, чтобы выносить подобные суждения? Мне казалось, что ее жизнь до сих

пор не вошла в колею. И вообще, теперь, когда ее родового гнезда не стало, часть ее как будто ушла вместе с ним. Наш городок менялся, и место Онеиды в нем — тоже, но она это вряд ли осознавала. Конечно, перемены были всегда, но до войны они были вызваны в основном тем, что люди уезжали в поисках лучшей жизни. В пятидесятых, шестидесятых и семидесятых перемены были связаны с приездом в город новых людей. Онеида должна была бы это заметить, когда перебралась в многоквартирный дом. Но как-то не заметила. В ней по-прежнему была эта странная неуверенность, легкость, словно она до сих пор ждала, что ее жизнь вот-вот начнется.

Она, конечно, ездила в путешествия, и, может быть, ожидала, что ее жизнь начнется там. Но не дождалась.

За эти годы сначала построили большой торговый центр на южной окраине города, потом закрылся универмаг Кребса (меня это не затронуло — у меня и без Кребса хватало работы), и все больше и больше людей ездили отдыхать зимой, а это означало путешествие в Мексику, Вест-Индию или в другие подобные места, о которых мы раньше не слыхали. Я считаю, что именно из этих поездок люди стали привозить болезни, о

которых мы тоже раньше не слыхали. И это продолжалось много лет. В каждом году была своя «болезнь года», с каким-нибудь особенным названием. Возможно, это продолжается до сих пор, просто никто не замечает. А может, только люди моих лет перестали такое замечать. Мы почти уверены, что нам не грозит смерть от чего-нибудь экзотического, потому что, если бы грозила, мы бы уже давно умерли.

Как-то вечером, когда передача уже кончилась, я встал, чтобы заварить свежего чая Онеиде на дорожку и себе. Я пошел на кухню, и вдруг мне стало очень плохо. Я зашатался и опустился на колени, а потом растянулся на полу. Онеида схватила меня и перетащила в кресло, и мало-помалу припадок прошел. Я сказал ей, что у меня бывают такие приступы и чтобы она не беспокоилась. Это была ложь, и я сам не знаю, зачем соврал, но Онеида мне все равно не поверила. Она доволокла меня до моей спальни, расположенной на первом этаже, и стащила с меня ботинки. Потом мы общими усилиями — под мои протесты — раздели меня и облачили в пижаму. Я все помню только обрывочно. Я велел Онеиде взять такси и ехать домой, но она не послушалась.

В ту ночь она спала на диване в гостиной, а

назавтра обследовала дом и устроилась в спальне моей матери. Наверно, днем она зашла к себе домой за нужными вещами и еще, может быть, в торговый центр — докупить продуктов, каких у меня не хватало. Еще она поговорила с врачом и взяла в аптеке лекарство по рецепту; когда она подносила дозу к моим губам, я послушно глотал.

Почти неделю я то приходил в себя, то снова отключался, мне было плохо, и я температурил. Время от времени я говорил Онеиде, что мне уже гораздо лучше и я теперь справлюсь сам, но это была чепуха. По большей части я только слушался ее и привык полагаться на нее — без стеснения, как больной полагается на медсестру в больнице. У Онеиды не было медсестринской сноровки в обращении с измученным высокой температурой телом, и иногда, если мне хватало сил, я жаловался на это, как шестилетний ребенок. Она извинялась и не обижалась на меня. В промежутках между утверждениями, что мне лучше и Онеиде нужно возвращаться домой, я эгоистично окликал ее — просто так, чтобы убедиться, что она рядом.

Когда мне в самом деле стало лучше, я забеспокоился, что она заразится от меня.

— Ты бы маску надела.

— Не беспокойся, — ответила она. — Если бы я могла заразиться, то давно уже заразилась бы.

Когда я в самом деле начал поправляться, мне было лень признавать, что по временам я и впрямь чувствовал себя шестилетним ребенком.

Но, конечно, Онеида не была мне матерью, и рано или поздно этот факт должен был до меня дойти. Я не мог не думать обо всем, что она делала, пока ухаживала за мной, и мне стало чудовищно неловко. Любому было бы неловко на моем месте, но мне — особенно, потому что я вспомнил, как выгляжу. Я успел об этом более или менее забыть, а теперь мне казалось, что Онеида только из-за моей внешности смогла отбросить стыдливость и ухаживать за мной: я для нее был бесполым существом или ребенком-калекой.

Теперь я держался с ней очень вежливо, рассыпаясь в благодарностях, пронизанных — очень искренним к этому времени — желанием, чтобы она ушла домой.

Она поняла и не обиделась. Она, должно быть, ужасно устала от невозможности выспаться и от непривычного труда — ухода за больным. Она в последний раз закупила для меня продукты, в последний раз померила мне температуру и

ушла — как мне показалось, с довольным видом человека, доведшего до конца добросовестно выполненную работу. Перед уходом она подождала в гостиной, чтобы убедиться, что я смогу одеться самостоятельно, и удовлетворилась результатом. Не успела она выйти, как я достал свои бумаги и принялся за работу, продолжая с места, на котором остановился перед болезнью.

Я соображал медленней обычного, но ошибок не делал, и это меня порадовало.

Онеида оставила меня в покое до того дня — точнее, вечера, — когда мы должны были, по обыкновению, смотреть телевизор. Она принесла банку консервированного супа. Этого не хватило бы на целый ужин, и суп не был приготовлен ее руками, но все равно это был ее вклад. Она и пришла пораньше, чтобы хватило времени. И открыла банку сама, не спрашивая меня. Она знала, где что лежит у меня на кухне. Она разогрела суп, достала миски, и мы поели вместе. Казалось, она старается мне напомнить, что я больной человек и нуждаюсь в регулярном питании. И в каком-то смысле была права. Чуть раньше, в обед того же дня, я не смог сам открыть банку супа, так сильно у меня дрожали руки.

Мы обычно смотрели две передачи, которые

шли одна за другой. Но в тот вечер до второй мы не дошли. Онеида не могла дождаться начала второй передачи и завела разговор, который меня очень расстроил.

В двух словах, она сказала, что готова переехать ко мне.

Она сказала, что, во-первых, ей не так уж нравится ее квартира. Переезд был большой ошибкой. Ей нравится жить в доме. Но это не значит, что она жалеет об отъезде из родительского дома. Она бы сошла с ума, живя там в одиночку. Ошибка заключалась только в том, что она переехала в квартиру. Она никогда не была и не сможет быть счастливой, живя в квартире. А поняла она это, лишь пожив у меня в доме. Пока я болел. Она давно должна была бы это понять. Давным-давно, еще маленькой девочкой, она любила смотреть на разные дома и воображать, что живет в том или в этом.

Еще она сказала, что мы не можем сами о себе позаботиться в одиночку. А если бы я заболел, будучи совсем один? Что, если это случится снова? Или если заболеет она?

Нас связывает определенное чувство, сказала она. Совершенно необычное. Мы сможем жить вместе, как брат и сестра, и заботиться друг о

друге, как брат и сестра, и это будет совершенно естественно. Все это так и поймут. Как они могут не понять?

Пока она говорила, я чувствовал себя совершенно ужасно. Я был зол, напуган, я был в ужасе. Хуже всего было под конец, когда она сказала, что никто ничего не подумает. И в то же время я понимал, что она имеет в виду, и, может быть, даже соглашался с ней в том, что люди к этому привыкнут. Отпустят за глаза пару сальных шуток, которые, может быть, до нас даже не дойдут, и все.

Возможно, она права. Может, нам и впрямь имеет смысл так поступить.

Тут мне показалось, что меня швырнули в погреб и захлопнули крышку люка у меня над головой.

Но я ни за что на свете не мог допустить, чтобы Онеида об этом догадалась.

Я сказал, что мысль интересная, но, к сожалению, невозможная по одной причине.

По какой?

Я забыл ей сказать. Из-за болезни и всей этой суеты и прочего. Но я выставил дом на продажу. Он уже продан.

О! О! Почему же я ей не сказал?

Я понятия не имел. Понятия не имел о ее замысле.

— Значит, до меня просто не дошло вовремя, — сказала она. — Это уже не первый раз в моей жизни. Наверно, со мной что-то не так. Я никогда не могу вовремя обдумать важные вещи. Мне всегда кажется, что есть еще куча времени.

Я выкрутился, но не безболезненно. Мне пришлось выставить дом — свой дом — на рынок и продать как можно скорее. Почти так же, как она — свой.

И я продал его почти так же быстро, хотя и не был вынужден согласиться на такую смешную цену, как она. А потом мне пришлось разбирать залежи, накопившиеся с тех самых пор, как в дом въехали мои родители, — это было в их медовый месяц, так как они не могли себе позволить свадебное путешествие.

Соседи были изумлены. Они жили на этой улице недолго и не помнили мою мать, но, по их словам, привыкли к моему размеренному распорядку.

Они осведомились, какие у меня теперь планы, и я понял, что не знаю. За исключением того, что я собирался по-прежнему заниматься той же работой. Впрочем, я уже начал постепенно уре-

зать свою нагрузку, готовясь постепенно вовсе удалиться от дел.

Я начал искать новое жилье, и оказалось, что из подходящих для меня вариантов свободен только один. Это была квартира в здании, построенном на месте старого дома Онеиды. Не на последнем этаже, с видом, как у нее, а на первом. Но я никогда особо не гнался за видами, а потому снял эту квартиру. Мне просто некуда было больше деваться.

Конечно, я собирался сказать Онеиде. Но до нее эта весть дошла кружным путем еще раньше. Впрочем, у нее были свои планы. К этому времени уже настало лето, а летом наши любимые передачи прекращались. Летом мы с ней виделись нерегулярно. Да я и не думал, если честно, что обязан извиняться или просить у нее разрешения. Когда я ходил смотреть квартиру, а потом подписывал договор, Онеиды не было поблизости.

Но когда я ходил смотреть квартиру или когда потом обдумывал этот визит, то понял одну вещь. Когда я пришел, со мной заговорил мужчина; я его не узнал, но через минуту понял, что знаком с этим человеком много лет и полжизни здоровался с ним на улице. Встреть я его на улице, наверно,

опознал бы опять, несмотря на разрушительные следы времени. Но в иной обстановке я его не узнал, мы посмеялись над этим, и он спросил, собираюсь ли я переехать на «кладбище слонов».

Я сказал, что не знал раньше, что этот дом так называют, но да, надо полагать, собираюсь.

Он спросил, играю ли я в юкр, и я сказал, что да, до определенной степени.

— Вот и отлично, — сказал он.

И вот я подумал: если прожить достаточно долго, то все проблемы уходят. Попадаешь в кружок избранных. Не важно, в чем состояло твое увечье, — сам факт, что ты дожил до этих лет, его в значительной степени компенсирует. К этому возрасту лица будут обезображены у всех, не только у тебя.

Это напомнило мне об Онеиде и о том, как она выглядела, когда объявляла, что хочет переехать ко мне. Она была уже не стройная, а костлявая; конечно, она устала от недосыпа, но и помимо этого ее возраст уже сказывался. Ее красота и с самого начала была недолговечной. Легко краснеющая нежная кожа блондинки, странная смесь виноватости и великосветской уверенности в себе — вот что было у нее когда-то и вот что она утратила. Излагая свое предложение, она держа-

лась неловко и лицо у нее было странное.

Конечно, если бы я когда-нибудь мог выбирать, я, естественно, выбрал бы девушку пониже ростом, под стать себе. Вроде той студентки, темноволосой и хрупкой, что работала летом у Кребсов и приходилась им какой-то родней.

Эта студентка однажды чисто по-дружески сказала, что теперь врачи могут поправить мне лицо. Просто удивительно, какие успехи сделала пластическая хирургия. И мне это ничего не будет стоить — все покроет государственная медицинская страховка.

Она была права. Но как я мог объяснить ей, что это свыше моих сил — зайти в кабинет к доктору и признаться, что я желаю недосягаемого?

Онеида зашла ко мне, когда я разбирал вещи — что упаковать с собой, а что на выброс. Она выглядела чуть лучше: видно, побывала у парикмахера, и цвет волос у нее изменился — кажется, стал ближе к каштановому.

— Не выбрасывай всё кучей, — сказала она. — Все документы, что ты собрал, по истории города.

Я сказал, что сортирую бумаги, прежде чем выбросить, но это была не совсем правда. Мне казалось, будто мы оба притворяемся, что прошлое

для нас очень важно, а на самом деле это не так. Теперь, когда я думал об истории нашего городка, мне казалось, что один маленький городок ничем не отличается от любого другого.

Мы не упоминали о моем переезде в доходный дом. Словно уже давно обсудили это и теперь принимали как должное.

Она сказала, что скоро уезжает в очередное путешествие, и на этот раз назвала точку назначения. Но сказала только «остров Сэвери», как будто его все знают.

Я вежливо спросил, где это, и она ответила:

— О, совсем недалеко от побережья.

Как будто это ответ.

— Там живет моя старая подруга, — добавила она.

Что ж, может, и так.

— У нее есть электронная почта. Она говорит, что и я должна обязательно завести себе электронную почту. Мне как-то не хочется. Но можно и попробовать.

— Наверно, не попробуешь — не узнаешь.

Мне казалось, что я должен еще что-нибудь добавить. Спросить, какая погода там, куда она едет, или что-нибудь в этом роде. Но не успел я открыть рот, как она очень странно вскрикну-

ла или взвизгнула, а потом зажала рот рукой и большими осторожными шагами подошла к моему окну.

— Тихо, тихо! — сказала она. — Смотри, смотри!

Она смеялась почти беззвучно — я не знал, что означает этот смех: можно было подумать, что ей больно. Когда я поднялся на ноги, она перевела одну руку за спину и жестом показала, чтобы я двигался осторожно.

На заднем дворе моего дома была купальня для птиц. Я сам поставил ее много лет назад, чтобы мать могла наблюдать за птицами. Она очень любила их и узнавала по песням и по внешнему виду. Я давно забыл про купальню, а как раз сегодня утром снова наполнил ее, впервые за много времени.

И что теперь?

Купальня была полна птиц. Черно-белых — они копошились там, как будто метель мела.

Нет, это не птицы. Эти существа крупней малиновок и меньше сорок.

— Скунсы! — сказала она. — Маленькие скунята. У них пока больше белого, чем черного.

Но как это было прекрасно! Вспышки белого словно танцевали, не мешая друг другу, поэтому

сложно было сказать, сколько их там и где начинается или кончается каждое тельце.

Пока мы смотрели, скунсы один за другим вылезли из воды и пошли цепочкой по двору, двигаясь быстро, по прямой диагональной линии. Казалось, они выступают скромно, но гордо. Их было пятеро.

— Боже мой! — сказала Онеида. — В городе!

На лице у нее читалось потрясение.

— Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?

Нет, сказал я. Никогда в жизни.

Я боялся, что она скажет еще что-нибудь и все испортит, но нет, мы оба молчали.

Мы были счастливы донельзя.

Корри

— Нехорошо, когда в таком городе все деньги — у одной семьи, — сказал мистер Карлтон. — То есть нехорошо для девушки вроде моей Корри. Например, для таких, как она, я хочу сказать. Нехорошо. Нету для нее ровни.

Корри сидела тут же, через стол, глядя гостю прямо в лицо. Кажется, слова отца ее рассмешили.

— За кого ей выйти замуж? — продолжал отец Корри. — Ей уже двадцать пять лет.

Корри подняла брови и скорчила гримаску.

— Двадцать шесть, — поправила она. — Ты пропустил один год.

— Ну ладно, можешь надо мной смеяться, — сказал ее отец.

Она рассмеялась вслух. И действительно, что ей еще остается, подумал гость. Его звали Говард Ричи, и он был лишь на несколько лет старше девушки, но уже обзавелся женой и маленькими детьми, о чем первым делом выспросил отец Корри.

У нее очень быстро менялись выражения лица. Белые зубы сверкали, а короткие, почти черные

волосы вились. Высокие скулы, на которых играл свет. Никакой женственной округлости. Не за что подержаться (ее отец вполне мог сказать что-нибудь такое следующим номером). Говард Ричи отнес девушку к разряду заядлых любительниц гольфа и тенниса. Она была остра на язык, но он предположил, что ее воззрения весьма заурядны.

Он был архитектором и только начал свою карьеру. Мистер Карлтон упорно называл его «церковным архитектором», потому что сейчас Говард как раз реставрировал колокольню англиканской церкви городка. Колокольня грозила обрушиться, и обрушилась бы, если бы мистер Карлтон не пришел на помощь. Мистер Карлтон не был англиканином — он все время об этом напоминал. Он был прихожанином методистской церкви и методистом до мозга костей, а потому не держал в доме спиртного. Но он не мог допустить разрушения такой прекрасной англиканской церкви. На самих англикан рассчитывать не приходилось — они были в основном бедными ирландскими протестантами и скорее снесли бы церковь и построили на ее месте какое-нибудь уродство, позорящее весь город. Конечно, у них не было денег, и они не поняли бы, зачем вообще нужен архитектор, — по их мнению, тут справил-

ся бы и плотник. Церковный архитектор.

Столовая выглядела ужасно — во всяком случае, по мнению Говарда. Была середина пятидесятых годов, но в столовой, похоже, в точности сохранилась обстановка начала века. Еда была в лучшем случае съедобная. Человек, сидящий во главе стола, говорил не умолкая. Можно было бы ожидать, что девушку его речи утомят, но, похоже, наоборот — они ее смешили. Не успев доесть десерт, она закурила. И Говарду предложила сигарету, добавив отчетливо слышное:

— Не обращайте внимания на папу.

Говард принял сигарету, но девушка еще сильнее упала в его глазах.

Балованная богатая барышня. Совершенно не умеет себя вести.

Она вдруг ни с того ни с сего спросила, что он думает о Томми Дугласе, премьере провинции Саскачеван.[8]

Он сказал, что его жена — за Дугласа. На самом деле она считала Дугласа недостаточно левым,

---

[8] Примечания: 8

Канада состоит из десяти провинций и трех территорий. В дополнение к федеральным органам власти каждая провинция имеет свой парламент, свое правительство (премьер-министра, министров), своего лейтенант-губернатора, свой бюджет, свои суды и т. д. Города Торонто и Китченер, где происходит действие большинства рассказов, относятся к провинции Онтарио.

но он не хотел вдаваться в подробности.

— Папа его обожает. Папа у нас коммунист.

Мистер Карлтон сердито фыркнул, но девушку это не остановило.

— Ну ты же смеешься над его шутками, — сказала она.

Вскоре после этого она повела Говарда на экскурсию по владениям отца. Фасад дома выходил на улицу — дом стоял прямо напротив фабрики, где производили мужские ботинки и защитную рабочую обувь. Зато за домом были обширные газоны и река, что протекала через полгорода. К берегу реки вела проторенная тропа. Девушка пошла впереди, и Говард увидел то, чего не замечал раньше. Она хромала на одну ногу.

— Вам не трудно будет подниматься обратно наверх? — спросил он. — Склон довольно крутой.

— Я не инвалид.

— Вижу, у вас тут лодка, — сказал он (эти слова были задуманы как частичное извинение).

— Я бы вас покатала, но не сейчас. Сейчас мы будем смотреть на закат.

Она указала на старый кухонный стул и велела Говарду на него сесть, сказав, что это стул для любования закатом. Сама она села на траву. Он собирался спросить, не трудно ли ей будет потом

встать, но переду-мал.

— У меня был полиомиелит, — сказала она. — Вот и все. Моя мать им тоже болела, только она умерла.

— Мне очень жаль.

— Да, наверно, очень жаль. Я ее совсем не помню. На следующей неделе я еду в Египет. Мне ужасно хотелось туда поехать, а теперь как будто стало все равно. Как вы думаете, там будет весело?

— Я вынужден зарабатывать себе на жизнь.

Он сам удивился своим словам, а она, конечно, захихикала.

— Я говорила вообще, — высокомерно заявила она, закончив хихикать.

— Я тоже.

Наверняка ее заловит какой-нибудь охотник за приданым — возможно даже, египтянин. Она казалась одновременно слишком смелой и слишком ребячливой. Это может поначалу заинтриговать мужчину, но потом ее прямота, уверенность в себе — если это можно так назвать — начнут ему надоедать. Но, конечно, у нее будут деньги, а это некоторым мужчинам не надоест никогда.

— Не упоминайте про мою ногу при папе, а то

его кондрашка хватит, — сказала она. — Однажды меня дразнил один мальчишка, и папа уволил не только его, но и всю его родню. Честно, вплоть до кузенов.

Из Египта стали приходить странные открытки — на его рабочий адрес, а не домашний. Естественно, откуда ей знать его домашний адрес.

На открытках не было ни одной пирамиды. Ни одного сфинкса.

Вместо этого на одной из них красовалась Гибралтарская скала. От руки было написано, что это — пирамида, которая обрушилась. На другой открытке были какие-то плоские бурые поля, бог знает где, а подпись от руки гласила: «Море Меланхолии». На третьей открытке было написано мелким почерком: «Есть возможность купить телескоп высылайте деньги». К счастью, эти послания не попали в руки никому из сотрудников архитектурного бюро.

Говард не хотел отвечать, но все же ответил: «Телескоп дефектный требуем возврата денег».

Он поехал в городок, где она жила, под надуманным предлогом — якобы осмотреть церковный шпиль. Она должна была уже вернуться из страны пирамид, но Говард не знал, дома она или унеслась в какое-нибудь очередное приключе-

ние.

Она оказалась дома и намеревалась пробыть в городе еще долго. У ее отца случился инсульт.

Нельзя сказать, что на ее плечи легли какие-то дела. К отцу через день приходила медсестра. Каминами занималась девушка по имени Лилиан Вулф; когда Говард приходил, в каминах всегда горел огонь. Конечно, Лилиан делала и другую работу по хозяйству. Сама Корри не смогла бы развести нормальный огонь или приготовить обед. Она не умела печатать на машинке, не могла водить автомобиль (даже в сшитом по мерке башмаке с очень толстой подошвой). Приехав, Говард многое взял на себя. Он присматривал за огнем в каминах, следил за разными мелкими хозяйственными делами и даже частенько заходил посидеть с отцом Корри, когда тот был в состоянии его принять.

Говард не знал заранее, как отреагирует на больную ногу в постели. Но в итоге она показалась ему более привлекательной, более неповторимой, чем вся остальная Корри.

Она предупредила его, что не девственница. Но это оказалось запутанной полуправдой — девственности ее лишил преподаватель фортепиано, когда ей было пятнадцать лет. Она тогда согла-

силась на то, чего хотел преподаватель, потому что в те годы жалела людей, которые чего-нибудь очень-очень хотят.

— Только не обижайся, — сказала она и объяснила, что уже давно не жалеет людей за подобное.

— Надеюсь, что нет, — сказал он.

Потом он тоже должен был ей кое-что о себе рассказать. То, что у него оказался при себе презерватив, не значит, что он записной соблазнитель. На самом деле она у него всего лишь вторая, а первой была жена. Его вырастили в фанатично религиозной семье, и он до сих пор в какой-то степени верит в Бога. Но скрывает это от жены, потому что она придерживается очень крайних левых взглядов и непременно высмеет его.

Корри сказала: она рада, что то, что они делают, — то, чем они только что занимались, — не пугает его, несмотря на его религиозные верования. Она сказала, что сама не верит и никогда не верила в Бога — ей и с отцом хватает забот.

Им было нетрудно встречаться. Говард по работе часто уезжал из конторы на целый день — инспектировать стройку или встречаться с клиентами. От Китченера до дома Корри было

совсем близко. И к тому же теперь она была одна в доме. Ее отец умер, а девушка, которая раньше работала по дому, уехала в город, чтобы устроиться на работу там. Корри это одобрила и дала денег на курсы машинисток, чтобы девушка могла получить профессию.

— Ты слишком умная, чтобы работать домашней прислугой, — сказала Корри. — Дай мне знать, как у тебя пойдут дела.

Неизвестно, на что Лилиан Вулф потратила эти деньги — на курсы машинисток или на что-то другое. Но факт, что она продолжала работать прислугой. Обнаружилось это случайно, когда Говарда с женой пригласили на ужин к каким-то важным людям, только что переехавшим в Китченер. Лилиан прислуживала за столом и вдруг столкнулась лицом к лицу с мужчиной, которого видела в доме Корри. Видела, входя забрать грязные тарелки или подложить дров в камин, как этот мужчина обнимает Корри. Из разговора за столом Лилиан не могла не понять, что жена, с которой Говард пришел в гости, и тогда была его женой.

Говард объяснил Корри: он не сказал ей про инцидент на званом ужине, поскольку надеялся, что гроза пройдет стороной. Хозяева дома не были

близкими друзьями его или его жены. Особенно его жены — она потом высмеяла их политические взгляды. Этот ужин был задуман скорее для укрепления деловых связей. И хозяйка — явно не из тех, кто сплетничает с собственной прислугой.

Это все оказалось правдой. Лилиан сообщила, что вообще ни с кем не сплетничала. Сообщила она об этом в письменном виде. Она собиралась поговорить вовсе не с хозяйкой дома. А с собственной женой Говарда. «Заинтересует ли Вашу жену подобная информация?» — так она выразилась. Письмо пришло на адрес конторы Говарда — у Лилиан хватило сметки его разузнать. Но и домашний адрес Говарда она тоже откуда-то знала. Шпионила. Она и об этом упомянула, а также о том, что у его жены пальто с воротником из чернобурой лисы. Жена стеснялась этого пальто и часто считала необходимым уведомить собеседника, что пальто не куплено, а получено в наследство. Что было правдой. Но она все же надевала его по особым случаям вроде того званого ужина, видно желая показать людям, существование которых считала бессмысленным, что она ничем не хуже их.

«Мне очень не хотелось бы разбивать сердце

такой приятной даме в пальто с таким большим воротником из чернобурки», — написала Лилиан.

— Откуда она вообще знает, это чернобурка или что? — сказала Корри, когда Говард уже не мог скрывать от нее новость. — Ты уверен, что она именно это написала?

— Уверен.

Письмо он сжег сразу же — ему казалось, что оно пачкает ему руки.

— Значит, она многое разнюхала, — сказала Корри. — Я всегда знала, что она хитрая. Надо полагать, убить ее мы не можем?

Он даже не улыбнулся в ответ, и Корри серьезно заверила его:

— Я пошутила.

Был апрель, но еще так холодно, что хотелось посидеть у огня. Она собиралась попросить Говарда затопить камин, но он так странно, серьезно держался, что она передумала.

Он сказал, что его жена даже не хотела идти на тот ужин.

— Надо было ее послушать, — сказала Корри.

— Хуже не бывает. Это самое худшее, что могло случиться, — сказал Говард.

Оба смотрели на черную решетку пустого ками-

на. Сегодня Говард коснулся Корри только один раз, когда здоровался с ней.

— Вообще-то, нет, — сказала Корри. — Это не самое худшее. Нет.

— Нет?

— Нет, — повторила она. — Можно дать ей денег. Она не так уж много и просит.

— У меня нету…

— Не ты. Я ей дам.

— Нет!

— Да.

Она говорила нарочито небрежным голосом, но внутри у нее все похолодело. Что, если он откажется? Нет, я не могу на это пойти. Нет, это знак. Это знак, что мы должны расстаться. Корри была уверена, что его лицо, его голос говорят о чем-то таком. Старая песня про грех. Зло.

— Для меня эти деньги ничего не значат, — сказала она. — А ты не смог бы платить, даже если бы мог незаметно отложить такую сумму. Тебе все время казалось бы, что ты отнимаешь у своей семьи.

Семья. Зачем она произнесла это слово? Ей не следовало такое говорить.

Но его лицо неожиданно просветлело. Он сказал: «Нет-нет», но с сомнением в голосе. И тогда

она поняла, что все будет хорошо. Вскоре он уже начал обсуждать с ней практическую сторону дела и вспомнил еще одно требование из письма. Деньги должны быть наличными, в купюрах. Чеки Лилиан не примет.

Он говорил, не поднимая глаз, словно обсуждал деловую операцию. Корри тоже было удобнее платить наличными. Так ее имя нигде не всплывет.

— Договорились, — сказала она. — Это не такая уж и большая сумма на самом деле.

— Но Лилиан не должна знать, что мы так думаем, — предостерег он.

Им следовало снять абонентский ящик на имя Лилиан. Положить купюры в адресованный ей конверт и два раза в год оставлять в этом ящике. Даты назначит она. И не опаздывать ни на день. Иначе, как выразилась Лилиан, она начнет беспокоиться.

Он так и не коснулся Корри, если не считать беглого, почти формального прощания. Он словно говорил: эта тема должна существовать полностью отдельно от того, что происходит между нами. Мы начнем с чистого листа. Мы сможем снова чувствовать, что никому не приносим вреда. Не делаем ничего плохого. Так он форму-

лировал это про себя, не высказывая вслух. Она же только однажды сделала попытку пошутить на эту тему, но он шутку не оценил:

— Мы уже внесли большой вклад в образование Лилиан — видишь, какая она стала умная?

— Нам совершенно не нужно, чтобы она становилась умней. А то она поднимет ставку.

— Ну, эту проблему мы будем решать по мере возникновения. И вообще, мы можем пригрозить ей полицией. Даже сейчас.

— Но тогда мы больше не сможем быть вместе, — сказал он. Он уже попрощался и повернулся, чтобы уйти. Они стояли на открытом всем ветрам крыльце. — Я не перенесу, если мы не сможем больше быть вместе, — сказал он.

— Рада слышать, — сказала Корри.

Вскоре они перестали даже упоминать о выплатах. Корри протягивала ему купюры уже в конверте. Поначалу Говард досадливо фыркал, потом выражение досады сменилось вздохом удовлетворения, словно Корри напоминала ему о том, что он должен сделать нужное дело по хозяйству.

— Как летит время!

— Да, ужасно.

— Неправедно нажитое богатство Лилиан, —

говорила иногда Корри, и сначала Говарду не нравились эти слова, а потом он сам привык так говорить. В самом начале Корри спрашивала его, не виделся ли он с Лилиан еще раз, не попадалась ли она ему на очередном ужине.

— Мы с этими людьми не друзья, а деловые знакомые, — напоминал он ей. Он их редко видел и не знал, продолжает Лилиан у них работать или нет.

Корри ее тоже не видела. Родственники Лилиан жили в деревне, — возможно, она их навещала, но они не приезжали за покупками в городок, который в это время начал быстро приходить в упадок. На главной улице осталась только мелочная лавка, куда жители ходили за лотерейными билетами или если до́ма вдруг кончилось что-то из продуктов, да еще мебельный магазин, где в витрине уже много лет стояли одни и те же стулья и диваны, а двери, похоже, никогда не открывались, да, кажется, так и не открылись до того самого дня, когда владелец магазина умер во Флориде.

После смерти отца Корри обувную фабрику перекупила крупная фирма, которая обещала, что фабрика будет работать по-прежнему; во всяком случае, так казалось Корри. Однако не

прошло и года, как здание опустело, годное оборудование вывезли в другой город, и ничего не осталось, кроме немногих устаревших сапожных инструментов. Корри взбрело в голову устроить маленький провинциальный музей и выставить там эти инструменты. Она сама сделает экспозицию и будет водить туристов, рассказывая им, как делали обувь много лет назад. Корри на удивление хорошо разобралась в истории сапожного ремесла; ей помогли фотографии, когда-то сделанные ее отцом для сопровождения лекции, которую, кажется, читал он сам — текст был криво перепечатан на машинке — в женском кружке, когда там изучались местные производства. К концу лета Корри уже провела по музею нескольких посетителей. Она была уверена, что на следующий год музей пойдет в гору — после того, как она поставила на шоссе указатель к музею и написала текст брошюры для туристов.

Ранней весной она выглянула из окна и увидела, что какие-то незнакомые рабочие начали сносить здание фабрики. Она думала, что может пользоваться зданием, пока вносит арендную плату, но оказалось, что по контракту она не имела права выставлять или присваивать никакие найденные в здании предметы, даже давно

и полностью не пригодные ни для какой цели. Бесполезные древние инструменты ей никоим образом не принадлежали, это совершенно исключалось. И вообще, ей повезло, что фирма, что когда-то столь любезно ее обхаживала, не потащила ее в суд, узнав, чем она тут занимается.

Говард мог бы заранее посмотреть на контракт и избавить ее от всей этой головной боли, но на то лето он увез семью в Европу.

Ну ничего, сказала она, когда успокоилась. И скоро в самом деле нашла себе другое занятие.

Все началось с ее решения: дальше сидеть одной в большом пустом доме — невыносимо. Она хотела выбираться на люди, и ее взор пал на публичную библиотеку, что располагалась на той же улице.

Это был красивый, ладный особняк красного кирпича. Поскольку учреждение относилось к числу библиотек Карнеги,[9] его оказалось непросто закрыть, хотя горожане им уже почти не пользовались: абонентов было так мало, что город не мог позволить себе ставку библиотекаря.

---

[9] Примечания: 9

Библиотеки Карнеги — ряд библиотек, построенных в США, Канаде, Британии и других странах на деньги шотландско-американского миллионера Эндрю Карнеги. Город, в котором строилась такая библиотека, принимал на себя определенные финансовые обязательства по ее содержанию.

Корри ходила туда два раза в неделю, отпирала двери и сидела за конторкой. Под настроение она стирала пыль с полок или звонила людям, которые уже по многу лет держали у себя библиотечные книги. Иногда в трубке отвечали, что даже не слышали про такую книгу, — ее взяла в библиотеке какая-нибудь бабушка или тетя, которая давно умерла. Тогда Корри произносила речь о библиотечном имуществе, и иногда книги в самом деле кто-то приносил и бросал в ящик для возврата.

Корри нравилось сидеть в библиотеке — ее раздражал только шум. Шум производил Джимми Казинс — он стриг траву на газонах вокруг библиотеки и, едва закончив, начинал с самого начала, поскольку ему больше нечем было заняться. Так что Корри наняла его, чтобы он ухаживал и за ее газонами, — раньше она стригла траву сама ради моциона, но у нее и без того была хорошая фигура, так что она в этом не нуждалась, а с ее хромотой стрижка травы занимала целую вечность.

Говарда слегка расстраивали такие перемены в ее жизни. Он теперь приходил реже, но оставался дольше. К этому времени он переехал в Торонто, хотя продолжал работать на то же архитектурное

бюро. Дети его вступили в подростковый возраст, а некоторые уже и в университет пошли. Девочки учились очень хорошо, мальчики похуже, но мальчишки, они мальчишки и есть. Его жена работала полный день — иногда задерживаясь допоздна — в конторе одного политического деятеля провинции Онтарио. Платили ей гроши, но она была счастлива. Счастливей, чем когда-либо на памяти Говарда.

Прошлой весной он повез жену в Испанию — сделал ей сюрприз на день рождения. Во время своего отсутствия он не присылал Корри никаких вестей. Было бы чрезвычайно вульгарно, если бы он стал слать ей письма из поездки, которую подарил жене на день рождения. Он бы ни за что так не поступил, а если бы поступил, Корри это не одобрила бы.

Когда он после возвращения пришел к Корри, она сказала:

— Ты так держишься, как будто у меня тут святилище какое-то.

— Так и есть, — ответил он.

Он теперь обожал эти просторные комнаты с лепными потолками и темными, мрачными панелями на стенах. В них было своего рода нелепое величие. Но он видел, что Корри ощущает

это по-другому, что ей нужно время от времени выбираться из дому. Они стали делать небольшие вылазки, потом — совершать путешествия подлиннее. Они останавливались в мотелях — всегда только на одну ночь — и ели в хороших, но умеренно дорогих ресторанах.

Им ни разу не попался никто из знакомых. Когда-то они были уверены, что непременно кого-нибудь встретят. Теперь все изменилось, хотя они и не могли бы сказать почему. Может, потому, что эта встреча была для них уже не такой опасной? Но, по правде сказать, люди, которых они боялись встретить (и ни разу не встретили), ни за что не заподозрили бы их в грехе, который их по-прежнему связывал. Говард собирался представить Корри своей кузиной, — неловкое объяснение, которое он придумал на такой случай, — и никто не обратил бы внимания. У него и впрямь были родственники, с которыми его жена не желала иметь ничего общего. И какой нормальный мужчина завел бы любовницу средних лет, да еще такую, у которой одна нога короче другой? Поэтому им не грозило, что кто-нибудь запомнит случайную встречу и выпалит в самый неподходящий момент: «Помнишь, мы встретили Говарда на пляже Брюс? Кажется, с сестрой. Он

хорошо выглядит. Или с кузиной? Хромая такая».

Эта информация была никому не интересна, так что ее и упоминать не стоило.

Конечно, они по-прежнему занимались любовью. Иногда осторожно, чтобы не задеть больное плечо или ноющее колено. У них всегда были традиционные вкусы в постели, и они этим чуточку гордились — ведь им не нужны какие-то особые приемчики, чтобы разжечь свою страсть. К таким подпоркам пускай прибегают женатые люди.

Иногда глаза у Корри наполнялись слезами, и она прятала лицо у него на груди.

— Просто… я оттого, что нам так повезло, — объясняла она.

Она никогда не спрашивала, счастлив ли он, но он косвенно давал ей понять, что да. Он рассказывал, что начинает в своей работе придерживаться более консервативных идей, а может, просто стал питать меньше надежд. (Она подумала, но не сказала, что он всегда был довольно консервативен.) Он, к удивлению жены и родственников, стал брать уроки игры на фортепиано. Он объяснил, что это благотворно для брака — когда у каждого из супругов есть какие-то отдельные, свои интересы.

— Не сомневаюсь, — ответила на это Корри.

— Я не хотел сказать, что…

— Я знаю.

Как-то в сентябре Джимми Казинс зашел в библиотеку и сказал Корри, что не сможет сегодня подстричь ее газон. Ему надо на кладбище, копать могилу. Для одной женщины, которая когда-то жила в здешних местах.

Корри заложила пальцем страницу в «Великом Гэтсби» и поинтересовалась, как звали эту женщину. И заметила, что на удивление много народу возвращается в городок посмертно с подобного рода последней волей, накладывая бремя на родственников. Человек всю жизнь живет в большом городе — вблизи или далеко от родных мест — и вполне доволен такой жизнью, но после смерти не желает там оставаться. У стариков бывают подобные причуды.

Джимми ответил, что покойница была не такая уж старая. Фамилия ее — Вулф. А имя у него вылетело из головы.

— Не Лилиан? Лилиан Вулф?

Да, кажется, так.

И действительно, ее имя обнаружилось прямо под рукой, в библиотечной подшивке местной газеты, которую Корри никогда не читала. Лилиан умерла в Китченере в возрасте сорока шести лет.

В последний путь ее должны были проводить из церкви Помазанников Божиих, начало церемонии — в два часа.

Ну что ж…

Церемония была назначена на один из тех двух дней, когда библиотеке полагалось работать. Корри не могла пойти.

Церковь Помазанников Божиих появилась в городке относительно недавно. В нем уже не осталось никаких религий, кроме тех, которые отец Корри называл «сектами для чокнутых». Здание церкви было видно из окон библиотеки.

Еще до двух Корри заняла место у окна и увидела, что в церковь входит немало народу.

Шляпы, похоже, вышли из моды — что для мужчин, что для женщин.

Как сообщить Говарду? Придется написать ему на работу. Можно было бы, конечно, позвонить туда, но ему придется отвечать так осмотрительно, так деловито, что половина ощущения чуда от новообретенной свободы будет потеряна.

Корри снова принялась читать «Великого Гэтсби», но поняла, что лишь складывает слова, не понимая смысла, — так она была напряжена. Она заперла библиотеку и вышла на улицу.

Люди всегда говорили, что в городке царит

похоронная атмосфера, но на самом деле, если случались настоящие похороны, городок принаряжался и оживлялся. Корри вспомнила об этом, когда еще за квартал увидела выходящих из церкви людей — они останавливались, чтобы поболтать между собой и облегчить душу после мрачной торжественности похорон. А потом, к удивлению Корри, многие огибали здание церкви и входили в боковую дверь.

Ну конечно. Она и забыла. Когда церемония кончилась и закрытый гроб положили на катафалк, самые близкие люди покойницы должны были направиться на кладбище, чтобы предать тело земле, а остальные — на поминки. Поминальное угощение, значит, ждало в пристройке при церкви, где располагалась воскресная школа и благотворительная столовая.

Корри не видела причин, почему бы ей тоже туда не зайти.

Но в последний момент поняла, что пройдет мимо.

Но было поздно. Ее окликнули вызывающим — во всяком случае, совершенно не похоронным — тоном от двери, куда входили люди.

Какая-то женщина. Она подошла поближе и сказала:

— Жаль, что вас не было на отпевании.

Корри понятия не имела, кто это такая. Она объяснила, что, к сожалению, должна была держать библиотеку открытой и потому не смогла прийти вовремя.

— О, конечно, — сказала женщина и тут же отвлеклась на разговор с другой женщиной, которая несла в руках пирог.

— Что, в холодильнике будет место для этого?

— Не знаю, миленькая. Пойдите сами посмотрите.

На женщине, окликнувшей Корри, было платье в цветочек, и Корри подумала, что все женщины на поминках будут одеты так же — в лучшее воскресное платье, если не лучший похоронный наряд. Но, наверно, ее представления о лучшем воскресном наряде устарели. Многие из присутствующих женщин были, как и она сама, в брюках.

Другая женщина принесла ей кусок торта на одноразовой тарелке.

— Вы, наверно, проголодались, — заметила она. — Мы все проголодались.

Женщина, которая когда-то работала парикмахершей (Корри у нее тогда стриглась), сказала:

— Я так всем и говорила, что вы наверняка

зайдете. Объяснила, что вы освободитесь, только когда библиотека закроется. Я сказала, очень жалко, что вам придется пропустить отпевание. Так и сказала.

— Служба была очень красивая, — вмешалась в разговор еще одна женщина. — Вот вам чай к торту.

И так далее. Корри не могла вспомнить, как зовут этих людей. Объединенная и пресвитерианская церкви в городке едва дышали; англиканская уже много лет как закрылась. Может, все прихожане перешли сюда?

Только одна женщина среди присутствовавших (если не считать Корри) была центром внимания. Она была одета именно так, как, по представлениям Корри, следовало одеваться на похороны. Прекрасное серовато-сиреневое платье и летняя шляпка скромного серого цвета.

Женщину подвели к Корри, чтобы представить их друг другу. У нее на шее висела скромная нитка натурального жемчуга.

— Ах да, — женщина говорила тихо, и голос звучал настолько радушно, насколько это допускалось приличиями в данном случае, — вы, значит, Корри. Я о вас так много слышала. Хотя мы никогда не встречались, но у меня было такое

ощущение, словно мы знакомы. Но вы, наверно, не знаете, кто я.

Она назвала имя, но Корри оно ни о чем не сказало. Женщина встряхнула головой и чуть виновато рассмеялась:

— Лилиан работала у нас с тех самых пор, как переехала в Китченер. Дети ее обожали. И потом внуки тоже. Просто без ума от нее были. Боже мой! Когда у нее был выходной, я оказывалась никуда не годной заменой. Мы все ее обожали, правду сказать.

Голос звучал растерянно и вместе с тем восторженно. Подобные женщины это умеют — совершенно очаровательным образом полностью принижать себя в разговоре. Должно быть, она понимала, что Корри — единственная среди собравшихся, кто говорит с ней на одном языке и не примет сказанного за чистую монету.

— Я не знала, что она болела, — сказала Корри.

— Она так быстро сгорела, — сказала женщина с чайником в руках.

Она предложила еще чаю даме в жемчугах и получила отказ.

— Да, в этом возрасте люди уходят быстрее, чем старики. Сколько времени она пробыла в больнице? — слегка угрожающим тоном спросила

женщина с чайником у дамы в жемчугах.

— Дайте припомнить… Дней десять?

— Даже меньше, я слыхала. А когда сообщили ее родне, осталось еще меньше времени.

— Она была очень скромным человеком. — Работодательница Лилиан говорила тихо, но не собиралась никому уступать. — Не из тех, кто поднимает шум вокруг себя.

— Да, это правда, — сказала Корри.

Тут пришла плотная улыбчивая молодая женщина и представилась — она оказалась священником.

— Мы о Лилиан говорим? — Она в изумлении покачала головой. — Лилиан была святым человеком. Редким человеком.

Все согласились. В том числе Корри.

«Я подозреваю мадам настоятельницу», — написала Корри Говарду в длинном письме, которое начала составлять в уме по дороге домой.

Тем же вечером она села и принялась на самом деле писать это письмо, хотя отправить его сразу все равно не смогла бы — Говард с семьей уехал на пару недель на дачу в Маскоку. Он заранее описывал в разговорах с Корри, на что будет похож этот отдых: «Все не в своей тарелке, жена вдали от своей политики, я вдали от своего пианино». Но

отказываться от ритуала никто из них не хотел.

«Конечно, не стоит думать, что церковь построена именно за счет неправедно нажитого богатства Лилиан, — написала Корри. — Но я уверена, что по крайней мере колокольня воздвигнута на ее деньги. Да и колокольня-то ужасно нелепая. Мне до сих пор не приходило в голову, как предательски выглядят эти крыши в форме перевернутых рожков от мороженого. Они просто кричат о полной утрате веры. Люди, сами о том не подозревая, выдают себя с головой».

Она скомкала письмо и начала заново, в более торжествующем ключе.

«Время шантажа миновало, перестало; и голос горлицы слышен в стране нашей».

Она писала о том, что даже сама не подозревала, каким грузом висел на ней шантаж, и поняла это лишь теперь. Дело не в деньгах — он прекрасно знает, что деньги для нее ничего не значат, и к тому же из-за инфляции сумма с годами уменьшилась, хотя Лилиан, кажется, этого не осознавала. Дело в ощущении шаткости, в том, что полная безопасность казалась недостижимой, в бремени, отягчавшем их долгую любовь, — вот отчего Корри была несчастна. И вспоминала об этом каждый раз, когда проходила мимо почто-

вого ящика.

А может быть, Говард узнает новость раньше, чем получит ее письмо? Нет, это невозможно. Да и вообще, он еще не в том возрасте, когда читают раздел некрологов.

Она клала купюры особого назначения в конверт и передавала Говарду два раза в год: в феврале и в августе. Надо полагать, потом он пересчитывал деньги, печатал на конверте имя Лилиан и клал конверт в ее абонентский ящик.

Вопрос вот в чем: успел ли Говард заглянуть в ящик и проверить, исчез ли оттуда очередной конверт? Когда Корри отдавала Говарду деньги, Лилиан была еще жива, но, конечно, уже не в состоянии забрать их. Конечно, не в состоянии.

Корри виделась с Говардом и передала ему конверт всего за несколько дней до его отъезда в Маскоку. Корри попыталась вспомнить, когда точно это произошло и было ли у Говарда время снова проверить ящик после доставки денег, или же он сразу уехал отдыхать. В прошлые годы, отдыхая на даче, он иногда урывал минутку, чтобы написать Корри письмо. Но в этом году ничего не прислал.

Она ложится спать, недописав письмо.

И просыпается рано, когда небо уже светлеет,

но солнце еще не встало.

Есть в году такое утро, когда осознаешь, что птицы умолкли.

Она кое-что знает. Ее осенило во сне.

Незачем писать Говарду о новостях. Эта смерть не будет для него новостью.

Она для него не новость, потому что Лилиан не играет никакой роли. Никогда не играла. Нет никакого абонентского ящика. Деньги отправляются прямиком на банковский счет или просто в бумажник. На общие расходы. Скромные сбережения на старость. Или поездка в Испанию. Какая разница? Человек, у которого семья, летний домик, дети, которым нужно учиться, счета, которые приходится оплачивать, — ему не приходится думать, куда потратить деньги. Эту сумму даже не назовешь внезапным богатством. И нет необходимости объяснять, откуда она взялась.

Корри встает, быстро одевается и проходит по дому, не пропуская ни одной комнаты, — она знакомит стены и мебель с новым открытием. Пустота зияет всюду, и заметней всего — у нее в груди. В конце концов Корри оказывается в спальне и понимает, что знакомство с реальностью придется проводить еще раз, с самого начала.

Она совсем отказалась от идеи написать письмо и ограничивается краткой запиской.

«Лилиан умерла, вчера похоронили».

Она посылает записку ему на работу, потому что это уже не важно. С курьерской службой — кому какая разница?

Она отключает телефон, чтобы избавиться от мучительного ожидания. Воцаряется тишина. Может быть, он просто забудет о ее существовании.

Но скоро приходит письмо — едва ли не короче ее записки.

«Теперь все хорошо, радуйся. Скоро».

Значит, они все оставят как есть. Делать что-то другое — слишком поздно. Могло быть и хуже, гораздо хуже.

Поезд

Поезд и так ехал медленно, а сейчас, на повороте, еще притормозил. В вагоне оставался один Джексон, а до следующей станции — она называлась Клевер — было еще миль двадцать. Потом будет станция Рипли, потом Кинкардайн и озеро. Джексону выпала удача, и упускать ее не следовало. Он уже вытащил корешок билета из кармашка на подголовнике.

Он швыряет заплечный мешок и видит, как тот аккуратно падает между рельсов. Теперь у него нет выбора. Поезд точно не затормозит еще сильней.

Он решает рискнуть. Молодой, в хорошей форме, в расцвете сил и ловкости. Но прыжок и приземление его разочаровывают. Оказывается, он не так гибок, как думал, и не успевает среагировать — его швыряет вперед, обеими ладонями с размаху на гравий между шпалами. Ободрал кожу. Нервишки.

Поезд уже скрылся из виду, и слышно, как он, миновав поворот, набирает ходу. Джексон плюет на саднящие ладони и стряхивает с них гравий. Потом подбирает свой мешок и трогается в том

направлении, откуда только что приехал на поезде. Пойди он в ту сторону, где скрылся поезд, он пришел бы на станцию Клевер уже после наступления темноты. И все еще мог бы объяснить, что уснул, а потом спросонья ошибочно подумал, что проехал свою остановку. Впопыхах спрыгнул с поезда, и пришлось идти пешком.

Ему бы поверили. Человек возвращается из дальних краев, домой с войны — у него в голове запросто могло что-то перепутаться. Еще не поздно — он может еще до полуночи попасть туда, где ему следует быть.

Но все время, пока он об этом думает, он идет в противоположном направлении не останавливаясь.

Он почти не знает названий деревьев. Клены, их все знают. Сосны. И мало что еще. Он думал, что спрыгнул с поезда где-то в лесах, но ошибся. Деревья растут только у путей — у самой насыпи заросли густые, но он видит, что сквозь них просвечивают поля. Зеленые, ржавые и желтые. Пастбища, хлеба, стерня. Это-то он знает. Еще не кончился август.

Стоило замереть вдали шуму поезда, и Джексон понимает: вокруг вовсе не та идеальная тишина, которую он себе представлял. Кругом хватает

беспорядка — то шуршат без ветра сухие августовские листья, то начинают браниться хором невидимые птахи.

Прыгнув с поезда, ожидаешь полной отмены всего. Тело начеку, колени готовы: ждешь входа в совершенно иные слои воздуха. Ожидаешь пустоты. А что получаешь вместо этого? Тебя затапливает новое окружение, требуя твоего внимания еще сильней, чем когда ты сидел в поезде и просто смотрел в окно. Что ты тут делаешь? Куда идешь? Ощущение, что за тобой следят какие-то совсем неведомые твари или вещи. Ощущение, что это ты — беспорядок. Окружающая жизнь делает про тебя выводы с непостижимых для тебя точек зрения.

Люди, которых Джексон встречал за последние годы, кажется, думали, что если человек родом не из большого города, то он деревенский. А это неправда. Между маленьким городом и деревней есть тонкие отличия, незаметные тому, кто сам не жил в маленьком городе. Джексон был сыном водопроводчика. Он сроду не бывал в конюшне, не пас коров, не скирдовал хлеб. И не топал, как сейчас, вдоль железнодорожных путей, которые словно забыли о своем прямом назначении — служить для перевозки людей и грузов — и

превратились в царство диких яблонь, колючих ягодных плетей, дикого винограда и ворон, единственных птиц, которых он мог опознать: они ругали его, сидя где-то высоко, невидимые. А вот и уж скользит между рельсов в полной уверенности, что Джексон не успеет на него наступить и убить. Джексон знает, что ужи безвредны, но все же такая наглость его раздражает.

Коровка джерсийской породы по кличке Маргарет-Роуз обычно как часы приходила к двери хлева, чтобы ее подоили. Утром и вечером. Белле не часто приходилось ее звать. Но сегодня утром корова очень сильно заинтересовалась чем-то — не то в ложбинке у края поля, не то в чаще, скрывающей железнодорожные пути по ту сторону забора. Корова услышала, как Белла свистит и зовет ее, и неохотно тронулась в путь. Но потом решила вернуться и посмотреть еще раз.

Белла поставила ведро и табуретку и зашагала через мокрую от утренней росы траву.

— Телуш-телуш!

Она звала корову отчасти увещевающе, отчасти сердито.

В чаще что-то шевельнулось. Мужской голос крикнул: «Не бойтесь!»

Еще чего. Неужели он думает, что она его

испугается? Пусть он лучше сам боится необезроженной коровы.

Он перелез через забор полосы отчуждения и помахал рукой, видимо полагая, что этот жест успокоит Беллу.

Но для Маргарет-Роуз это оказалось чересчур. Теперь она не могла не выступить. Она угрожающе вскинула маленькие, но грозные острые рога. Ничего особенного, но джерсийки могут преподнести неприятный сюрприз — такие они стремительные и своенравные. Белла позвала корову, чтобы отругать ее и успокоить незнакомца.

— Она вас не тронет. Только не двигайтесь. Она пугливая.

Лишь теперь Белла заметила, что у незнакомца за спиной мешок. Вот что напугало корову. Белла думала, что он просто прогуливается вдоль путей, но, значит, он куда-то идет.

— Она боится вашего мешка. Положите-ка его на минуту. Мне придется подогнать ее обратно к сараю, чтобы подоить.

Он повиновался и встал неподвижно.

Белла подогнала корову к стенке сарая, где остались табуретка и ведро.

— Теперь можете взять мешок! — крикнула она. И дружелюбно продолжала, пока незнако-

мец подходил ближе: — Только не машите им у нее на виду. Вы солдат, да? Если подождете, пока я подою, я вас покормлю завтраком. У нее дурацкое имя — очень неудобно кричать, когда зовешь. Маргарет-Роуз.

Женщина была коротенькая, плотная, с прямыми волосами, светлыми и уже седеющими, и детской челочкой.

— Это я придумала ей кличку, в честь принцессы, потому что коровой с самого начала занималась только я, — продолжала она, усаживаясь доить. — Я роялистка. Раньше была роялисткой. У меня каша сварена, стоит на печке сбоку, чтоб не простыла. Я сейчас быстро подою. Вы только, пожалуйста, зайдите за угол и подождите там, чтобы она вас не видела. Очень жалко, что я не могу предложить вам яиц. Мы раньше держали кур, но до них все время добирались лисы, и нам просто надоело.

«Мы». Мы раньше держали кур. Значит, где-то поблизости есть мужчина.

— Каша — это замечательно. Я вам с удовольствием заплачу.

— Не надо. Только отойдите за угол. А то она слишком интересуется вами и не отдает молоко.

Джексон зашел подальше за угол сарая. Сарай

сильно обветшал. Джексон заглянул в щель меж досками — посмотреть, какая у женщины машина, но увидел только старую двуколку и какие-то останки сельскохозяйственных приспособлений.

Видно было, что за хозяйством здесь стараются следить, но без особого успеха. Белая краска на доме вся облупилась и посерела. Одно окно заколочено досками, — видно, стекло разбилось. Ветхий курятник, — наверно, отсюда лисы таскали кур, как она сказала. Куча черепицы на земле.

Если в этом хозяйстве есть мужчина, то он либо инвалид, либо парализован ленью.

У дома проходила дорога. Перед домом — небольшое, обнесенное изгородью поле. Проселок. В поле паслась смирная с виду пегая лошадь. Зачем держать корову — понятно, а лошадь? Еще до войны фермеры начали избавляться от лошадей и пересаживаться на трактор. А эта женщина явно не из тех, кто станет гарцевать верхом забавы ради.

Тут до него дошло. Двуколка в сарае. Это не обломок старины, а единственный доступный женщине транспорт.

Он уже давно заслышал какой-то странный звук. Дорога уходила в горку, и с другой стороны этой горки доносилось цоканье. А с ним какое-то

журчание или посвистывание.

Вот оно. На вершине холма показался ящик на колесах, который тянули две очень маленькие лошадки. Меньше той, которая паслась на поле, но не в пример живее. А в ящике сидели человечки. Их было пять или шесть — все одетые в черное, с чопорными черными шляпами на головах.

Звук исходил от них. Это они пели. Небольшими, высокими голосками. Сладостные звуки. Человечки даже не глянули на него, проезжая мимо.

Он стоял как вкопанный. Что там двуколка в сарае и лошадь в поле по сравнению с этим.

Он все стоял на месте, глядя то в одну, то в другую сторону, когда женщина позвала его:

— Все, подоила.

Она стояла у дома.

— Вот через эту дверь надо ходить. — Она указала на заднюю дверь дома. — Переднюю еще зимой заклинило. Не открывается, и все. Словно примерзла и до сих пор не оттаяла.

Они прошли по доскам, лежащим прямо на неровном земляном полу. В помещении было темно от заколоченного окна. И холодно — не теплей, чем в лощине, где он спал ночью. Он несколько раз просыпался, стараясь скрючиться

так, чтобы согреться. Но женщина явно не мерзла. От нее исходил запах здорового труда и еще какой-то — похоже, коровьей шкуры.

Она перелила свежее молоко в миску и прикрыла лежащим рядом куском марли, а затем повела Джексона в жилую часть дома. На окнах не было занавесок, и через них лился свет. Дровяную печь недавно топили. Здесь была раковина с ручным насосом, стол, покрытый клеенкой, местами продранной до дыр, и диван под старым лоскутным одеялом.

И еще подушка, из которой лезли перья.

В целом неплохо, несмотря на заметную старость и потертость. Все предметы, лежащие на виду, явно пригодны к использованию. Но, подняв глаза, он увидел на полках штабеля газет, журналов или каких-то бумаг — до самого потолка.

Конечно, он спросил, не боится ли она пожара. У нее же дровяная печь.

— О, но я всегда тут. То есть я тут сплю. Это единственное место в доме, где можно законопатиться от сквозняков. Я очень бдительная. У меня даже сажа в трубе ни разу не горела. Только пару раз труба перегревалась, но я сразу посыпала ее содой. Ничего особенного. К тому же мама тут

была. В других комнатах она бы не устроилась так удобно. Я и ее кровать тут поставила. Я за всем смотрела. Мне приходило в голову перенести все бумаги в гостиную, но там на самом деле очень сыро, и они все испортились бы.

Потом она сказала, что должна была сразу объяснить:

— Мама умерла. В мае. Как раз когда потеплело. Она успела услышать по радио, что война кончилась. Она все понимала. Уже давно не могла говорить, но понимала хорошо. Я так привыкла, что она молчит, — мне иногда кажется, что она до сих пор тут, но ее нет, конечно.

Джексон понял, что следует выразить сочувствие.

— Ну что поделаешь. Это должно было случиться рано или поздно. Хорошо хоть, что не зимой.

Она положила ему овсянки и налила чаю.

— Не слишком крепкий? Чай-то?

Он с полным ртом помотал головой.

— Я никогда не экономлю на чае. Если уж до такого дойдет, лучше просто кипяток пить. Правда, прошлой зимой, когда мороз был, мы все-таки сидели без чая. Света не было, радио не работало, и чай кончился. Когда я выходила доить, то привязывала веревку к задней двери, чтобы за

нее держаться. Я хотела завести Маргарет-Роуз в заднюю кухню, но решила, что она вся изнервничалась из-за метели и я ее просто не удержу. Но она выжила. Мы все выжили.

Воспользовавшись паузой, он спросил, не живут ли в округе карлики.

— Я не замечала.

— Они ездят в тележке.

— А! Они пели, да? Это меннонитские мальчишки. Они ездят на телеге в церковь и поют всю дорогу. Девочки должны ездить в двуколке с родителями, а мальчикам разрешают ехать на телеге.

— Они меня как будто не заметили.

— Да, у них такая манера. Я всегда говорила маме, что мы живем в правильном месте, ведь мы совсем как меннониты. Ездим на двуколке с лошадью, пьем молоко непастеризованным. Разве что петь не умеем. Когда мама умерла, они принесли так много еды, что мне хватило на несколько недель. Наверно, думали, что будут поминки. Мне повезло с соседями. Правда, я себе говорю, что и им со мной повезло, — им положено заниматься благотворительностью, а я тут рядом, практически у них на пороге, и если уж если кто нуждается в помощи, так это я.

После еды он протянул ей деньги, но она замахала на него руками.

Вот что, сказала она. Может быть, он перед уходом сможет починить водопойное корыто для скота.

Оказалось, что корыто надо делать заново, и Джексону пришлось перерыть все хозяйство в поисках материалов и инструментов. Это заняло у него весь день. На ужин он получил блинчики с меннонитским кленовым сиропом. Она сказала, что, приди он на неделю позже, и она угостила бы его свежесваренным вареньем. Она собирает ягоды в зарослях у железной дороги.

Они сидели на стульях снаружи у задней двери, пока не село солнце. Белла — женщину звали Белла — рассказывала о том, как получилось, что она поселилась тут, и он слушал, но не очень внимательно — он смотрел по сторонам и думал о том, как запущено здешнее хозяйство. Запущено, но не безнадежно, если кто-нибудь поселится тут и твердо решит его восстановить. Понадобится вложение денег, но еще больше — времени и сил. Нелегкая, но достойная задача. Он почти пожалел, что должен идти дальше.

Другая причина, по которой он не слишком внимательно слушал рассказ Беллы, заключа-

лась в том, что рассказ был о ее жизни, которую Джексон никак не мог себе вообразить.

Ее отец — она звала его папочкой — когда-то купил этот дом как летнюю дачу, а потом решил, что они вполне могут жить тут и зимой. Он мог работать откуда угодно, потому что был журналистом — писал колонку для газеты «Торонто ивнинг телеграм». Почтальон забирал написанное и отправлял поездом в редакцию. Папочка писал про все подряд, что вокруг происходило. И про Беллу тоже — он называл ее Кошечкой. Иногда упоминал и мать Беллы, под именем «княгиня Казамассима»: это из книжки, название которой уже давно никому ни о чем не говорит, объяснила она.[10] Вероятно, именно из-за матери они стали жить в этом доме круглый год. В ужасную эпидемию 1918 года, когда столько народу умерло, мать тоже заболела испанкой и после болезни стала очень странной. Она не то чтобы онемела — она еще могла выговаривать многие слова, но многие и утратила. Или они утратили ее. Ей пришлось с самого начала учиться есть ложкой и ходить в туалет. Помимо всего прочего, ей пришлось заново привыкать ходить в одежде

---

[10] Примечания: 10
Имеется в виду роман Генри Джеймса «Княгиня Казамассима» (1886).

в жаркую погоду. Конечно, нельзя было допускать, чтобы она сбежала из дому и оказалась посмешищем толпы на городской улице.

На зиму Беллу отправляли в школу. Школа носила имя епископа Строна — то, что Джексон никогда о ней не слышал, очень удивило Беллу. Она сказала по буквам, как это пишется. Школа располагалась в Торонто, и там училась куча богатых девочек, но много было и девочек вроде Беллы, которые получили деньги на учебу от родственников или по завещанию. В этой школе ее научили задирать нос, сказала она. И не дали никакого понятия о том, чем она будет зарабатывать себе на жизнь.

Но за нее решил случай. Ее отец гулял по железнодорожным путям — он любил это делать летними вечерами — и попал под поезд. Когда это случилось, Белла с матерью уже легли спать, и Белла сначала подумала, что, должно быть, какая-нибудь фермерская скотина забрела на рельсы, но мать ужасно стонала, как будто уже знала, что произошло.

Одна школьная подруга Беллы по временам писала ей и спрашивала, чем Белла вообще может тут заниматься. Но что она понимала, эта подруга? Белле нужно было доить корову, готовить

еду и ухаживать за матерью. И за курами, тогда у них еще были куры. Она научилась разрезать картошку так, что на каждой части был свой глазок, и сажать ее, а в конце лета выкапывать. Она не умела водить, а потому продала папочкин автомобиль, когда началась война. Меннониты отдали ей лошадь, которая уже не годилась для полевых работ, и научили запрягать и править.

Старая подруга, по имени Робин, приехала в гости и заявила, что такая жизнь — чистая нелепость. Робин хотела, чтобы Белла вернулась в Торонто, но как же мать? Мать к этому времени сильно притихла, перестала срывать с себя одежду и с удовольствием слушала радио. Оперу, что передавали вечером в субботу. Конечно, она то же самое могла бы делать и в Торонто, но Белле не хотелось срывать ее с насиженного гнезда. Робин сказала, что Белла заботится о себе самой — это она боится покидать насиженное гнездо. Потом она, Робин, уехала и поступила в женскую армию — тогда это так называлось.

Первым делом он взялся за обустройство комнат, чтобы с наступлением холодов можно было спать не только на кухне. Еще надо было вывести мышей и даже крыс, которых надвигающийся холод как раз погнал в дом. Он спросил Беллу,

почему она не завела кошку, и Белла ответила с присущей ей причудливой логикой. Она сказала, что кошка вечно убивала бы кого-нибудь и притаскивала трупики, чтобы показать ей, а у нее не было никакой охоты на них смотреть. Он прислушивался к лязгу мышеловок и быстро избавлялся от пойманных мышей, пока Белла не видела. Он долго объяснял Белле, что кухня, в которой полно бумаг, очень опасна, просто ловушка на случай пожара, и Белла согласилась перенести их в гостиную, если там не будет сыро. Это стало его главной задачей. Он вложил деньги в обогреватель, починил стены и уговорил Беллу снять все бумаги с полок на кухне, перечитать их, разложить по порядку и разместить на сделанных им полках в гостиной — у нее на это ушел почти месяц.

Белла сказала, что в бумагах — рукопись книги, над которой работал ее отец. Иногда она называла книгу романом. Джексону не приходило в голову расспрашивать про книгу, но однажды Белла сама сказала ему, что там написано про двух людей, которых звали Стефан и Матильда. Исторический роман.

— Ты хорошо знаешь историю?

Он проучился в старших классах пять лет, с

приличными оценками, особенно по тригонометрии и географии, но из истории почти ничего не запомнил. Да и вообще, в выпускном классе ему ничего не лезло в голову, кроме того, что скоро ему идти на фронт.

— Не назубок, — сказал он.

— Ну, если бы ты ходил в школу имени епископа Строна, ты бы знал ее назубок! Тебе бы намертво вдолбили все даты и факты. Во всяком случае, те, что касаются английской истории.

Она рассказала, что Стефан был героем. Доблестный человек, слишком благородный для своего времени. Из тех редких людей, что думают не только о себе и не ищут случая нарушить данное ранее слово, как только представится момент получить от этого выгоду. В общем и целом Стефан не добился успеха.

И Матильда. Она была из прямых потомков Вильгельма Завоевателя, высокомерная и жестокая, что неудивительно. Хотя находятся люди, у которых хватает глупости ее защищать — только потому, что она женщина.

— Если бы отец успел закончить, это был бы прекрасный роман.

Джексон, конечно, знал, откуда берутся книги. Их пишут люди, садятся и пишут. Книги не

появляются просто так, из ниоткуда. Но зачем? Вот вопрос. Книг на свете и без того полно. Две книги Джексон проходил в школе. «Повесть о двух городах» и «Гекльберри Финна». Обе были написаны заковыристым языком, над которым приходилось попотеть. Но ничего удивительного. Ведь их написали давным-давно.

Но чего он не мог понять — хоть и не собирался говорить об этом вслух, — так это зачем кому-то нужно садиться и писать книгу сейчас. В наше время.

«Это трагедия», — отрывисто сказала Белла, но Джексон не знал, имеет она в виду судьбу своего отца или судьбу людей в книге, которую он недописал.

Как бы там ни было, он привел гостиную в жилой вид, а затем сосредоточился на крыше. Что толку ремонтировать комнату, если крыша над ней никуда не годится и через пару лет в комнате снова нельзя будет жить. Ему удалось залатать крышу, так что ее должно было хватить еще на пару зим, но он не мог гарантировать, что она продержится дольше. Он по-прежнему собирался сняться с места еще до Рождества.

У меннонитских семей, живущих на соседней ферме, старшие дети все были девочки, а млад-

шим мальчикам — тем, которых он видел, — еще не под силу была тяжелая работа по хозяйству. Джексону удалось наняться в батраки на эту ферму, когда настала пора осенних полевых работ. Его сажали есть вместе со всеми, и он, к своему удивлению, обнаружил, что девчонки, накладывая ему еду, хихикают и стреляют глазками — вовсе не такие бессловесные, как он ожидал. Матери присматривали за ними, а отцы — за ним. Его радовало, что он сумел угодить обеим группам родителей. Они поняли, что в нем ничто не шелохнется: он совершенно безопасен.

И конечно, с Беллой немыслимо было даже заикнуться ни о чем таком. Она, как он выяснил, была на шестнадцать лет старше его. Упомянуть об этом и даже пошутить на эту тему означало бы все погубить. Такая уж она была женщина, и такой уж он был мужчина.

Городок, куда они ездили за покупками, назывался Ориоль. Он располагался в противоположном направлении от того городка, в котором вырос Джексон. Джексон привязывал лошадь под навесом у Объединенной церкви, потому что на главной улице, конечно, никаких коновязей уже давно не было. Сперва он держался подальше от скобяной лавки и мужской парикмахерской.

Но потом понял кое-что — а должен был понять гораздо раньше, ведь он сам вырос в маленьком городке. Такие городки очень мало общаются между собой — за исключением дней, когда две сборные встречаются на бейсбольном поле или хоккейной площадке, и тогда толпа вокруг ревет, накручивая себя в искусственно созданной вражде. Если нужная вещь не продавалась в местных лавках, ехали в большой город. Так же поступали, если приходила нужда показаться врачу-специалисту, которого не было в городке. Джексон не встретил никого из знакомых, и никто не интересовался им самим, разве что лошадь оглядывали. Зимой и того не было, потому что подальше от городка дороги не чистили, и те, кто возил молоко на молокозавод или яйца в продуктовую лавку, пользовались конной тягой, точно так же, как они с Беллой.

Белла всегда старалась проехать мимо местного кинотеатра, чтобы посмотреть, какой фильм там идет, хотя и не собиралась в кино. Она очень много знала о фильмах и актерах, но ее знания отчасти устарели. Например, она могла точно сказать, на ком был женат Кларк Гейбл до того, как сыграл Ретта Батлера.

Скоро Джексон уже спокойно ходил стричься,

когда надо было, и закупал табак, когда табак у него кончался. Он теперь курил как фермер — делал себе самокрутки и никогда не закуривал в помещении.

Подержанные машины начали продаваться не сразу после войны, но, когда их можно стало купить — на рынке появились новые модели, и фермеры, заработавшие денег за войну, меняли на них старые с приплатой, — Джексон поговорил с Беллой. Их лошадке Веснушке уже было бог знает сколько лет, и она едва шла даже в самую пологую горку.

Оказалось, торговец автомобилями давно заметил Джексона, хоть и не ждал, что тот придет когда-нибудь.

— Я всегда думал, что вы с сестрой меннониты, просто одеваетесь по-другому, — сказал он.

Его слова отчасти выбили Джексона из колеи, но, во всяком случае, это было лучше, чем если бы их сочли мужем и женой. Он понял, как, должно быть, изменился и заматерел с годами и как трудно в нем теперь узнать человека, что когда-то спрыгнул с поезда, — тощего солдата с истерзанными нервами. А Белла, насколько он мог судить, в какой-то момент своей жизни застыла неподвижно и так и осталась взрослым

ребенком. Ее разговоры только подтверждали это впечатление — она все время перескакивала с одного на другое, из прошлого в настоящее и обратно. Казалось, она не видит разницы между последним походом в кино с отцом и матерью, последней поездкой в город с Джексоном и комическим случаем, когда корова Маргарет-Роуз, которая давно пала, пыталась поднять его, растерянного, на рога.

Летом 1962 года они поехали в Торонто — уже на своей второй машине. Конечно, ее тоже купили подержанной. Этой поездки они не планировали, и для Джексона она была не ко времени. Во-первых, он строил меннонитам новый сарай для лошадей — сами меннониты были заняты сбором урожая. Во-вторых, у него вот-вот должен был подоспеть собственный урожай овощей, который он заранее продал хозяину продуктового магазина в Ориоле. Но у Беллы появилось уплотнение в груди, ее не сразу уговорили показаться врачу, и вот теперь она должна была лечь на операцию в больницу в Торонто.

Белла беспрестанно повторяла: «Как все изменилось! Ты уверен, что мы до сих пор в Канаде?»

Но это было еще до того, как они миновали Китченер. Когда они выехали на новую скоростную

магистраль, Белла по-настоящему испугалась и стала просить Джексона, чтобы он нашел какую-нибудь боковую дорогу или вообще повернул домой. Он неожиданно для себя ответил резкостью — его тоже застал врасплох такой поток машин. После этого Белла замолчала и закрыла глаза — то ли устала просить, то ли молилась про себя. Он никогда раньше не видел, чтобы она молилась.

Даже утром перед выходом из дому она пыталась переубедить Джексона. Говорила, что уплотнение не растет, а рассасывается. Говорила, что теперь, с введением всеобщей медицинской страховки, люди только и делают, что бегают по врачам и превращают свою жизнь в одну длинную цепь трагедий — больниц, операций. И тем самым только удлиняют мучительный период в конце жизни, когда человек становится для всех обузой.

Когда они съехали с шоссе и оказались в городе, Белла успокоилась и приободрилась. Они выехали на Авеню-роуд, и, несмотря на обильные восклицания о том, как все изменилось, Белла на каждом углу замечала что-то знакомое. Вот многоквартирный дом, где жила одна учительница из школы епископа Строна. В цоколе дома была

мелочная лавочка, где продавались табак, молоко и газеты. Вот странно было бы, сказала Белла, если бы можно было зайти туда и, как раньше, купить «Телеграм» и увидеть не только имя отца, но и его фотографию, снятую давно, когда он еще не начал лысеть.

Потом она слегка вскрикнула и указала в боковую улицу, где стояла та самая церковь — она готова была поклясться, что это та самая, — в которой венчались ее родители. Они однажды специально сводили Беллу туда, чтобы показать, хотя и не ходили в эту церковь. Они вообще не ходили в церковь, были далеки от этого. Для них это была своего рода шутка. Отец сказал, что они венчались в подвале, а мать — что в ризнице.

Мать тогда еще могла говорить не хуже любого другого человека.

Может быть, по тогдашним законам обязательно было венчаться в здании церкви, иначе брак был недействителен.

На улице Эглинтон они увидели знак у входа в метро.

— Подумать только, я ни разу не ездила на метро!

Она произнесла эти слова с какой-то смесью боли и гордости.

— Только подумать, до чего я невежественна.

В больнице ее уже ждали. Она держалась все так же оживленно, рассказывала медсестрам о том, как испугалась дорожного движения, и о том, как все изменилось, и спрашивала, по-прежнему ли в универмаге Итона так роскошно украшают витрины к Рождеству. И существует ли еще газета «Телеграм»?

— Вам бы проехать через китайский квартал, — сказала одна медсестра. — Вот это зрелище!

— Я его приберегу на тот день, когда мы поедем домой. — Тут Белла слегка засмеялась и добавила: — Если, конечно, я попаду домой.

— Ну, не выдумывайте.

Другая медсестра в это время спрашивала у Джексона, где он оставил машину, и объясняла, куда можно ее поставить, чтобы его не оштрафовали. Еще она рассказала ему про жилье для иногородних родственников больных — это гораздо дешевле, чем снимать номер в гостинице.

Ему сказали, что Беллу теперь уложат в постель. Ее посмотрит врач, а Джексон может вернуться попозже и пожелать ей спокойной ночи. Но к этому времени она, возможно, будет плоховато соображать из-за наркоза.

Белла это услышала и заметила, что она всю

жизнь плоховато соображает, так что Джексона это не удивит, и все посмеялись.

Медсестра дала ему какие-то бумаги на подпись. Над графой «Степень родства» он надолго задумался. И в конце концов написал: «Друг».

Вернувшись вечером, он действительно заметил в Белле перемену, хотя дело было не в том, что она плохо соображала. На нее надели какой-то зеленый тряпочный мешок, открывающий шею и почти полностью руки. Он редко видел Беллу в такой открытой одежде и не замечал раньше, как торчат у нее натянутые жилы между подбородком и ключицами.

Она злилась, что у нее пересохло в горле.

— Они мне ничего не дают, только воду по капле, скупердяи.

Она просила, чтобы он пошел и купил ей кока-колы, — насколько он знал, она никогда в жизни не пробовала кока-колы.

— Там в конце коридора автомат — должен быть автомат. Я вижу, как оттуда идут люди с бутылками в руках, и мне так хочется пить!

Он сказал, что не может нарушить распоряжение врачей.

У нее на глазах появились слезы, и она капризно отвернулась:

— Я хочу домой.

— Скоро поедем.

— Помоги мне найти мою одежду.

— Не могу.

— Если ты не хочешь, я сама ее найду! И сама доеду до вокзала.

— К нам больше не ходят пассажирские поезда.

Тут она мгновенно забыла о побеге и через несколько секунд уже вспоминала свой дом, перечисляя все улучшения, сделанные ими — точнее, в основном Джексоном. Снаружи дом сверкает белой краской. Они даже заднюю кухню побелили и настелили в ней дощатый пол. Перекрыли крышу, заново сделали окна — в простом старинном стиле, и самое главное, самая большая гордость — уборная внутри дома, невероятное счастье, особенно зимой.

— Если бы ты тогда не появился, я бы скоро погрузилась в полнейшую разруху.

Он подумал, что к его приходу она уже жила в полнейшей разрухе, но промолчал.

— Когда выйду отсюда, обязательно сделаю завещание, — сказала она. — Все оставлю тебе. Чтобы твой труд не пропал даром.

Конечно, он уже об этом думал, и можно было

бы ожидать, что перспективы стать домовладельцем принесут ему трезвое удовлетворение. Раньше он выразил бы искреннюю, заботливую надежду, что с ней еще долго ничего не случится. Но теперь он ничего такого не чувствовал. Теперь ему казалось, что все это имеет очень мало отношения к нему, происходит где-то далеко.

Она снова принялась жаловаться:

— О, как ужасно хочется оказаться дома, а не тут.

— Когда проснешься после операции, то сразу почувствуешь себя лучше.

Впрочем, судя по всему, что он слышал, это было чистое вранье.

Внезапно он понял, что чудовищно устал.

Он был ближе к истине, чем ожидал. Через два дня после удаления опухоли Белла сидела в другой палате и радостно приветствовала его. Ее, кажется, совсем не беспокоили стоны соседки по палате, доносящиеся из-за ширмы. Вчера точно так же стонала сама Белла — ему так и не удалось заставить ее открыть глаза или хоть как-то отреагировать на его присутствие.

— Не обращай на нее внимания, — сказала Белла. — Она в полной отключке. Наверняка ничего не чувствует. Она завтра придет в себя и будет

как новенькая. Или не придет.

В ее голосе звучала уверенность видавшего виды старожила — черствость бывалого человека и немалое довольство собой. Она сидела в кровати и пила через соломинку что-то ярко-оранжевое. Выглядела она гораздо моложе той женщины, которую он совсем недавно привез в больницу.

Она спрашивала, высыпается ли он, нашел ли, где можно вкусно поесть, не слишком ли жарко для прогулок и выкроил ли он время для посещения Королевского Онтарийского музея (ей казалось, что она раньше советовала ему посетить этот музей).

Но она не могла сосредоточиться и понять его ответы. Казалось, она повергнута в состояние изумления. Сдерживаемого изумления.

— О, я должна тебе рассказать, — вдруг перебила она, когда он начал объяснять, почему так и не добрался до музея. — Ой, только не пугайся. У тебя такое лицо, ужасно смешное, я начну хохотать, и у меня заболят швы. Господи, почему же мне хочется смеяться? Это ужасно печально, то, что я хочу тебе рассказать, это трагедия. Мой отец, ну, ты знаешь, я тебе рассказывала про моего отца…

Джексон заметил, что она стала говорить не «папочка», а «отец».

— Мой отец и моя мать…

Она, кажется, не нашла нужных слов и начала рассказывать с самого начала:

— Наш дом тогда был в лучшем состоянии, чем когда ты первый раз его увидел. Ну естественно. Мы использовали ту комнатку на втором этаже как ванную. Конечно, воду приходилось носить наверх, а потом вниз. Уже позже, когда ты появился, я начала мыться внизу. В той комнате, где были полки, бывшей кладовой для продуктов, ну, знаешь?

Как он может не знать, если сам снял полки в кладовой и сам оборудовал там ванную комнату?

— Впрочем, какая разница! — сказала она, словно услышав его мысли. — В общем, в тот день я нагрела воду и отнесла ее наверх, чтобы обмыться мокрой губкой. И разделась. Ну естественно. Над раковиной было большое зеркало. Понимаешь, там была раковина, как в настоящей ванной, только, помывшись, надо было выдернуть пробку и выпустить воду в ведро. А туалет был в другом месте. В общем, ты понял. И вот я начала мыться и, конечно, перед этим разделась догола. Было, наверно, часов девять вечера и еще совсем светло. Я сказала, что было лето? А та

комнатка выходила на запад.

И тут я услышала шаги. Конечно, это был папочка. Мой отец. Он, наверно, закончил укладывать маму в постель. Я слышала, как он поднимается по лестнице, и заметила, что шаги звучат как-то тяжело. Необычно. Очень решительно. А может, мне задним числом так показалось. Задним числом часто все драматизируешь. Шаги остановились прямо рядом с дверью ванной комнаты, но я, кажется, ничего не подумала. Может быть, подумала: «Наверно, он очень устал». Я не закрыла дверь на задвижку, потому что, ты понимаешь, у нас не было никакой задвижки. Просто, если дверь была закрыта, мы знали, что ванная занята.

В общем, он остановился у двери, но я ничего такого не подумала, и вдруг он распахнул дверь и так стоял там и смотрел на меня. Я хочу сказать, чтобы ты правильно меня понял. Он смотрел на всю меня, не только на мое лицо. Я стояла лицом к зеркалу и он смотрел на меня в зеркале и на меня со спины, на то, что мне было не видно. Ненормальным взглядом.

Я скажу тебе, что я тогда подумала. Я подумала: «Он ходит во сне». Я не знала, что делать, потому что человека, который ходит во сне, нельзя бу-

дить и пугать.

Но потом он сказал: «Извини», и я поняла, что он не спит. Но он говорил очень странным голосом — таким до жути необычным, как будто я была ему противна. Или как будто он на меня сердился. Не знаю. Потом он оставил дверь открытой и ушел по коридору. Я вытерлась, надела ночную рубашку, легла в постель и сразу уснула. Утром, когда я проснулась, вода от моего мытья так и оставалась в той комнате, и мне не хотелось туда идти, но пришлось.

Все было вроде совсем как обычно, и папа уже вовсю стучал на пишущей машинке. Он только прокричал мне: «Доброе утро!» — а потом спросил, как пишется какое-то слово. Он часто спрашивал меня, как пишется то или другое слово, потому что я всегда лучше его это знала. И я продиктовала ему по буквам, а потом сказала, что если он хочет быть писателем, то должен научиться писать без ошибок. Что для писателя это позор. Но в тот же день, чуть позже, когда я мыла посуду, он подошел и встал прямо у меня за спиной, и я похолодела. Но он только сказал: «Белла, прости меня». А я подумала: «Лучше бы он этого не говорил». Его слова меня испугали. Я знала, что он в самом деле раскаивается, но этими сло-

вами он вытаскивал на свет то, что произошло, и я больше не могла делать вид, что ничего не случилось. И я только сказала: «Ничего», но не могла заставить себя говорить спокойным голосом, как будто и вправду ничего страшного не было.

Просто не могла. Я должна была дать ему понять, как он все изменил. Я вышла, чтобы выплеснуть воду от мытья посуды, а потом занялась каким-то другим делом и больше не сказала ни слова. Потом я подняла маму от послеобеденного сна, приготовила ужин и позвала отца, но он не пришел. Я сказала матери, что он, наверно, пошел погулять. Он часто так делал, когда у него кончалось вдохновение. Я нарезала маме еду на кусочки, но все это время у меня не шли из головы разные отвратительные вещи. В основном звуки, которые порой доносились из их спальни, — тогда я накрывала голову чем-нибудь, чтобы не слышать. И теперь я смотрела на мать, которая сидела и жевала ужин. Я спрашивала себя, что она об этом думает и понимает ли вообще, что происходит.

Я не знала, куда он мог деваться. Я приготовила маму ко сну, хотя обычно этим занимался он. Потом я услышала, как приближается поезд, а потом — шум, крики и визг тормозов, и, наверно,

поняла, что случилось, хотя и не могу сказать, когда именно поняла.

Я тебе уже рассказывала. О том, что он попал под поезд.

Но теперь я рассказываю тебе и это. И не для того, чтобы тебя шокировать. Сначала все это было для меня невыносимо, и я заставляла себя думать, что он шел по путям, задумался о своей работе и не услышал поезда. Официальная версия звучала именно так. Я не собиралась признавать, что все произошло из-за меня, или думать о том, из-за чего все произошло на самом деле. Из-за секса.

Теперь я вижу. Теперь я понимаю, что произошло на самом деле, и еще понимаю, что никто не виноват. Просто так уж у людей устроен секс, плюс трагическое стечение обстоятельств. Я росла, а мама была такая, как была, а папочка, естественно, был такой, какой он был. И я не виновата, и он не виноват.

Люди должны признавать это — вот и все, что я хочу сказать. Должны быть места, куда можно пойти в такой ситуации. Не стыдясь и не чувствуя себя виноватым. Если ты думаешь, что я имею в виду публичные дома, то ты прав. Если ты думаешь, что я имею в виду проституток, то ты опять прав. Ты меня понимаешь?

Джексон, глядя поверх ее головы, сказал, что да.

— А теперь мне так легко. Не то что я уже не чувствую всей трагичности, но я теперь вне трагедии. Вот что я хочу сказать. Все это лишь ошибки человечества. Ты не думай, что если я улыбаюсь, то у меня нету сострадания. Я очень сострадаю. Но я должна сказать, что чувствую облегчение. Должна сказать, что я в каком-то смысле счастлива. Тебе было неловко все это слушать?

— Нет.

— Ты должен понимать, что я в ненормальном состоянии. Я это знаю. Я все вижу так четко. И так благодарна за это.

Во все время ее рассказа женщина на соседней кровати не переставала ритмично стонать. Эти стоны, словно рефрен, запечатлелись у Джексона в голове.

Он услышал в коридоре мягкие шаги медсестры — туфли на резиновой подошве — и понадеялся, что медсестра идет к ним в палату. Его надежды сбылись.

Медсестра сказала, что пришла дать Белле снотворную таблетку на ночь. Он боялся, что его заставят поцеловать Беллу на прощание. Он обратил внимание, что в больнице очень много

целуются. К счастью, когда он встал и начал прощаться, никто не упомянул о поцелуе.

— До завтра.

Он проснулся рано и решил до завтрака пройтись. Он спал хорошо, но сказал себе, что надо отдохнуть от больничного воздуха. Его не слишком беспокоила перемена, происшедшая с Беллой. Было вполне вероятно, что она вернется к норме — сегодня или через пару дней. И может быть, даже не вспомнит ту историю, которую ему рассказала. И это будет истинным благословением.

Солнце уже сильно поднялось, как и положено в это время года. В автобусах и трамваях было полно пассажиров. Он какое-то время шел на юг, потом свернул на запад, на улицу Дандас, и вскоре оказался в китайском квартале, про который уже столько слышал. Грузчики втаскивали в лавки ящики со знакомыми и совсем незнакомыми овощами и фруктами, а в витринах уже висели ободранные — видимо, съедобные — тушки каких-то мелких животных на продажу. Улицы полнились грузовиками, припаркованными против всяких правил, и пронзительной мешаниной речей на китайском языке, в которых было какое-то отчаяние. Китайский язык. Они вопили так, словно вели войну, но для них это, наверно,

был просто повседневный разговор. Джексону все же захотелось убраться подальше, и он зашел в ресторан. Рестораном заправлял китаец, но вывеска в витрине рекламировала обычный завтрак — яичницу с ветчиной. Выйдя из ресторана, Джексон хотел вернуться той же дорогой, какой сюда пришел.

Но вместо этого снова направился на юг. И оказался на улице, заставленной двухэтажными жилыми домами, высокими и узкими. Должно быть, их построили еще до того, как жители этого района ощутили необходимость парковать машины на дорожке, ведущей к дому. Еще до того, как жители этого района обзавелись машинами. Еще до изобретения машин. Он шел, пока не увидел указатель, гласящий: «Куин-стрит». Он слыхал про эту улицу. Он снова повернул на запад и через несколько кварталов уперся в препятствие. Перед пончиковой стояла толпа.

Люди сгрудились вокруг машины «скорой помощи», которая была развернута поперек тротуара и загораживала проход. Некоторые жаловались на задержку и громко спрашивали, законно ли вообще ставить машины «скорой помощи» на тротуаре. Другие были настроены вполне мирно и болтали между собой, строя ги-

потезы о том, зачем машина тут стоит. Возникло предположение, что кто-то умер, и одни зеваки принялись перечислять возможных кандидатов, а другие — говорить, что это единственная законная причина для «скорой помощи», чтобы тут стоять.

Наконец вынесли мужчину, пристегнутого к носилкам, — точно не мертвого, иначе его накрыли бы с головой. Но он был без сознания, лицо серое, как цемент. Вынесли его не из пончиковой, как шутливо предсказывали некоторые зеваки — намекая, конечно, на качество здешних пончиков, — а из главной двери здания. Это был пятиэтажный кирпичный дом вполне респектабельного вида, на первом этаже которого располагались та самая пончиковая и еще прачечная самообслуживания. Над парадной дверью было высечено название дома — оно как бы намекало на то, что владелец дома им очень гордится, а также на некие безумства в прошлом.

«Славный Данди».

Последним вышел человек, одетый не как работники скорой помощи. Он остановился и стал с отчаянием глядеть на толпу, которая уже собралась расходиться. Оставалось дождаться только повелительного воя, с которым машина унесется

вдаль по улице.

Джексон примкнул к тем зевакам, которым было лень уходить. Он бы не сказал, что его снедает любопытство по поводу происшедшего, — он просто ждал, когда наступит ожидаемый им неминуемый поворот, чтобы унести его туда, откуда он явился. Мужчина, вышедший из дома последним, подошел к Джексону и спросил, торопится ли он.

Нет. Не особенно.

Мужчина оказался владельцем здания. А тот, кого увезли на «скорой помощи», — управдомом.

— Мне нужно поехать в больницу — узнать, что с ним такое. Вчера еще было все в порядке. Ни одной жалобы. У него нет поблизости никакой родни, насколько я знаю. Некого позвать. А хуже всего то, что я не могу найти его ключи. Их не было ни при нем, ни в тех местах, где он обычно их держит. Поэтому мне надо съездить домой и привезти запасные, и я тут подумал, вы не могли бы приглядеть за домом на это время? Мне нужно и домой, и в больницу. Я бы попросил кого-нибудь из жильцов, но мне не хочется, если вы понимаете, о чем я. Не хочу, чтобы они приставали ко мне с расспросами, когда я сам еще ничего не знаю.

Он снова спросил, не против ли Джексон поде-

журить, и Джексон заверил его, что не против.

— Вы только поглядывайте на тех, кто входит в дом, требуйте, чтобы они предъявили ключи от квартиры. Скажите, что у нас чрезвычайная ситуация и что я скоро вернусь.

Он уже двинулся прочь, но обернулся:

— Вам, наверно, лучше присесть.

Рядом оказался стул, которого Джексон раньше не замечал. Сложенный и отставленный в сторону, чтобы «скорая» могла проехать. Складной, брезентовый, но вполне удобный. Джексон поблагодарил и уселся так, чтобы не мешать ни идущим мимо прохожим, ни жильцам дома. На него никто не обращал внимания. Он собирался сказать, что ему самому надо скоро возвращаться в больницу, что он не может тут долго сидеть. Но владелец дома спешил, у него были свои заботы, и тем более он сразу обещал, что постарается побыстрее.

Только усевшись на стул, Джексон понял, как много времени сегодня провел на ногах.

Владелец дома велел ему, если нужно, взять в пончиковой кофе или чего-нибудь поесть. «Просто сошлитесь на меня».

Но Джексон даже не знал, как его зовут.

Наконец хозяин дома вернулся и извинился

за то, что его так долго не было. Дело в том, что человек, которого увезли на «скорой», умер. Пришлось решать разные вопросы. И сделать новый набор ключей. Вот они. Нужно будет устроить что-то вроде поминок для жителей дома — для старожилов. И опубликовать некролог в газете, — может, еще кто-нибудь придет. В общем, хлопот полон рот.

Но ему было бы гораздо спокойнее. Если бы Джексон смог. Временно. Конечно, только временно.

Джексон услышал собственный голос:

— Да, нет проблем.

Если ему нужно время, чтобы уладить свои дела, это можно устроить. Так сказал этот человек, его новый работодатель. Сразу после похорон и распоряжения имуществом. Тогда Джексон сможет получить отпуск на несколько дней, чтобы разобраться с делами и перевезти вещи.

Джексон сказал, что не нужно. Его дела в порядке, а всех вещей у него — то, что на нем.

Конечно, это вызвало некоторые подозрения. Джексон не удивился, когда несколько дней спустя услышал, что хозяин ходил в полицию. Но, по-видимому, все обошлось. По данным полиции, он оказался типичным одиночкой — такие люди

иногда влипают в неприятности, но не виновны в нарушении закона.

Похоже, его вообще никто не искал.

Джексон обычно предпочитал жильцов постарше. И как правило, одиноких. Но не каких-нибудь ходячих мертвецов. Интересных людей. Можно сказать, одаренных. С талантом, который когда-то был замечен, позволил своему обладателю зарабатывать на жизнь, но оказался недолговечным. Диктор, чей голос был знаком всем радиослушателям во время войны, а сейчас у него отказали голосовые связки. Большинство людей, наверно, думают, что он вообще умер. Но вот он, пожалуйста, живет в однокомнатной квартире, следит за новостями и выписывает «Глоб энд мейл», а прочитанные выпуски отдает Джексону — вдруг там найдется что-нибудь для него интересное.

Однажды нашлось.

«Марджори Изабелла Трис, дочь Уилларда Триса, долгое время работавшего колумнистом в „Торонто ивнинг телеграм“, и его жены Хелены Трис (урожденной Эбботт), давняя подруга Робин Форд (урожденной Шиллингем), скончалась от рака после долгого мужественного сопротивления болезни. Просьба перепечатать в газете Ориоля. 18 июля 1965 года».

Где она все это время жила, в газете не говорилось. Наверно, в Торонто, раз Робин фигурирует в некрологе. Она протянула дольше, чем он предполагал, и, может быть, даже была окружена значительными удобствами и сохраняла бодрость духа. Не до самого конца, разумеется. У нее был определенный дар — умение приспосабливаться к обстоятельствам. Возможно, она была в этом отношении талантливей Джексона.

Нельзя сказать, что он заставлял себя вспоминать комнаты, где жил с ней вместе, или ремонт, который проделал в ее доме. Не было необходимости — все это и так приходило к нему во сне, и тогда вызывало скорее досаду, чем тоску, — словно ему нужно было немедленно доделать что-то незаконченное.

Жильцы «Славного Данди» обычно пугались любого ремонта — боялись, что за ним последует повышение квартплаты. Но Джексон умел их уговорить: он держался уважительно и обладал финансовой сметкой. Дом стал ухоженным, и появилась даже очередь желающих в нем поселиться. Владелец опасался, что дом станет приютом для старых маразматиков. Но Джексон ответил, что они обычно аккуратней других людей, а от стариков можно не опасаться буйно-

го поведения. В доме жили разные люди, в том числе женщина, которая когда-то играла в Торонтовском симфоническом оркестре, изобретатель, которому пока не удалось достичь успеха, но он не терял надежды, и венгерский актер-беженец, которому не давали работы из-за иностранного акцента, но все же где-то в мире шел рекламный ролик с его участием. Все они были образцовыми жильцами и как-то умудрялись наскрести денег, чтобы просиживать полдня в ресторане «Эпикур», рассказывая друг другу о своей жизни. Еще у них были друзья, по-настоящему знаменитые, которые время от времени забредали в гости. И конечно, не следовало пренебрегать тем фактом, что в «Славном Данди» был и свой священник, — правда, его отношения с церковью (никому не известной конфессии, к которой он принадлежал) оставляли желать лучшего, но все же он никогда не отказывал в совершении нужных обрядов.

Жильцы завели обыкновение оставаться в доме до того дня, когда этот самый священник провожал их в последний путь. Но это было всяко лучше, чем если бы они исчезали, не уплатив за квартиру.

Исключение составила молодая пара — Кэндис

и Куинси, — которая так и не уплатила по счету и сбежала среди ночи. Оказалось, что квартиру им сдал лично владелец дома. Свой опрометчивый выбор он объяснил тем, что хотелось видеть в доме свеженькое личико. Он имел в виду, конечно, Кэндис, а не ее дружка. Дружок был козел.

Стоял жаркий летний день, и Джексон оставил открытыми двойные задние двери черного хода: он лакировал стол и хотел хоть как-то проветривать. Красивый стол достался Джексону за гроши, потому что лак совсем облез. Джексон решил, что стол будет хорошо смотреться в вестибюле — на него можно класть почту.

Джексону не надо было присутствовать в конторе — там сейчас сидел сам владелец и проверял платежи.

Звонок на парадной двери едва слышно звякнул. Джексон уже собирался встать и начал обтирать кисть — вдруг домовладелец погружен в расчеты и не захочет прерываться. Но нет, все в порядке: Джексон услышал звуки открываемой двери и женский голос. Голос был предельно усталый, но в нем все же сохранялись остатки шарма и абсолютная уверенность: что бы ни сказала владелица голоса, все люди в пределах слышимости будут покорены.

Она, должно быть, унаследовала эту способность от своего отца, проповедника. Джексон успел это подумать, прежде чем к нему, как удар, пришло осознание.

Она сказала, что это самый последний известный ей адрес ее дочери. Она ищет свою дочь. Кэндис. Возможно, дочь путешествует с другом. Она, мать Кэндис, приехала сюда из Британской Колумбии. Из Келоуны, где живет с отцом девушки.

Илиана. Джексон безошибочно узнал ее голос. Эта женщина — Илиана.

Он услышал, как она спрашивает разрешения присесть. И как владелец подтаскивает к столу его, Джексона, стул.

В Торонто очень жарко — она не ожидала такой жары, хотя знает Онтарио, выросла тут.

Она очень вежливо попросила стакан воды.

Тут она, похоже, уронила голову на руки, потому что голос зазвучал приглушенно. Владелец вышел в вестибюль и бросил несколько монеток в автомат, чтобы взять банку «Севен-ап». Наверно, решил, что это больше подходит даме, чем кока-кола.

Он заглянул за угол, увидел, что Джексон слушает их разговор, и жестом пригласил его в контору,

видимо рассудив, что у Джексона больше опыта в общении с расстроенными жильцами. Но Джексон яростно замотал головой.

Нет.

Впрочем, она недолго расстраивалась.

Она извинилась перед владельцем дома, и он сказал, что жара играет с людьми такие шутки.

А что касается Кэндис. Они уехали, еще месяца не прошло — может, недели три назад. Адреса для связи не оставили.

— В таких случаях обычно адреса не оставляют.

Она поняла намек.

— О, конечно, я готова уладить…

Послышалось бормотание, зашелестели купюры.

Потом:

— Наверно, вы не можете мне показать, где они жили…

— Жильца квартиры сейчас нет. Но даже если бы он был дома… Не думаю, что он согласился бы.

— О, конечно. Это просто глупо с моей стороны.

— Вы что-то конкретное хотели увидеть?

— О нет. Нет. Огромное спасибо. Я отняла у вас

столько времени.

Она уже встала, и они пошли: из конторы, вниз по паре ступенек к парадной двери. Потом открылась дверь, и даже если женщина и прощалась, уличные шумы поглотили всякие звуки прощания.

Как бы она ни была разочарована, она не позволит себе потерять лицо.

Домовладелец вернулся в контору, и Джексон вышел из своего убежища ему навстречу.

— Сюрприз! Нам заплатили, — только и сказал домовладелец.

Он был напрочь лишен любопытства — во всяком случае, к чужим личным делам. Джексон очень ценил в нем это качество.

Конечно, Джексону хотелось бы на нее посмотреть. Теперь, когда она ушла, он почти жалел об упущенной возможности. Но он никогда не дойдет до того, чтобы спросить у домовладельца: «У нее до сих пор такие же темные, почти черные волосы? Она все еще высокая и стройная, с едва заметной грудью?» Дочь он почти не запомнил. Она была блондинка, но, скорее всего, крашеная. Кажется, ей не больше двадцати, но теперь иногда не поймешь. Плясала под дудку дружка. Сбежала из дома, сбежала от неоплаченных сче-

тов, разбила сердце родителям, и все ради этого угрюмого типчика.

Где это Келоуна? Где-то на западе. В Альберте или Британской Колумбии. И мать приехала в такую даль. Но, конечно, она всегда была настойчива. Оптимистка. Наверно, до сих пор такая. Она вышла замуж. Или дочь родилась вне брака — но это Джексону казалось крайне маловероятным. Илиана была уверена в себе — в том, что никаких трагедий в ее жизни больше не будет. И дочь наверняка такая же. Накушается свободы и вернется домой. Может, принесет в подоле, но теперь это даже модно.

Незадолго до Рождества 1940 года в школе послышался шум. Он донесся даже до третьего этажа, где все обычные шумы, доносящиеся с нижних этажей, как правило, тонули в грохоте пишущих машинок и арифмометров. Здесь занимались ученицы последнего класса: в прошлом году они изучали латынь, биологию и европейскую историю, а теперь — машинопись.

Среди этих девушек была Илиана Кардинал — как ни странно, дочь священника, хотя кардиналов в Объединенной церкви, к которой принадлежал ее отец, не было. Илиана приехала в город с родителями и пошла в девятый класс и

с тех самых пор, пять лет, сидела позади Джексона Ивенса, так как учеников рассаживали по алфавиту. К этому времени все одноклассники уже привыкли к феноменальной застенчивости и молчаливости Джексона, но для Илианы эти качества были новостью. В течение пяти лет она отказывалась признавать их и добилась того, что Джексон чуточку оттаял. Она одалживала у него ластики, стальные перья и линейки с циркулями для уроков геометрии — не столько для того, чтобы разбить лед, сколько из-за своей природной рассеянности. Илиана и Джексон подсказывали друг другу ответы на задачи и решали друг за друга контрольные. Встречаясь на улице, они здоровались, и для Илианы «Привет» Джексона не был нечленораздельным бормотанием: она различала в этом слове два слога, с отчетливым ударением на втором. Дальше этого их отношения не простирались, хотя у них завелись кое-какие общие шутки. Илиана не страдала застенчивостью, но была умной, отстраненной и не особенно популярной в школе, и это, может быть, вполне подошло бы Джексону.

Когда все выбежали посмотреть, что там за шум, Илиана с верхней ступеньки лестницы с удивлением узнала в одном из двух зачинщи-

ков Джексона. Вторым был Билли Уоттс. Ребята, что лишь год назад горбились над книжками и послушно плелись из одной классной комнаты в другую, преобразились. В военной форме они казались вдвое крупней себя прежних и чудовищно грохотали сапогами по полу. Они орали, что уроки на сегодня отменяются, потому что все должны идти на фронт. Они раздавали сигареты, точнее, разбрасывали их куда попало, и их подбирали с полу мальчишки, которые еще даже не брились.

Беспечные воины, гогочущие захватчики. Пьяные до изумления.

— Я не уклонист! — вот что они вопили.

Директор школы пытался выставить их вон. Но было еще только самое начало войны, и тех, кто записался и должен был идти на фронт, еще окутывал флер героизма, они вызывали особое уважение, и директор не смог обойтись с ними так коротко, как обошелся бы год спустя.

— Ну, ну, — повторял он.

— Я не уклонист, — сообщил ему Билли Уоттс.

Джейсон открыл рот, вероятно, чтобы произнести то же самое, но тут он встретился глазами с Илианой, и между ними возникло некое взаимопонимание.

Илиана Кардинал поняла, что Джексон в самом деле пьян, но это опьянение позволяет ему играть пьяного, то есть контролировать внешний эффект. (Билли же Уоттс был без затей пьян в стельку.) Обретя это понимание, Илиана с улыбкой сошла вниз по лестнице и приняла сигарету, которую зажала, не закуривая, меж пальцев. Она взяла под руки обоих героев и вывела их из школы.

Оказавшись снаружи, они закурили.

Позже среди паствы отца Илианы возникли разногласия. Одни прихожане утверждали, что Илиана на самом деле не курила свою сигарету, а только делала вид, чтобы умиротворить мальчиков, а другие утверждали, что все было по-настоящему. Она курила. Дочь их священника — курила.

Билли в самом деле обхватил Илиану руками и попытался ее поцеловать, но споткнулся, сел на ступеньки школьного крыльца и закукарекал петухом.

Ему оставалось жить меньше двух лет.

Но пока что его надо было доставить домой. Джексон кое-как поднял его, и они с Илианой закинули его руки себе на плечи и так дотащили до дому. К счастью, Билли жил недалеко от шко-

лы. Он уже отключился, и они сложили его на крыльцо дома. А потом завели разговор.

Джексон не хотел идти домой. Почему? Потому что там мачеха, сказал он. Он ненавидит свою мачеху. Почему? Просто так, нипочему.

Илиана знала, что мать Джексона погибла в автомобильной аварии, когда Джексон был еще совсем маленьким, — иногда этим объясняли его застенчивость. Он, наверно, преувеличивает оттого, что пьян, подумала Илиана, но не стала расспрашивать дальше.

— Ну ладно, — сказала она. — Можешь побыть у меня.

Так получилось, что мать Илианы в это время была в отъезде — сидела с больной бабушкой. А Илиана кое-как вела хозяйство, обихаживая отца и двух младших братьев. Некоторые считали это злосчастным стечением обстоятельств. Не то что ее мать была бы против, но она, по крайней мере, выяснила бы что и как. Что это за мальчик? И уж во всяком случае она проследила бы, чтобы Илиана ходила в школу.

Солдат и девушка внезапно очутились рядом. А раньше между ними не было ничего, кроме склонений и логарифмов.

Отец Илианы не обращал на них внимания. Он

интересовался войной больше, чем, по мнению некоторых прихожан, подобало священнику, и потому гордился, что в его доме живет солдат. Кроме того, отец страдал, что не может послать дочь в университет. Ему приходилось экономить, чтобы отправить учиться хотя бы ее братьев, ведь им придется зарабатывать себе на жизнь. Поэтому он прощал Илиане любые выходки.

Илиана и Джексон не ходили в кино. Не ходили они и на танцы. Они ходили гулять — в любую погоду, иногда затемно. Иногда они заходили в ресторан и пили кофе, но не заговаривали ни с кем. Что с ними было такое — может, начало влюбленности? На прогулках их руки порой случайно сталкивались, и Джексон заставил себя к этому привыкнуть. Потом Илиана перешла от случайных прикосновений к намеренным, и Джексон решил, что и к этому может привыкнуть, если преодолеет некоторое замешательство.

Он немного успокоился и был готов даже к поцелуям.

Илиана пошла домой к Джексону, забрать его вещмешок — одна. Мачеха Джексона осклабила ярко-белые вставные зубы и попыталась сделать вид, что намерена повеселиться.

Она спросила Илиану, чем это они занима-

ются.

— Вы там поосторожнее с этим делом, — сказала она.

У нее была репутация несдержанной на язык женщины. Точнее, любительницы сквернословить.

— Спроси, помнит ли он, что я мыла ему попку, — сказала она.

Пересказывая Джексону этот разговор, Илиана сказала, что держалась подчеркнуто вежливо: даже, пожалуй, чуть заносчиво, потому что терпеть не может эту женщину.

Но Джексон побагровел, словно отчаявшийся человек, загнанный в угол. Такое с ним бывало, если его спрашивали на уроке.

— Зря я вообще про нее заговорила, — сказала Илиана. — Но когда живешь в доме при церкви, то входит в привычку пародировать людей.

Он сказал, что ничего страшного.

Оказалось, что это последний отпуск Джексона. Они писали друг другу. Илиана писала, что закончила изучать машинопись и стенографию и устроилась на работу в мэрию. Она описывала происходящее в подчеркнуто сатирическом ключе — еще ехиднее, чем когда-то в школе. Может быть, она думала, что человеку на войне нужен

юмор. И еще она была якобы в курсе всех дел. Когда в мэрии регистрировался очередной поспешный брак, Илиана употребляла слова типа «девственная невеста».

Он писал о толпах народу на «Иль де Франсе» и о том, как корабль уворачивается от подводных лодок. Добравшись до Англии, он купил велосипед и рассказывал ей о разных местах в пределах досягаемости, куда ему удалось съездить.

Его письма были более прозаичны, чем у нее, но подпись всегда гласила: «С любовью». Когда союзные войска высадились в Европе, в переписке воцарилась пауза — Илиана назвала ее мучительной, но понимала ее причину, и когда он написал снова, все было хорошо, хотя ему нельзя было вдаваться в детали.

В этом письме он, как раньше она, заговорил о браке.

Наконец настал День Победы, и он отправился домой. Он писал Илиане о потоках падающих летних звезд над головой.

Илиана научилась шить. В честь его возвращения она шила новое летнее платье — из вискозного шелка цвета лайма, с юбкой-солнцем и рукавами-крылышками. К нему прилагался узкий золотой пояс из искусственной кожи. Или-

ана собиралась сделать ленту такого же цвета и прикрепить ее на тулью своей летней шляпки.

«Я пишу тебе так подробно, чтобы ты узнал меня и не помчался вслед за какой-нибудь другой красивой женщиной, которая случайно окажется на вокзале».

Он отправил ответное письмо из Галифакса. В письме говорилось, что он приедет вечерним поездом в субботу. И еще — что он помнит ее очень хорошо и не спутает ни с какой другой женщиной, даже если они будут кишмя кишеть на вокзале в этот вечер.

Вечером накануне его ухода они засиделись допоздна на кухне дома священника при церкви. На стене висел портрет Георга VI, который в тот год можно было увидеть повсеместно. Под ним была надпись:

Сказал я мужу, что стоял во вратах года: «Дай свет мне, чтобы я мог без страха идти в неведомое».

И он ответствовал: «Иди во тьму, влагая свою руку в руку Бога. Это будет лучше света и без-

опаснее знакомого пути».[11]

Потом они очень тихо поднялись наверх, и Джексон лег в гостевой спальне. Илиана пришла к нему — вероятно, по взаимной договоренности, но, возможно, Джексон не до конца понял, о чем именно они договаривались.

Катастрофа была полнейшей. Но, судя по тому, как вела себя Илиана, возможно, что она этого не поняла. Чем более катастрофичным было положение, тем упорней она продолжала. Он никакими силами не мог заставить ее остановиться, и объяснить тоже не мог. Разве это возможно, чтобы девушка так мало знала? Наконец они расстались — так, словно все прошло хорошо. На следующее утро они распрощались в присутствии ее отца и братьев. Вскоре началась их переписка.

В Саутгемптоне он напился и попробовал еще раз. Но женщина сказала: «Хватит, сынок, ты совсем никакой».

---

[11] Примечания: 11

Строки из стихотворения «Врата года» английской экономистки и философа Минни Луизы Хаскингс (1875–1957), процитированные Георгом VI в известной речи. По традиции британский монарх на Рождество обращается с речью к народу. Речь Георга VI, произнесенная на Рождество 1939 года, всего через несколько месяцев после начала Второй мировой войны, призывала британский народ к мужеству и выдержке.

Чего он не любил, так это когда женщины или девушки расфуфыривались. Перчатки, шляпки, пышные юбки, претензии. Но откуда ей было это знать? Цвет лайма. Джексон даже не знал, что это за цвет такой. Звучало похоже на кислоту.

Потом его осенило. Ведь ему не обязательно быть там, на вокзале.

Скажет ли она себе или кому-нибудь другому, что, наверно, перепутала дату? Он кое-как заставил себя поверить, что она, конечно, придумает какое-нибудь вранье. Она ведь так изобретательна.

Теперь, когда она ушла, Джексону вдруг хочется ее увидеть. Он никогда не сможет спросить у владельца дома, как она выглядела, темные у нее волосы или седые и худая она еще или растолстела. Голос у нее чудесным образом не изменился даже в отчаянии. Голос, притягивающий внимание к себе, к своим музыкальным перепадам, и в то же время сплетающий извинения.

Она приехала в такую даль. Но она всегда была упорной. Можно и так назвать.

А дочь ее вернется. Она слишком избалованна, чтобы бесприютно блуждать. Любая дочь Илианы должна быть балованной, привыкшей располагать мир и факты так, как удобно ей,

словно ничто не выбивает ее из седла надолго.

Если бы она его увидела, то узнала бы? Он решил, что да. Как бы он ни изменился. И простила бы его — прямо тут же, на месте. Чтобы поддержать свой образ в собственных глазах — как она это делала всегда.

На следующий день он был уже не так уверен, что Илиана, уйдя, окончательно исчезла из его жизни. Вдруг она поселится в городе, будет ходить взад-вперед по этим улицам, стараясь уловить еще не простывший след. Униженно — а на самом деле вовсе не униженно — наводить справки у людей вот этим умоляющим, но самоуверенным голосом. Может, Джексон столкнется с ней прямо здесь, у подъезда. И она удивится лишь на миг — словно всегда ожидала его тут встретить. Цепляясь за ушедшие возможности, словно ей по силам было повернуть время вспять.

Все можно отсечь — нужна только решимость. Когда он был совсем маленьким, лет шесть или семь, он так отсек дурачества своей мачехи. Она называла это «дурачиться» или «дразнить». Он выбежал на улицу, в темноту, и мачеха поймала его и привела обратно, но поняла, что, если не перестанет, он убежит по-настоящему, и перестала. И сказала, что с ним скучно, потому что не в силах

была признать, что кто-то может ее ненавидеть.

Он остался в доме под названием «Славный Данди» еще на три ночи. Он составил для владельца дома описание каждой из квартир и указал, что нужно будет сделать в этой квартире и когда. Он сказал, что его вызвали и ему надо ехать, но не объяснил куда и почему. Он снял все деньги со счета в банке и собрал свои скудные пожитки. Вечером — поздно вечером — он сел на поезд.

Ночью он то засыпал, то снова просыпался, и во время одного обрывка сна увидел мальчиков-меннонитов — они ехали мимо в телеге. Он слышал, как они поют тоненькими голосами.

Утром он слез с поезда в Капускасинге. Доносились запахи с лесопилок, и прохладный воздух подбодрил его. Конечно, тут будет для него работа — в городке лесорубов обязательно найдется работа.

С видом на озеро

Женщина идет к врачу, чтобы возобновить рецепт на лекарство. Но врача нет на месте. У нее сегодня выходной. Оказывается, женщина перепутала понедельник со вторником.

Именно об этом она собиралась поговорить с врачом, помимо возобновления рецепта. Ей кажется, что у нее в последнее время что-то с головой.

Она ждет, что доктор воскликнет недоверчиво: «У вас — и что-то с головой! Смешно!»

(Они с доктором не такие уж близкие друзья, но у них есть общие знакомые.)

Вместо этого на следующий день женщине звонит секретарша доктора — сообщить, что рецепт готов и что женщину — ее зовут Нэнси — записали на прием к врачу, который занимается проблемами мозговой деятельности.

У меня все в порядке с мозговой деятельностью. Просто я иногда кое-что забываю.

Не важно. Это специалист, который работает с пожилыми людьми.

В самом деле. Пожилыми людьми, которые съехали с катушек.

Секретарша смеется. Наконец-то хоть кто-то рассмеялся.

Она говорит, что этот врач принимает в деревне под названием Гименей, милях в двадцати от места, где живет Нэнси.

— О боже, специалист по вопросам брака, — говорит Нэнси.

Девушка не понимает, извиняется и переспрашивает.

— Не важно. Я туда подъеду.

Такая теперь мода. Врачи-специалисты разбросаны как попало. Компьютерная томография — в одном городке, онколог — в другом, пульмонолог в третьем и так далее. Это сделано для того, чтобы не ехать в клинику в большой город, но по времени выходит практически то же самое, поскольку не во всех городках врачи собраны в одном месте, и когда туда приезжаешь, то найти нужного доктора — целое дело.

Именно поэтому Нэнси решает съездить в деревню, где располагается Пожилой Специалист (так она его называет про себя), вечером накануне того дня, на который ее записали. Она сможет не торопясь выяснить, где принимает врач. Тогда в день приема она войдет в кабинет спокойно, а не запыхавшись от спешки, и тем более не

опоздает, сразу создав у врача неблагоприятное впечатление.

С ней мог бы поехать муж, но она знает, что он хотел посмотреть футбол. Муж — экономист; полночи он смотрит спортивные передачи по телевизору, а другую половину — работает над книгой. Хотя велит жене говорить, что он на пенсии.

Она говорит, что хочет найти кабинет доктора сама. Секретарша ее лечащего врача объяснила ей, как проехать в городок.

Вечер выдался дивный. Но когда женщина сворачивает с магистрали и едет на запад, низкое солнце бьет ей прямо в глаза. Если сесть на водительском сиденье очень прямо и задрать подбородок, можно устроиться так, чтобы глаза были в тени. Кроме того, у нее хорошие очки от солнца. Она видит дорожный указатель, который сообщает ей, что до деревни Гимми-Нейд восемь миль.

Гимми-Нейд. Значит, ее шутка оказалась неудачной. «Население — 1553 человека».

Почему они не округлили до десяти?

Каждая душа на счету.

У женщины есть привычка — примерять каждый маленький городок на себя, чтобы понять,

смогла бы она тут жить или нет. Этот, кажется, ничего. Приличных размеров рынок — здесь можно купить относительно свежие овощи, хотя они, скорее всего, будут не с окрестных полей. Кофе терпимый. Прачечная самообслуживания. Аптечно-хозяйственно-косметический магазин — здесь, во всяком случае, можно получить лекарство по рецепту, хотя выбор журналов небогат.

Судя по всему, городок знавал лучшие дни. Вот часы, которые уже не показывают время. Они висят над витриной с надписью: «Качественные ювелирные изделия», но, несмотря на вывеску, витрина заполнена чем попало — старым фарфором, керамическими кастрюльками, ведрами и скрученными из проволоки венками.

Женщина успевает частично разглядеть этот мусор, поскольку оставляет машину перед магазином. Она решает, что кабинет врача можно отыскать, пройдясь по улицам города. И действительно, скоро она видит темное кирпичное одноэтажное здание в утилитарном стиле прошлого века и почти уверена, что это оно и есть. Раньше врачи в маленьких городках вели прием в кабинетах прямо у себя на дому, но потом понадобились стоянки, где пациенты могли

бы оставлять свои машины, и врачи стали принимать вот в таких домиках. Темный, красновато-бурый кирпич. Конечно, вот и вывеска: «Медицина и стоматология». За зданием — стоянка для машин.

Имя врача у женщины в кармане. Она вытаскивает клочок бумаги, на котором оно записано. На матовом стекле наружной двери значится: «Доктор Г. У. Форсайт, стоматолог. Доктор Дональд Макмиллен, терапевт».

На бумажке, которую Нэнси держит в руках, ни одного из этих имен нет. И неудивительно — там вообще нет никаких имен, только цифры. Это размер обуви ее золовки, которая умерла. На бумажке написано: «О 7½». Ей не сразу удается разобрать написанное. «О» означает «Оливия», но буква нацарапана кое-как, в спешке. Нэнси лишь смутно припоминает что-то связанное с покупкой тапочек для золовки, когда та лежала в больнице.

Толку ей от этого никакого.

Вот и разгадка, — может быть, врач, к которому ее записали, только что переехал в это здание, а надпись на двери не успели поменять? Надо у кого-нибудь спросить. Позвонить в дверь — вдруг в здании до сих пор кто-нибудь есть, задержал-

ся на работе. Она жмет на кнопку, но никто не приходит — и в каком-то смысле это хорошо, поскольку фамилия доктора, которого она ищет, вдруг вылетела у нее из головы.

Еще одно объяснение. Возможно, что доктор — психдоктор, как она прозвала его про себя, — возможно, что он (или она — большинству людей ее поколения с ходу не придет в голову, что доктор может быть женщиной), что он или она принимает пациентов на дому? Это вполне оправданно и позволяет сэкономить деньги. Ведь для лечения психов не нужна какая-то особенная аппаратура.

Поэтому женщина продолжает идти прочь от главной улицы. Она уже вспомнила фамилию врача, которого ищет, — так всегда бывает, когда острая нужда миновала. Застройка этого района относится в основном к девятнадцатому веку. Одни дома деревянные, другие кирпичные. Кирпичные часто двухэтажные, деревянные поскромнее — полтора этажа, в верхних комнатах потолок под углом из-за скоса крыши. У некоторых входная дверь открывается всего в нескольких футах от тротуара. У других передняя дверь выходит на широкую веранду, иногда застекленную. Сто лет назад в такой вечер люди сидели бы на верандах или прямо на ступеньках

крыльца. Домохозяйки, что закончили мыть посуду и в последний раз за день подмели пол на кухне; мужчины, которые полили траву на газоне перед домом и смотали поливальный шланг. Тогда не было специальной садовой мебели, какая сейчас красовалась пустой на верандах. Сидели на ступеньках или притаскивали стулья из кухни. Беседовали о погоде, о сбежавшей лошади или о ком-нибудь из горожан, кто слег в постель и уже по всем прикидкам не должен был оттуда встать. И домыслы о ней самой, как только она отойдет подальше.

Но, наверно, они сразу успокоились бы, услышав ее вопрос: «Скажите, пожалуйста, где тут дом доктора?»

Новый предмет для разговора. Зачем это ей вдруг понадобился доктор?

(На этот раз она быстро убралась за пределы слышимости.)

Сейчас все до единого жители сидят по домам, включив вентиляторы или кондиционеры. На домах — номера, совсем как в большом городе. Никаких признаков врача.

Там, где кончается тротуар, стоит большой кирпичный дом, с остроконечными фронтонами и башенкой с часами. Может быть, тут располага-

лась школа в те годы, когда детей еще не возили автобусами в какой-нибудь унылый укрупненный образовательный центр. Стрелки часов остановились на двенадцати — то ли полдень, то ли полночь, и в любом случае время неверное. Вокруг здания буйствуют летние цветы, но это буйство, кажется, упорядочено рукой художника: цветы растут среди прочего в садовой тачке и в лежащем на боку ведре. У входа висит какой-то знак, который Нэнси не может прочитать против солнца. Она забирается на газон, чтобы увидеть надпись под другим углом.

«Ритуальные услуги». Теперь она видит пристроенный к дому гараж, где, вероятно, стоит катафалк.

Не важно. Ей следует заниматься тем, ради чего она сюда приехала.

Она сворачивает на боковую улицу, где стоят чрезвычайно ухоженные дома, — значит, даже в небольшом городке бывают свои пригороды. Дома все разные, но каким-то образом очень похожи. Нежной окраски камень или светлый кирпич, окна остроконечные или округленные, отказ от утилитарной архитектуры, стиль ранчо — примета ушедших десятилетий.

Здесь начинают попадаться люди. Не все за-

перлись в четырех стенах с кондиционером. Мальчик катается на велосипеде, пересекая мостовую по диагонали. Что-то кажется странным, но ей не сразу удается понять, что именно.

Он ездит задом наперед. Вот оно что. Куртка так накинута, что не сразу разберешь, — во всяком случае, Нэнси не сразу разобрала, что не так.

Какая-то женщина — кажется, она старовата, чтобы быть матерью этого мальчика, но с виду подтянутая и живая — стоит тут же и смотрит на него. Она держит в руке скакалку и разговаривает с мужчиной, который, судя по сердечности разговора, вряд ли приходится ей мужем.

Улица кончается кривым тупиком. Дальше идти некуда.

Нэнси с извинениями прерывает разговор взрослых. Она говорит, что ищет доктора.

— Нет-нет, не тревожьтесь. Мне просто нужен его адрес. Я подумала, что вы, может быть, знаете.

Тут всплывает все та же проблема — Нэнси осознает, что по-прежнему не уверена в фамилии нужного врача. Мужчина и женщина из вежливости не показывают удивления, но помочь ей ничем не могут.

Тут к ним подъезжает мальчик, исполняя оче-

редной смертельный номер, и чуть не сбивает всех троих.

Смех. Мальчика не ругают. Идеальный юный дикарь, — похоже, мужчина и женщина им искренне восхищаются. Все отмечают, какая сегодня хорошая погода, и Нэнси идет прочь, чтобы вернуться той же дорогой.

Но весь путь она не проходит — даже не доходит до «Ритуальных услуг». Вбок сворачивает еще одна улица, на которую Нэнси раньше не обращала внимания, поскольку та даже не асфальтирована, — невозможно представить себе врача, живущего в таких условиях.

Тротуара на улице нету, вокруг домов валяется мусор. Двое мужчин ковыряются под капотом грузовика, и Нэнси решает, что лучше к ним не подходить. Кроме того, она видит впереди что-то интересное.

Живая изгородь, граничащая непосредственно с дорогой. Высокая, так что Нэнси вряд ли сможет заглянуть поверх нее, но, может быть, удастся разглядеть что-то сквозь ветки.

Оказывается, это и не нужно. Дойдя до изгороди, Нэнси обнаруживает, что участок — большой, примерно вчетверо больше среднего городского участка, — открыт со стороны дороги. На участ-

ке — что-то вроде парка: дорожки, мощенные каменной плиткой, диагонально пересекают аккуратно подстриженную, свежую, зеленеющую траву. Между дорожками из травы лезут цветы. Некоторые Нэнси может назвать: темно-золотые и светло-желтые герберы, розовые, лиловые и белые с красными сердцевинками флоксы, но она невеликая садовница, и бóльшая часть всего этого разноцветного великолепия, организованного в клумбы и бордюры, ей неизвестна. Некоторые цветы вьются по шпалерам, другие свободно расползаются плетями в разные стороны. Всё весьма искусно сделано, без какой бы то ни было помпезности — даже фонтан, из которого выстреливает струя воды метра на два в высоту и падает в чашу, выложенную камнями, выглядит живым. Нэнси входит в парк, чтобы ощутить прохладные брызги фонтана, видит рядом ажурную скамью из кованого железа и садится на нее.

По дорожке идет мужчина с ножницами в руках. Видимо, садовники в парке работают допоздна. Хотя, по правде сказать, этот человек не похож на наемного садовника. Он высокий, очень худой, одет в черную рубашку и обтягивающие брюки.

Ей не приходит в голову, что, может быть, это

вовсе не городской парк, а что-то совсем другое.

— Здесь очень красиво, — говорит она мужчине самым уверенным и одобрительным голосом, на какой способна. — Вы так хорошо ухаживаете за этим парком.

— Спасибо, — отвечает он. — Добро пожаловать, можете здесь отдохнуть.

По некоторой сухости в голосе она догадывается, что это вовсе не городской парк, а частная собственность и что он вовсе не садовник, нанятый муниципалитетом, а владелец.

— Извините, мне надо было сразу спросить у вас разрешения.

— Ничего.

Тут он отвлекается, наклоняется и срезает плеть какого-то растения, выползающую на дорожку.

— Это ваше, да? Все, что вокруг?

Он, занятый, отвечает не сразу:

— Да, все вокруг.

— Я должна была сразу догадаться. Такое роскошное место не может быть собственностью города. Такое необычное.

Он не отвечает. Она собирается спросить, нравится ли ему самому сидеть тут вечерами. Но лучше не надо. Он, кажется, нелегок в общении. Вероятно, он из тех, кто гордится собственной

неуживчивостью. Она еще минуту посидит тут, поблагодарит его и уйдет.

Но через минуту он вдруг сам подходит к ней и садится рядом на скамейку. И отвечает ей так, словно она все же задала тот вопрос.

— Честно говоря, мне здесь хорошо, только если я что-то делаю, ухаживаю за цветами, — говорит он. — Если я присаживаюсь, то стараюсь специально отводить глаза от всего, иначе вижу только недоделанные дела или еще что-то, что требует внимания.

Ей следовало бы сразу догадаться: он не из тех, кто любит светскую болтовню. Но ее снедает любопытство.

Что было здесь раньше?

До того, как он создал этот сад?

— Трикотажная фабрика. В каждом из этих маленьких городков обязательно была какая-нибудь фабрика: тогда владельцы еще могли платить работникам гроши, только чтоб те с голоду не умерли. Но со временем фабрика закрылась. Один подрядчик хотел устроить тут дом престарелых, но городские власти отказали ему в лицензии. Решили, что тут будут сплошные старики, а это очень депрессивно. И он то ли поджег здание, то ли снес его, не знаю.

Мужчина явно не здешний. Даже она понимает, что будь он здешним, не стал бы говорить так открыто.

— Я не здешний, — говорит он. — Но у меня был друг родом из этих мест, и, когда он умер, я приехал сюда, только чтобы продать его дом и уехать обратно. А потом я наткнулся на этот участок и купил его задешево, потому что подрядчик оставил огромную яму посреди участка и выглядело это все ужасно.

— Простите, я слишком любопытна.

— Ничего страшного. Если я не хочу отвечать на вопрос, я на него не отвечаю.

— Я здесь раньше не бывала. Конечно не бывала, иначе увидела бы этот парк. Я шла мимо — искала кое-что. Я решила, что будет удобней поставить машину и пойти пешком. Вообще-то, я ищу кабинет доктора.

Она объясняет, что не больна, просто записана на завтра на прием к врачу и не хочет утром бегать туда-сюда и искать его. Потом рассказывает, как оставила машину на главной улице и как удивилась, выяснив, что фамилия нужного врача нигде не значится.

— Я даже не могла посмотреть в телефонной книге — вы же знаете, что телефонных будок

с телефонными книгами уже днем с огнем не найдешь. А у тех, что есть, внутренние страницы все выдраны. Я, кажется, начинаю нести ерунду.

Она сообщает мужчине, как зовут врача, но он говорит, что эта фамилия ему незнакома.

— Правда, я не хожу по врачам.

— И правильно делаете, судя по всему.

— Ну, я бы не сказал.

— Как бы там ни было, пойду-ка я обратно к машине.

Когда она встает, он тоже встает и говорит, что проводит ее.

— Чтобы я не заблудилась?

— Не только. Просто я люблю в это время прогуляться, размять ноги. От работы в саду тело затекает.

— Я уверена, исчезновение доктора можно как-то очень просто объяснить. Вам не кажется, что раньше было гораздо больше разумных объяснений для непонятных вещей?

Он не отвечает. Может быть, вспоминает умершего друга. Может быть, этот сад — мемориальный, в память того друга, который умер.

Она вовсе не чувствует замешательства оттого, что задала вопрос, а мужчина не ответил. Наоборот, это придает разговору свежесть, наполняет

его спокойствием.

Они идут и по дороге не встречают ни души.

Скоро они оказываются на главной улице, всего в квартале от клиники. При виде клиники спокойствие Нэнси куда-то пропадает — она сначала не знает почему, но вскоре догадывается. Вид здания вызывает у нее абсурдное, но тревожащее опасение. Что, если фамилия нужного доктора — та, которую она якобы не могла найти, все это время была на двери? Нэнси ускоряет шаг и чувствует, что ее трясет, но потом острым взглядом различает на двери все те же две бесполезные фамилии.

Она притворяется, что ее торопливость вызвана желанием поглядеть на выставленные в витрине товары — куклы с фарфоровыми головами, древние коньки, ночные вазы и уже продранные лоскутные одеяла.

— Печально, — говорит она.

Он ее не слушает. Он говорит, что ему только что пришла в голову мысль.

— Этот врач…

— Да?

— Я вот подумал: может, он связан с «домом»?

Они снова шагают; проходят мимо двух молодых людей, сидящих прямо на асфальте. У

одного из них вытянуты ноги, так что Нэнси со спутником вынуждены его обойти. Ее спутник не обращает внимания на молодых людей, но понизил голос.

— С «домом»? — повторяет она.

— Если вы ехали со стороны шоссе, то вы его не видели. Но если поедете из города в сторону озера, то он будет по дороге. Не больше полумили от городской черты. Проедете кучу гравия с южной стороны дороги, а дом будет чуть дальше по другой стороне. Не знаю, есть ли у них постоянно работающий врач, но вполне возможно, что есть.

— Вполне возможно, что есть, — говорит она.

Только бы он не подумал, что она нарочно эхом повторяет его последние слова в порядке глупой шутки. Честно говоря, ей хотелось бы продлить их разговор, даже с помощью шуток.

Но тут перед ней воздвигается очередная проблема — нужно вспомнить, куда она дела ключи. Ей часто приходится мучительно вспоминать это, прежде чем сесть в машину. Она постоянно беспокоится, что заперла их в машине или где-то уронила. Она чувствует приближение знакомой надоедливой паники. Но тут ключи обнаруживаются у нее в кармане.

— Стоит попробовать, — говорит мужчина, и она соглашается.

— Там достаточно места, чтобы свернуть с дороги и подойти посмотреть. Если доктор постоянно работает там, ему незачем держать кабинет в городе. Или ей. Незачем.

Такое ощущение, что ему тоже не хочется с ней расставаться.

— Большое вам спасибо!

— Я просто подумал, вдруг это то, что вам надо.

Пока она садится в машину, он придерживает перед ней дверцу, потом захлопывает, ждет, пока она не развернется в нужную сторону, и машет ей вслед.

На ходу она еще раз мельком видит его в зеркало заднего обзора. Он склонился над двумя молодыми людьми, которые сидят на асфальте, привалившись спиной к стенке магазина. Только что он их подчеркнуто игнорировал, и странно, что теперь он разговаривает с ними.

Может быть, хочет что-то прокомментировать или посмеяться над тем, какая она нелепая, какая у нее каша в голове. Или просто над ее возрастом. Даже такой добрый человек нашел в ней изъян.

До этого она хотела на обратном пути проехать через деревню, чтобы снова поблагодарить его и

сообщить, нашла ли она нужного врача. Может, просто притормозить машину и со смехом окликнуть его из окна.

Но теперь она думает, что проедет берегом озера, — она не хочет больше видеть этого человека.

Забыли про него. Вот куча гравия — теперь надо быть внимательной.

Все точно как он говорил. Указатель на дороге. «Резиденция „Озерный вид“». И действительно, от дома видно озеро — тонкой синей нитью у горизонта.

Большая парковка. Длинное крыло, в котором, похоже, располагаются отдельные квартиры или как минимум просторные комнаты, при каждой — отдельный маленький садик, где можно посидеть. Садики закрывает высокая ограда из деревянной решетки — то ли для создания приватного пространства, то ли для безопасности. Сейчас, насколько видит Нэнси, в садиках никого нет.

Конечно, и не должно быть. В подобных учреждениях ложатся спать рано.

Ей нравится эта решетчатая изгородь. Видно, что к обустройству подошли с душой. В последнее время общественные учреждения меняются по-

чти так же сильно, как частные дома. Беспощадно унылый стиль — единственный, который был разрешен в пору ее юности, — уходит в прошлое. Здание, перед которым она сейчас ставит машину, увенчано блестящим куполом — он придает дому гостеприимный вид, создает ощущение жизнерадостного изобилия. Наверно, кое-кто счел бы его фальшивым, но, по ее мнению, это как раз то, что нужно. Все это стекло, наверно, подбадривает здешних стариков — а может, в этом доме живут не только старики, но и люди с каким-нибудь расстройством.

Подходя к двери, Нэнси взглядом ищет кнопку или шнурок звонка. Но это не нужно — дверь открывается сама. Нэнси оказывается в вестибюле — здесь ощущение простора, высоты потолка, синий блеск стекла еще сильнее. Пол выложен серебристой плиткой, по какой обожают кататься дети, и Нэнси на миг представляет себе, как здешние пациенты раскатывают по ней забавы ради, и у нее становится легко на душе. Конечно, пол на самом деле не может быть таким скользким — если люди начнут ломать себе шею, это никуда не годится.

— Я сама не рискнула попробовать, — кокетливо произносит она, обращаясь к кому-то внутри

своей головы, вероятно к мужу. — Решила, что не стоит. Правда ведь? Рядом в любой момент мог оказаться врач — тот самый, которому предстоит оценивать мою душевную устойчивость. И что бы он подумал?

Но пока что никакого врача не видно.

Но здесь и не должно быть никакого врача. Врачи не сидят просто так за конторкой, ожидая — вдруг появится пациент.

Кроме того, она даже не на консультацию приехала. Ей придется заново объяснять, что она просто хотела уточнить место и время завтрашнего приема, на который она записана. Она уже устала от этих объяснений.

В вестибюле стоит письменный стол — плавных, скругленных очертаний, высотой примерно до пояса; темные панели похожи на красное дерево, но, скорее всего, это имитация. Сейчас за столом никого нет. Ну да, ведь рабочий день уже закончился. Нэнси ищет звонок, чтобы позвать кого-нибудь, но не находит. Потом она смотрит, нет ли в вестибюле списка врачей или фамилии главврача. Тоже нет. В таком месте должна быть возможность кого-нибудь вызвать, даже ночью. Кто-нибудь должен дежурить.

На письменном столе нет никаких следов то-

го, что за ним работают люди. Ни стопок бумаг, ни компьютера, ни телефона, ни разноцветных кнопок селектора. Конечно, заглянуть по ту сторону стола Нэнси не удается, — может быть, там есть какие-то не видные ей отсюда отделения или запертые на замок отсеки. Кнопки, которые секретарша могла бы нажать, а она, Нэнси, не может.

Она пока оставляет стол в покое и начинает осматривать помещение, в котором оказалась. Оно имеет форму шестиугольника, а по сторонам расположены двери. Их четыре — одна большая, через которую падает свет и входят посетители, другая — официального вида дверь позади письменного стола, как бы говорящая «Посторонним вход воспрещен», и две одинаковые, друг против друга, видимо ведущие в два крыла, в коридоры и комнаты, где живут обитатели учреждения. У каждой двери в верхней части есть окошко, и стекло в них вроде бы достаточно прозрачное, чтобы через него заглянуть.

Она подходит к одной из этих двух — может быть, открытых — дверей и стучит, потом пробует повернуть ручку, но та не поддается. Заперто. В окошечко на двери тоже ничего толком не видно. Вблизи стекло оказывается волнистым и

все искажает.

В двери напротив обнаруживается та же проблема с ручкой и стеклом.

Стук ее собственных туфель по полу, предательски волнистое стекло и бесполезность отполированных ручек расстраивают Нэнси гораздо сильней, чем она готова признать.

Но она не сдается. Она снова пробует открыть двери одну за другой, в том же порядке, но на этот раз трясет ручки изо всех сил и кричит: «Есть тут кто?» — голосом, который сначала звучит нелепо и банально, потом расстроенно, и в нем не слышно даже нотки надежды.

Она протискивается за письменный стол и стучит в третью дверь, уже ни на что не надеясь. У этой двери даже ручки нет, только замочная скважина.

Ей ничего не остается, кроме как покинуть здание и ехать домой.

Она думает: тут, конечно, все очень элегантно и бодренько, но никакой заботы о человеке, даже притворной. Конечно, они запихивают жильцов, или пациентов, или как они их там называют, в постель как можно раньше — везде одна и та же история, несмотря на гламурный интерьер.

Продолжая об этом думать, она толкает вход-

ную дверь. Дверь очень тяжелая. Она толкает еще раз.

И еще раз. Дверь не поддается.

Она видит вазоны с цветами, что стоят снаружи. По дороге проезжает машина. Мягкий вечерний свет.

Нужно успокоиться и подумать.

Здесь нет искусственного освещения. В вестибюле станет темно. Кажется, уже темнеет, хотя на улице еще светло. Никто не придет: у всех сотрудников закончился рабочий день или по крайней мере закончились все дела в этой части здания. Сотрудники намерены оставаться там, где находятся сейчас.

Она открывает рот, чтобы крикнуть, но крика не выходит. Она вся трясется и, как ни пытается, не может втянуть воздух в легкие. Словно ей заткнули горло пробкой. Удушье. Она знает, что нужно вести себя по-другому и, более того, убеждать себя в другом. Спокойно. Спокойно. Дыши. Дыши.

Она не знает, сколько времени длится этот приступ паники. Сердце колотится, но она уже почти в безопасности.

Рядом с ней — женщина, которую зовут Сэнди. Так написано на брошке, приколотой у нее на

груди. Впрочем, Нэнси ее и без того знает.

— Ну что нам с вами делать, а? — спрашивает Сэнди. — Мы только и хотели, что надеть на вас ночнушку. А вы вдруг затрепыхались, ровно курица, которую режут на суп. Вам, может, приснилось чего? Что вы видели во сне?

— Ничего, — отвечает Нэнси. — Что-то из тех времен, когда мой муж еще был жив и я еще водила машину.

— У вас хорошая машина была?

— «Вольво».

— Видите? У вас память, как стальной капкан.

Долли

В ту осень мы обсуждали смерть. Наши смерти. Поскольку Фрэнклину было восемьдесят три года, а мне семьдесят один, мы, разумеется, определились с планами на погребальную церемонию (никакой) и похороны (немедленные, на уже купленном участке). Мы решили, что не хотим кремации, хотя она была популярна у наших друзей. Но вот сам момент перехода в мир иной мы оставили на волю случая.

Как-то мы ехали по сельской местности не очень далеко от своего дома и увидели дорогу, о которой раньше не знали. Деревья — клены, дубы и прочие, хотя и рослые, явно относились ко вторичному лесу, то есть выросли на когда-то расчищенном месте. Раньше здесь были фермы, пастбища, дома, сараи. Но от них не осталось ни следа. Дорога грунтовая, но ею пользуются, это заметно. С виду было похоже, что тут проезжает несколько машин в день. Может быть, грузовики срезают путь.

Фрэнклин сказал, что это важно. Мы ни в коем случае не хотим лежать незамеченными целые сутки или даже двое суток, а может, и неделю.

Мы также не хотели бросить машину пустой, вынуждая полицию обыскивать лес в поисках останков, до которых, возможно, к этому времени доберутся койоты.

Кроме того, день не должен быть чересчур меланхоличным. Никакого дождя и раннего снега. Чтобы листья на деревьях уже пожелтели, но еще не опали. Осыпаны золотом, как сегодня. Но, возможно, в выбранный нами день солнца не будет — иначе при взгляде на все это золото, мимолетное очарование мы почувствуем себя уничтожителями красоты.

Мы не пришли к согласию по поводу записки. То есть о том, оставлять записку или нет. Я считала, что мы обязаны объяснить. Люди должны знать, что не было никакой смертельной болезни, приступов боли, убивающих всякую надежду на достойную жизнь. Нам следует уверить их, что мы приняли решение в твердом уме, даже, можно сказать, с легким сердцем.

Ушли, не дожидаясь намеков.

Нет, я беру это обратно. Это легкомысленные, почти оскорбительные слова.

Фрэнклин же считал, что оскорбительным будет любое объяснение. Оскорбительным не для других, а для нас. Для нас самих. Мы принадлежа-

ли самим себе и друг другу, и любое объяснение в таких обстоятельствах казалось Фрэнку неуместным нытьем.

Я поняла, о чем он говорит, но все же не согласилась с ним.

И именно этот факт — то, что мы не согласились друг с другом, — казалось, исключил для него саму возможность.

Он сказал, что это все чепуха. Это годится для него, но я слишком молода. Мы вернемся к этому вопросу, когда мне стукнет семьдесят пять лет.

Я сказала, что меня беспокоит — самую малость — только предположение, что в нашей жизни уже больше ничего не будет. Для нас уже ничто не важно, не к чему стремиться.

Он сказал, что мы только что поспорили, — чего мне еще надо?

Я сказала, что спор вышел слишком вежливый.

Я очень редко вспоминаю, что я моложе Фрэнклина, — пожалуй, только тогда, когда речь заходит о войне, я имею в виду Вторую мировую, а это теперь случается редко. Главное, что Фрэнклин ведет гораздо более активный образ жизни, чем я. Когда-то он был смотрителем конюшни, такой, где держат верховых лошадей, но не тех,

которые выступают на скачках. Он по-прежнему ходит туда два-три раза в неделю — катается на своей собственной лошади и беседует с теперешним смотрителем, которому иногда нужны советы. Хотя, по словам самого Фрэнклина, в основном он старается не путаться под ногами.

На самом деле Фрэнклин поэт. Он на самом деле смотритель конюшни и на самом деле поэт. Он преподавал в университетах — один семестр тут, другой там, — но всегда выбирал места, откуда не слишком далеко до его конюшни. Он снисходит до публичных чтений своих стихов, но лишь, как он сам говорит, раз в год по обещанью. Он обычно не выпячивает свое занятие поэзией. Иногда эта манера меня раздражает — я обзываю его «недотрогой», но, с другой стороны, понимаю, почему он так делает. Когда работаешь с лошадьми, то все видят, что ты работаешь, но, когда сочиняешь стихи, со стороны кажется, что ты предаешься лени, и если приходится объяснять людям, чем ты занят, то чувствуешь себя как-то странно, неловко.

Возможно, дело еще и в том, что — хотя он очень сдержанный человек — его стихи, получившие известность в наших местах, то есть там, где он рос, весьма откровенны. «Довольно откро-

венны» — это он сам так выражается, не то чтобы извиняясь, скорее предупреждая слушателей. Он уважает чувства этих людей, своих знакомых, которых те или иные слова могут оскорбить. Хотя в целом он большой защитник свободы слова.

Впрочем, и в здешних местах понятия о том, что можно произносить вслух и что можно печатать, меняются со временем. Тут, конечно, играют роль поэтические премии. И упоминания в газетах — тоже.

Я много лет преподавала в старших классах школы, но не литературу, как можно было бы ожидать, а математику. Потом мне надоело сидеть дома, и я занялась другим делом — стала писать подробные и, смею надеяться, интересные биографии канадских прозаиков, незаслуженно забытых или так и не признанных. Вряд ли я получила бы эту работу, если бы не Фрэнклин и его литературная репутация, о которой мы никогда не говорим: я родилась в Шотландии и, по правде сказать, мало что знаю о канадских писателях.

Я почему-то никогда не думала, что Фрэнклин или любой другой поэт заслуживает того сочувствия, которое я дарила прозаикам за их поблекшую или совсем выцветшую славу. Не могу сказать почему. Возможно, мне кажется, что

поэзия в каком-то смысле — вещь в себе.

Эта работа мне нравилась. Я считала ее достойным занятием и после многих лет, проведенных у доски, радовалась тишине и тому, что я сама себе хозяйка. Но иногда — скажем, в четыре часа пополудни — у человека возникает желание расслабиться и с кем-нибудь поболтать.

Именно в это время — был унылый день с низко нависшим небом — к моей двери подошла женщина, торгующая косметикой. В любое другое время я не обрадовалась бы ее появлению. Но она попала именно в нужный момент. Женщину звали Гвен. По ее словам, она не заходила ко мне раньше, так как ей сказали, что я не из таких.

— Уж не знаю, что они имели в виду, но я подумала, зайду, пусть она сама скажет — нет так нет.

Я спросила, не хочет ли она кофе — я как раз сделала свежий кофе, — и она ответила: «Еще бы!»

Она сказала, что уже собиралась закругляться. И со стоном опустила свою ношу на пол.

— Вы не краситесь. Я бы тоже не красилась, да работа требует.

Если бы не эти слова, я бы в жизни не догадалась, что у нее на лице макияж. Ее лицо выглядело таким же голым, как у меня, да еще было желтуш-

ным, с удивительно обильной сеткой морщинок вокруг рта. От очков ее глаза — очень светлого голубого цвета — казались больше. Единственной броской чертой были волосы — жидковатые, цвета меди, с подстриженной челкой.

Может быть, она не привыкла к тому, что ее приглашают в дом, и ей было не по себе. Она все время как-то дергано озиралась.

— Очень холодно сегодня, — сказала она и торопливо добавила: — Что-то я не вижу пепельницы — есть у вас?

Я нашла пепельницу в шкафу. Женщина вытащила сигареты и с облегчением откинулась на спинку стула.

— А вы не курите?

— Когда-то курила.

— Все когда-то курили.

Я налила ей кофе.

— Черного, — сказала она. — О, как хорошо. Надеюсь, я вам не помешала. Чем вы занимались — письма писали?

Я вдруг обнаружила, что рассказываю ей про забытых прозаиков и даже назвала имя писательницы, над чьей биографией работала в тот день. Это была Марта Остенсо, автор романа «Дикие гуси» и еще кучи книг, ныне забытых.

— Вы хотите сказать, что это все напечатают? Как в газете?

— В книге, — поправила я. Женщина выдохнула дым — у нее это получилось как-то недоверчиво, и я поняла, что хочу рассказать ей еще что-нибудь, поинтереснее.

— Говорят, что этот роман частично писал ее муж, но странное дело — его никогда не указывают как автора.

— Может, он боялся, что его дружки задразнят, — сказала она. — Мужик, и вдруг книги пишет — сами посудите, что люди подумают.

— Действительно, мне это не пришло в голову.

— А вот денежки он не прочь был забрать, — добавила она. — Эти уж мне мужики! — Тут она заулыбалась, принялась качать головой и сказала: — А вы, наверно, страсть какая умная. Вот доберусь домой — расскажу своим домашним, что видела, как пишут настоящую книжку.

Мне уже становилось неловко, и, чтобы перевести разговор на другую тему, я спросила, кто это — ее домашние.

Она принялась перечислять каких-то людей, но я не поняла, кем они ей приходятся, — может, мне просто лень было в этом разбираться. В каком порядке она их называла, я тоже не поняла,

за исключением того, что последним шел ее муж, который умер.

— В прошлом году. Правда, мы с ним не расписывались. Ну, вы понимаете.

— Я тоже со своим не расписывалась, — сказала я.

— Правда? Сейчас многие так живут, верно? Раньше, если кому сказать, все такие: «Ах, какой ужас», а теперь только: «Ну, делов-то». А бывает, люди годами живут вместе, и вдруг здрасте — мы собираемся пожениться. И тогда думаешь: а на кой черт? То ли ради подарков, то ли хочется покрасоваться в белом платье, вся из себя. Смех, да и только.

Потом она рассказала, что у нее есть дочь, которая устроила всю канитель со свадьбой как положено, а толку-то, потому как теперь она сидит в тюрьме за перевозку наркотиков. Сглупила. Именно тот мужик, за которого она вышла, ее в это и втянул. И теперь ей, Гвен, приходится торговать косметикой, да еще и приглядывать за двумя маленькими детьми дочери, потому что у них больше никого нет.

Во все время этого рассказа она явно была в хорошем настроении. Но когда перешла на другую дочь — хорошо обеспеченную медсестру на

пенсии, живущую в Ванкувере, — заговорила как-то неуверенно, нервно.

Та дочь хотела, чтобы мать бросила всю тутошнюю родню и переехала к ней.

— Но я не люблю Ванкувер. Я знаю, все любят. А я нет, не люблю, и все тут.

Оказалось, на самом деле загвоздка в том, что если она поселится у той дочери, то придется бросить курить. Дело не в Ванкувере, а в том, что придется бросить курить.

Я заплатила за какой-то лосьон, который должен был вернуть мне утраченную молодость, и Гвен обещала занести его, когда в следующий раз окажется поблизости.

Я пересказала Фрэнклину весь разговор с этой женщиной. Сказала, что ее зовут Гвен.

— Она как будто из другого мира. Было интересно с ней поговорить.

Мне тут же стало неудобно за эти слова.

Он сказал, что, может быть, мне стоит больше бывать на людях, и предложил мне записаться в подменные учителя.

Когда она вскоре явилась с лосьоном, меня это удивило. В конце концов, я ведь уже заплатила деньги. Гвен ничего не пыталась продать мне

сверх этого, и мне показалось, что для нее это подлинное облегчение, а не тактический прием. Я снова сварила кофе, и мы стали беседовать. Нам было так же легко разговаривать, как в прошлый раз, — слова лились потоком. Я дала ей экземпляр «Диких гусей», который использовала для работы над книгой об Остенсо, и сказала, что дарю насовсем — я получу еще один экземпляр, когда выйдет серия.

Она обещала прочитать роман. Несмотря ни на что. Она не помнит, когда последний раз дочитывала книгу до конца, — очень уж занята, но насчет этой она обещает.

Она сказала, что никогда не встречала таких людей, как я, — таких образованных и чтобы с ними при этом было так легко разговаривать. Мне это польстило, но в то же время я слегка насторожилась — так бывало, когда в меня влюблялся кто-нибудь из учеников. Потом мне стало стыдно, словно я не имела права думать о ней так свысока.

Когда она от меня вышла, было уже темно, и тут у нее не завелась машина. Она пробовала снова и снова, и двигатель издавал такой звук, как будто очень старается, но тут же замолкал. Когда во двор вошел Фрэнклин и из-за машины

не смог подойти к дому, я поспешила объяснить, в чем дело. При виде Фрэнклина Гвен вылезла с водительского места и принялась объяснять, что машина в последнее время фордыбачит как черт.

Фрэнклин попытался завести машину, а мы на это время отошли к его пикапу. Но у Фрэнклина тоже ничего не получилось. Он пошел в дом, чтобы позвонить в автомастерскую, расположенную в деревне. Гвен не хотела возвращаться в дом, хотя на улице было холодно. Казалось, присутствие хозяина дома ее пугает. Я стала ждать вместе с ней. Фрэнклин выглянул в дверь и крикнул нам, что автомастерская закрыта.

Мне ничего не оставалось делать, как предложить Гвен ужин и ночлег. Она рассыпалась в извинениях, потом — усевшись поудобнее с очередной сигаретой — слегка успокоилась. Я начала доставать все для ужина. Фрэнклин пошел переодеваться. Я спросила Гвен, не хочет ли она позвонить домой и предупредить своих домашних.

Она сказала, что да, надо бы.

Я надеялась, что у нее дома есть кто-то, кто может приехать за ней на машине. Мне совершенно не улыбалось болтать с ней весь вечер в присут-

ствии Фрэнклина. Конечно, он мог пойти к себе в комнату — которую упорно не желал именовать кабинетом, — но тогда я буду все время думать, что выгнала его. Кроме того, мы обычно смотрим новости, а Гвен в это время будет не умолкая разговаривать. Даже самые умные из моих подруг так делали, а Фрэнклин этого терпеть не мог.

Или будет сидеть тихо, словно оглушенная. Это немногим лучше.

Похоже, на том конце никто не брал трубку. Гвен позвонила соседям — это они сейчас присматривали за детьми, — долго смеялась виноватым смехом, потом поговорила с детьми, заклиная их вести себя хорошо, потом снова начала заверять соседей в своей вечной и искренней благодарности. Потом оказалось, что завтра эти соседи должны куда-то ехать и им придется взять детей с собой, и это вовсе не так уж удобно.

Как раз когда она вешала трубку, вернулся Фрэнклин. Она сказала мне, что наверняка соседи на самом деле никуда не едут и все это придумали — такие уж они люди. Им плевать, что она все время их выручает, когда им нужно.

И тут их обоих вместе с Фрэнклином как будто громом поразило.

— О господи, — сказала Гвен.

— Нет, это не Он, — сказал Фрэнклин. — Это всего лишь я.

Оба застыли на месте. Как же они сразу друг друга не узнали, восклицали они. Видно было, что они понимают: упасть друг к другу в объятия было бы совершенно неуместно. Поэтому они лишь как-то странно, дергано жестикулировали, словно пытаясь оглядеться вокруг и убедиться, что это не сон, а явь. И еще они повторяли имена друг друга — с ноткой насмешки и отчаяния в голосе. И это были совсем не те имена, которые я ожидала услышать.

— Фрэнк.

— Долли.

Я не сразу сообразила, что Гвен — уменьшительное от Гвендолен, а из этого имени действительно можно выкроить «Долли».

И любой юноша предпочтет называться Фрэнком, а не Фрэнклином.

Они не забыли обо мне — точнее, Фрэнклин не забыл, разве что лишь на миг.

— Ты ведь помнишь, я тебе рассказывал про Долли?

Его тон подчеркивал, что мы вернулись к нормальной жизни, а голос Долли, она же Гвен, — что их встреча это какая-то чудовищная или даже

сверхъестественная шутка.

— Я даже не припомню, когда меня последний раз так звали. В мире нету больше ни единого человека, чтобы знал меня под этим именем — Долли.

Странное дело: теперь уже и меня захватило общее веселье. Ибо ощущение чуда в моем присутствии поневоле должно было перейти в веселье, и именно это сейчас и происходило. Вся неожиданная встреча должна была быстро принять именно такой оборот. И я так хотела посодействовать этому превращению, что достала бутылку вина.

Фрэнклин больше не пьет. Он и раньше-то почти не пил, а потом потихоньку совсем перестал. Так что это нам с Гвен пришлось трещать без умолку, объясняясь, излучая новообретенную бодрость и все время упоминая о чудесном совпадении.

Гвен рассказала мне, что познакомилась с Фрэнклином, когда работала нянькой. Работала она в Торонто — присматривала за двумя английскими ребятишками, которых родители отправили в Канаду, подальше от войны. В доме была и другая прислуга, так что вечера у Гвен были свободны и она искала, где бы развлечься. Как любая девушка

на ее месте. Она познакомилась с Фрэнклином, когда он пришел в последнее увольнение перед отправкой за океан, и они сумасбродничали как могли. Может, он после этого даже и письма слал, но ей было не до писем. Потом, когда война закончилась, Гвен сразу села на корабль, чтобы отвезти английских детишек домой, и на корабле встретила мужчину, за которого вышла замуж.

Но этого брака надолго не хватило. В Англии после войны все было так мрачно, что Гвен думала — помрет с тоски, так что вернулась домой.

Об этой части ее жизни я еще не знала. Но о двух неделях, которые она провела с Фрэнклином, знала хорошо — и не только я. Многие знали. Во всяком случае, многие любители поэзии. Они знали, как щедро дарила она свою любовь, но не знали, в отличие от меня, что она, по ее твердому убеждению, не могла забеременеть, так как носила на шее медальон с волосами своей умершей сестры-близнеца. У нее было множество убеждений подобного рода, и она дала Фрэнклину волшебный зуб — неизвестно чей, — который должен был хранить его на войне. Зуб Фрэнклин сразу потерял, но все равно остался жив.

Еще у нее было правило: если наступить на бордюр тротуара не той ногой, весь день пойдет

наперекосяк, поэтому в таких случаях она возвращалась и наступала еще раз как надо. Фрэнклин считал эти правила очаровательными.

По правде сказать, меня эти его рассказы не очаровали вовсе. Я только подумала, как ведутся мужчины на упрямство и заскоки, если девушка хороша собой. Конечно, сейчас подобное уже вышло из моды. Во всяком случае, я на это надеюсь. Восторг, вызванный инфантильностью женского мозга. (Когда я только начинала преподавать, мне рассказывали, что в былые времена, совсем недавно, женщины не преподавали математику. По врожденной слабости интеллекта.)

Конечно, эта девушка, эта чаровница, подробности о которой я из него вытянула, могла быть вымышлена. Могла быть творением чьей угодно фантазии. Но я так не думала. Она была своим собственным бойким творением. Так обстоятельно она себя любила.

Конечно, я помалкивала об откровениях мужа и тех подробностях, которые позже оказались в его стихах. Он тоже почти не говорил об этом — лишь вставлял иногда словечко о том, как выглядел Торонто, оживившись с наступлением войны, или о тогдашних дурацких законах, ограничивающих продажу спиртного, или об идиотском

обычае водить солдат торжественным строем на церковные службы. Я подумала, что, может быть, он преподнесет ей какую-нибудь книгу своих стихов, но, по-видимому, ошибалась.

Он устал и пошел спать. Мы с Гвен — или Долли — постелили ей на диване. Она присела на диван с последней сигаретой, заверяя меня, что беспокоиться не о чем — она не собирается устраивать пожар и даже не приляжет, пока не докурит.

У нас в комнате было холодно, окна открыты гораздо шире обычного. Фрэнклин уже спал. Он в самом деле спал — я всегда вижу, когда он притворяется.

Я терпеть не могу ложиться спать, оставляя немытую посуду на столе, но при мысли о том, что Гвен непременно вызовется помогать с мытьем, я поняла, что ужасно устала. Я собиралась встать утром пораньше и все убрать.

Но когда я проснулась, уже полностью рассвело, с кухни слышалось звяканье, и в доме пахло завтраком и сигаретами. Еще с кухни доносился разговор, причем говорил Фрэнклин, хотя я ожидала, что это будет Гвен. Я слышала, как она смеется после каждой его реплики. Я тут же встала, торопливо оделась и даже уложила воло-

сы — обычно с утра я этого не делаю.

Все давешнее чувство защищенности и все веселье улетучились. Спускаясь по лестнице, я старалась шуметь как можно больше.

Гвен стояла у раковины, а перед ней на сушилке выстроился ряд сверкающих банок.

— Я все помыла руками — боялась не разобраться, как у вас посудомоечная машина работает. Потом зацепилась глазом за эти банки наверху и решила заодно и по ним пройтись, чтоб два раза не вставать.

— Их не мыли лет сто, — сказала я.

— Угу, я так и подумала.

Фрэнклин сказал, что выходил и пробовал снова завести машину, но ничего не вышло. Зато он дозвонился в авторемонтную мастерскую, и они обещали прислать кого-нибудь посмотреть машину после обеда. Но он сказал, чем сидеть и ждать, лучше он сам отбуксирует машину туда, и тогда они смогут заняться ею этим же утром.

— У Гвен будет время вымыть всю остальную кухню, — сказала я, но ни один из них не оценил мою шутку.

Фрэнклин сказал, что нет, Гвен лучше поехать с ним — в мастерской захотят поговорить с ней, поскольку это ее машина.

Я заметила, что он запинается на имени Гвен, намеренно заставляя себя не называть ее Долли.

Я сказала, что пошутила.

Он предложил приготовить мне что-нибудь на завтрак, но я отказалась.

— Вот как она сохраняет фигуру, — заметила Гвен.

И почему-то даже этот комплимент оказался смешным — стал для них поводом посмеяться вместе.

Ни один из них не подавал виду, что догадывается о моих чувствах, хотя — мне казалось — я вела себя странно и любые мои слова звучали как попытка обиженно съязвить. «Они так поглощены друг другом», — подумала я. Я сама не знала, откуда всплыло это выражение. Когда Фрэнклин вышел готовить машину к буксировке, Гвен пошла за ним, словно не хотела ни на минуту выпускать его из виду.

Уезжая, она крикнула, что страшно мне благодарна.

Фрэнклин нажал на гудок в знак прощания — обычно он так не делал.

Мне хотелось побежать за ними и измолотить их кулаками в фарш. Я ходила туда-сюда, и мной все сильней завладевал трагический подъем.

У меня не было сомнений в том, что я должна сделать.

Вскоре я вышла и села в машину. Ключ от дома я бросила в щель для писем на передней двери. Я взяла с собой чемодан, хотя уже успела забыть, что именно туда положила. Я написала короткую записку, в которой говорилось, что мне надо проверить кое-какие факты, связанные с Мартой Остенсо, а потом принялась за вторую записку, подлиннее, — я собиралась адресовать ее Фрэнклину, но не хотела, чтобы ее видела Гвен, когда вернется вместе с ним (как она непременно должна была сделать). Я писала, что он должен получить свободу, чтобы поступать как хочет, и что единственное, чего я не могу перенести, — это обман или, может быть, самообман. Он должен признаться сам себе, чего хочет, — другого выхода нет. Заставлять меня на это смотреть — нелепо и жестоко, так что я намерена убраться подальше.

Потом я написала, что самая прочная ложь — это когда мы лжем самим себе и, к несчастью, вынуждены лгать дальше, чтобы ложь не вырвалась наружу, как рвота из желудка, и тогда ложь съедает нас заживо, в чем он сам скоро убедится. И так далее и тому подобное. Хотя листок бумаги был совсем небольшой, я начала повторяться и

понесла чушь и чем дальше, тем больше теряла всякие остатки собственного достоинства. Я поняла, что в таком виде это нельзя показывать Фрэнклину и придется все переписать. И взяла письмо с собой, решив отправить его по почте.

Отъехав от дома, я свернула не к деревне и автомастерской, а в противоположную сторону, и прошло, кажется, лишь несколько секунд, а я уже неслась по скоростному шоссе. Куда я еду? Если быстро не решу, то окажусь в Торонто, а там совершенно негде спрятаться — я все время буду натыкаться на места и людей, которые будут напоминать мне об ушедшем счастье и о Фрэнклине.

Чтобы предотвратить это, я свернула с шоссе и направилась в Кобург. В этом городке мы никогда не бывали вместе.

Еще даже не наступил полдень. Я сняла номер в мотеле в центре городка. Я шла мимо открытых дверей других номеров, где накануне кто-то ночевал, — сейчас там убирали горничные. Мой номер в предыдущую ночь пустовал, и теперь в нем было ужасно холодно. Я вывернула отопление на максимум и решила пойти пройтись. Но, открыв дверь, не смогла себя заставить. Я дрожала. Меня трясло. Я закрыла дверь и легла в постель прямо

в одежде, но все еще не могла согреться и потому накрылась одеялами с головой.

Когда я проснулась, послеполуденное солнце жарило вовсю, и пропотевшая одежда прилипла к телу. Я привернула термостат, нашла в чемодане какие-то вещи, переоделась в них и вышла. Я проголодалась, но была так взвинчена, что не могла бы притормозить и тем более присесть, чтобы поесть.

То, что со мной произошло, — самое обычное дело, думала я. Такое постоянно встречается и в книгах, и в жизни. Должен быть какой-нибудь старый испытанный метод, который помогает в этих случаях. Например, ходить. Но пешеход вынужден время от времени останавливаться — даже в городке такого размера встречаются светофоры и машины. И люди, они так неуклюже передвигаются — то зашагают, то снова застынут на месте, — и еще орды школьников, совсем таких же, как те, которых мне когда-то приходилось укрощать. Но почему их так много, и почему они ведут себя так по-идиотски, вопят и визжат, и зачем эта избыточность, совершеннейшая не-необходимость их существования? Куда ни посмотришь, вселенная издевательски хохочет тебе в лицо.

Таким же издевательством были магазины с их вывесками и шум машин, которые то останавливались, то снова ехали. Всё словно хором провозглашало: это жизнь. Как будто это кому-нибудь нужно — вся эта жизнь.

Когда магазины наконец начали редеть, пошли бунгало для туристов. Пустые — окна заколочены досками, — в ожидании сноса. Места отдыха небогатых людей в давние времена, до появления мотелей. И тут я вспомнила, что и сама когда-то здесь останавливалась. Да, как раз в таком домике, когда его владельцы пали столь низко — возможно, был не сезон, — что начали сдавать домики на пару часов для дневных адюльтеров. И я стала одной из этих грешных постояльцев. Я тогда была еще практиканткой в школе. Я бы и не вспомнила, что дело происходило именно здесь, если бы не что-то знакомое в облике этих, ныне заколоченных, бунгало. Со мной был мужчина-учитель, старше меня. Дома его ждала жена и, несомненно, дети. Жизни, которым я могла нанести непоправимый урон. Она не должна знать, это разобьет ей сердце. Мне было все равно. Пускай разбивается.

Напрягшись, я могла бы припомнить подробности, но оно того не стоило. Главное, что это

воспоминание охладило меня, позволило снизить обороты почти до нормы, развернуться и зашагать обратно в мотель. В номере на комоде лежало мое письмо. Запечатанное, но без марки. Я снова вышла, отыскала почту, купила марку и опустила конверт. Почти не думая и безо всяких колебаний. Можно было и на столе оставить, какая разница! Все кончено.

Раньше я заметила ресторан — в полуподвале, нужно было спускаться по ступенькам. Я снова нашла его и просмотрела вывешенное в окне меню.

Фрэнклин не любил есть вне дома. Я любила. Я походила еще — на этот раз с нормальной скоростью, — ожидая, пока ресторан не откроется. Я заметила в витрине симпатичный шарф и решила зайти купить его. Он мне пойдет. Но, взяв в руки, я тут же торопливо его уронила. От осязания шелковистой ткани на меня накатила тошнота.

В ресторане я пила вино и долго ждала, пока принесут еду. В зале почти никого не было. На помосте устраивались музыканты, которые будут играть вечером. Я вышла в туалет и удивилась — до того нормально я выглядела. Я стала думать о том, насколько вероятно, что какой-нибудь мужчина — точнее, какой-нибудь старик — захочет

со мной познакомиться. Идея была нелепой — не потому, что мужчина должен быть пожилым, а потому, что для меня никогда не существовало других мужчин, кроме Фрэнклина.

Когда наконец принесли еду, мне кусок не полез в горло. Дело было не в еде. А в самой странности того, что я тут сижу одна, ем одна, в зияющем одиночестве, в нереальности.

Я догадалась захватить из дому снотворное, хотя никогда им не пользовалась. По правде сказать, эти таблетки были у меня так давно, что могли и не сработать. Но сработали: я заснула и спала без просыпу почти до шести утра.

Большие грузовики уже выезжали со своих мест на стоянке при мотеле.

Я знала, где я, и знала, что сделала. И еще знала, что совершила ужасную ошибку. Я оделась и как можно скорее убралась из мотеля. Дружелюбная болтовня женщины-портье была для меня почти невыносима. Женщина сказала, что сегодня обещали снег. Чтобы я была осторожна за рулем.

По шоссе уже шел плотный поток машин. Чуть дальше случилась авария, и мы едва ползли.

Я подумала о том, что Фрэнклин, может быть, меня ищет. Ведь и он может попасть в аварию. И мы никогда в жизни больше друг друга не

увидим.

Про Гвен я не думала вообще — для меня она была лишь человеком, который влез в нашу жизнь и создал абсурдные проблемы. Коротенькие толстые ножки, дурацкие волосы, паутина морщин. Можно сказать, ходячая карикатура — такого человека нельзя ни в чем винить и вообще нельзя принимать всерьез.

Я добралась до дому. Он выглядел как всегда. Я припарковалась на площадке у дома и увидела машину Фрэнклина. Слава богу, он здесь.

Я заметила, что его машина стоит не там, где обычно.

Потому что ее обычное место занимает другая машина — машина Гвен.

Это не укладывалось у меня в голове. Всю дорогу я думала о ней — когда вообще думала — как о человеке, которого уже отодвинули в сторону, который пошатнул нашу жизнь, но не смог стать ее постоянной частью. Я все еще чувствовала облегчение оттого, что я дома и Фрэнклин тоже дома и мы оба невредимы. Уверенность переполняла меня, и мое тело было все еще готово выскочить из машины и побежать к дому. Я даже принялась шарить в поисках ключа, забыв, что я с ним сделала.

Впрочем, он бы мне и не понадобился. Фрэнклин уже открывал дверь дома. Он не позвал меня — с удивлением или с облегчением, — даже когда я вылезла из машины и пошла к нему. Он только размеренными движениями спустился с крыльца, и, когда я поравнялась с ним, приковал меня к месту словами:

— Стой.

«Стой». Конечно. Она в доме.

— Вернись в машину, — сказал он. — Тут нельзя разговаривать, слишком холодно.

Когда мы оба сели в машину, он сказал:

— Жизнь — совершенно непредсказуемая штука.

Он говорил необыкновенно мягко и печально. И не смотрел на меня — уставился прямо перед собой, через ветровое стекло, на наш дом.

— Я понимаю, мне бесполезно просить прощения, — продолжал он. — Ты знаешь, дело даже не в человеке. Это что-то вроде ауры. Колдовские чары. Ну конечно, на самом деле это сам человек, но оно как бы окружает, воплощает его. Или это человек воплощает… не знаю. Ты понимаешь? Это удар, как солнечное затмение или что-то вроде.

Он покачал склоненной головой. Само отчаяние.

Видно было, что ему не терпится говорить о ней. Но в нормальной ситуации его затошнило бы от подобного спектакля. Именно поэтому я потеряла всякую надежду.

Меня сковал чудовищный холод. Я собиралась спросить, поставил ли он в известность о своем преображении другое заинтересованное лицо. Потом подумала, что, конечно же, он ей все рассказал и она сейчас на кухне — среди вымытых ею до блеска вещей.

То, что он поддался чарам, было так чудовищно. Он точно такой же, как все прочие. Чудовищно.

— Не говори больше ничего, — сказала я. — Просто молчи.

Он повернулся, впервые взглянул на меня и заговорил уже в полный голос, без благоговейного изумления:

— Господи, я же пошутил. Я думал, ты меня раскусишь. Ну хорошо, хорошо. Ой, ради бога, заткнись. Послушай меня.

Потому что я уже выла от гнева и облегчения.

— Ну да, ну да, я на тебя слегка разозлился. И решил проучить. А что я должен был подумать, когда вернулся домой, а тебя нет? Да, да, я бесчувственный гад. Ну хватит, перестань.

Я не хотела переставать. Я уже знала, что все хо-

рошо, но вой приносил колоссальное утешение. Кроме того, я нашла еще один повод для обиды.

— В таком случае что здесь делает ее машина?

— Ее уже не починить, это металлолом.

— Но почему она здесь?

Он объяснил, что машина здесь, поскольку те ее части, которые не пойдут на металлолом, теперь принадлежат ему. Нам.

Потому что он купил ей машину.

— Машину? Новую?

Во всяком случае, лучше старой.

— Дело в том, что она собирается поехать в Норт-Бэй. У нее там родственники или что-то такое, и она туда поедет, когда приведет машину в порядок.

— У нее здесь родственники. Она у них живет, где-то здесь. Ей приходится смотреть за трехлетними детьми.

— Ну, видимо, те родственники, что в Норт-Бэе, ей нравятся больше. Про трехлетних детей она ничего не говорила. Может, она их с собой возьмет.

— Она что, попросила, чтобы ты купил ей машину?

— Она бы не стала меня ни о чем просить.

— Так что теперь? Она будет присутствовать в

нашей жизни?

— Она будет присутствовать в Норт-Бэе. Пойдем в дом. Я даже без куртки.

По пути в дом я спросила, рассказал ли он ей про свои стихи. И уж не декламировал ли их ей.

— Боже мой, нет, конечно, с какой стати?

Первое, что я увидела на кухне, был строй сверкающих банок. Я схватила стул, залезла на него и принялась убирать банки на место, на верх шкафа.

— Помоги мне, — сказала я, и он стал подавать мне банки.

Интересно, подумала я, а что, если он врет про стихи? А не могла ли она где-то слышать декламацию этих стихов? Или сама их прочитать?

Если так, то ее реакция оказалась неудовлетворительной. Да и кто может отреагировать удовлетворительно?

А что, если она сказала «очень мило»? Ему это было бы чрезвычайно неприятно.

А еще она могла вслух удивиться, как это ему сошло с рук — написать такое. «Такую пошлость», — могла сказать она. Это было бы лучше, но ненамного.

Разве может хоть кто-нибудь в разговоре с поэтом правильно похвалить его стихи? И при этом

не перехвалить, не недохвалить, точно отмерить нужную долю восторга.

Он обхватил меня руками и снял со стула.

— Мы не можем позволить себе ссориться, — сказал он.

В самом деле. Я забыла, до чего мы старые. Все забыла. Я думала, что у нас в запасе вечность — хватит времени на жалобы и страдания.

Тут я увидела свой ключ — тот, что бросила в почтовую щель. Он упал между мохнатым бурым ковриком у двери и дверным порожком.

Надо будет перехватить и мое письмо, когда оно придет.

А что, если я умру раньше? Бывает, человек думает, что он совершенно здоров, а потом раз — и умер. Может, оставить на этот случай записку, чтобы Фрэнклин ее нашел?

«Если тебе придет письмо от меня, порви его».

Самое главное, что он выполнит мою просьбу. Вот я, будь на его месте, ни за что не выполнила бы. Я бы вскрыла письмо, несмотря на все свои обещания.

А он бы послушался.

Меня переполняла ужасная смесь ярости и восхищения оттого, что он бы послушался. И это всю жизнь так — всю жизнь, которую мы прожили

вместе.

Финал

Последние четыре вещи в этой книге — не совсем рассказы. Они составляют отдельное целое, автобиографическое по духу, хотя иногда, может быть, и не совсем автобиографическое по факту. Я полагаю, что это — первое и последнее, а также самое точное, что я могу сказать о своей собственной жизни.

Глаз

Когда мне было пять лет, мои родители неожиданно произвели на свет мальчика, и мать сказала, что я всегда мечтала о братике. Не знаю, с чего она это взяла. Она много распространялась на эту тему — все выдумки, но опровергнуть их было трудно.

Через год родилась еще девочка, и родители снова бегали и суетились, хотя уже и не так сильно.

До появления первого младенца я не осознавала, что мои чувства иногда расходятся с заявлениями матери о том, что я чувствую. К тому же до этого момента мать переполняла весь дом. Ее шаги, ее голос, ее зловещий запах — запах пудры — населяли комнаты, даже когда матери в них не было.

Почему я говорю «зловещий»? Я вовсе не боялась. Нельзя сказать, что мать диктовала, какие чувства я обязана испытывать. Она просто была высшей инстанцией в вопросе моих чувств — ей даже не нужно было меня спрашивать. Это касалось не только братика, но и, скажем, сухих завтраков «Ред ривер» — они были полезны, а

следовательно, я их любила. Или взять истолкование картины, которая висела у меня в изножье кровати. На картине был изображен Иисус, который оставлял детей, судя по надписи: «Оставите детей и не возбраняйте им приити ко Мне». Очевидно, слово «оставить» раньше значило что-то другое, но нас занимало не это. Мать показала на маленькую девочку, которая пряталась за углом — видно, хотела тоже подойти к Иисусу, но стеснялась. Мать сказала, что эта девочка — я. Я была склонна с ней согласиться, хотя без ее слов не догадалась бы об этом и сама хотела бы для себя другой роли.

Что меня на самом деле пугало, так это момент в книжке про Алису, когда она становится большая и застревает в кроличьей норе. Но я все равно смеялась, потому что мою мать этот эпизод приводил в восторг.

Однако лишь с появлением брата и бесконечными рассуждениями о том, что он в каком-то смысле подарок для меня лично, я начала в полной мере осознавать, насколько представления матери обо мне расходятся с тем, что я сама знаю и чувствую.

Я думаю, все это подготовило меня к появлению Сэди, которая вскоре начала у нас работать.

Мать как-то съежилась — теперь ее территория ограничивалась младенцами и тем, что с ними связано. Когда матери вокруг меня стало меньше, я смогла начать думать о том, что правда и что нет. Но я прекрасно знала, что говорить об этом нельзя ни с кем.

Самым необычным в Сэди — хотя у нас в семье эту подробность как-то затушевывали — было то, что она знаменитость. В нашем городке была радиостанция, и Сэди по радио играла на гитаре и пела в музыкальной заставке передачи песню, которую сочинила сама.

«Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте все!»

А через полчаса — «До свиданья, до свиданья, до свиданья все!»

В промежутке же Сэди исполняла песни по заявкам радиослушателей, а также иногда по собственному выбору. Горожане с более утонченными вкусами подшучивали над ее песнями и над всей радиостанцией, которая, как говорили, была самой маленькой в Канаде. Эти люди слушали радиостанцию Торонто — там передавали последние шлягеры, «Три маленькие рыбки и ма-

ма-рыбка тоже»,[12] и Джим Хантер выкрикивал невеселые новости войны. Но людям на фермах нравилась местная станция и песни Сэди. Голос у нее был сильный и грустный, она пела про одиночество и печаль:

Прислонюсь в тоске-печали
К перекладинам корраля —
Где же ты, моя опора?
Верю, ты вернешься скоро…[13]

Землю под фермы в наших местах расчистили и заселили всего лет сто пятьдесят назад, и почти из любого фермерского дома виден был соседний — самое большее через несколько полей. Но фермеры все равно любили песни про одиноких ковбоев, про то, как манят, а потом разочаровывают дальние края, и про ужасные преступления, виновники которых умирают, с последним вздохом зовя мать. Или Бога.

Эти песни и пела Сэди, и ее низкий горловой альт был исполнен грусти, но, работая у нас, она излучала энергию и уверенность в себе, была

[12] Примечания: 12

Песня, ставшая хитом 1939 г. Исполнялась в том числе сестрами Эндрюс.

[13] Примечания: 13

Здесь и далее перевод стихов — Д. Никоновой.

разговорчива и говорила в основном о себе же. Говорить ей обычно было не с кем, кроме меня. Ее дела и заботы моей матери разводили их по разным частям дома, — впрочем, у меня было такое ощущение, что беседа матери и Сэди вряд ли доставила бы удовольствие кому-либо из них. Моя мать, как я уже сказала, была очень серьезным человеком — когда-то она преподавала в школе, а теперь учила меня. Возможно, ей было бы приятней, если бы Сэди нуждалась в ее помощи, — например, мать могла бы отучить ее говорить «ихний». Но Сэди вроде бы не нуждалась ни в чьей помощи и не собиралась учиться говорить по-другому, не так, как говорила всю жизнь.

После обеда — обедали мы в полдень — Сэди и я оставались на кухне одни. Мать уходила прилечь, и, если ей везло, дети тоже засыпали. После сна она надевала другое платье, словно во второй половине дня собиралась развлекаться, хотя это время точно так же заполнялось сменой подгузников детям и еще гадким занятием, на которое я старалась не смотреть, — когда самый младший жадно чмокал у груди.

Отец тоже ложился отдохнуть — минут на пятнадцать, на веранде, прикрыв лицо газетой

«Сэтердей ивнинг пост». Потом он возвращался в амбар.

Сэди грела воду на плите и мыла посуду, а я ей помогала. Мы опускали жалюзи, чтобы в доме было прохладней. Закончив с посудой, Сэди мыла пол, а я его вытирала — способом, который изобрела сама: я каталась по полу на тряпках, как на коньках. Потом мы снимали куски липкой желтой ленты, повешенной после завтрака и уже тяжелой от дохлых и слабо жужжащих умирающих мух, и вешали новые ленты, которые к ужину должны были тоже заполниться дохлыми мухами. И все это время Сэди рассказывала мне о своей жизни.

Я тогда не разбиралась в возрастах. Люди были для меня либо детьми, либо взрослыми, и Сэди я относила к разряду взрослых. Может быть, ей было шестнадцать лет, или восемнадцать, или двадцать. В любом случае она несколько раз заявляла, что вовсе не торопится замуж.

По выходным она ходила на танцы. Но сама по себе. Сама по себе и для себя самой, как она выразилась.

Она рассказала мне про танцзалы. В нашем городке тоже был танцзал — недалеко от главной улицы, там, где зимой заливали каток. Платишь

десять центов, потом поднимаешься на платформу и танцуешь, и люди на тебя глазеют, но на это плевать. Она предпочитает сама за себя платить, не обязываться. Но иногда какой-нибудь парень ее опережает. Тогда он спрашивает, хочет ли она потанцевать, и первое, что она ему говорит: «А вы умеете? Танцевать-то умеете?» Прямо так и спрашивает. Парень тогда смотрит эдак удивленно и говорит: «Ну да, а для чего ж я сюда пришел?» Но обычно оказывается, что для него танцевать — значит шаркать ногами на месте и не переставая мять ее своими ручищами. Иногда она просто вырывается, бросает парня и танцует одна, впрочем, она так и так больше всего любит танцевать одна. И дотанцовывает до конца тот танец, за который заплачено, а если билетер возражает и хочет, чтобы она заплатила за двоих, когда танцевал только один человек, она говорит, что с него хватит. Когда она танцует одна, пускай над ней смеются, ей не жалко.

Другой танцзал располагался на выезде из городка, у шоссе. Там платили на входе, и не за каждый танец, а за целый вечер. Зал назывался «Рояль-Т». Там она тоже платила сама за себя. Тамошние посетители обычно танцевали лучше, но все равно она старалась посмотреть,

как парень танцует, прежде чем позволить себя пригласить. Сюда обычно ходили городские, а в тот, другой танцзал — деревенские. Городские поворотливей, ногами владеют лучше, но, когда с ними имеешь дело, не ног надо остерегаться. Надо смотреть в оба, чтоб они тебя не лапали. Иногда приходится хорошенько пропесочить парня и рассказать ему, что ты сделаешь, если он не перестанет. Она всегда объясняет, что пришла танцевать и платит сама за себя. И еще она знает, куда надо двинуть. Тогда они сразу становятся как шелковые. Иногда попадаются хорошие танцоры, и тогда бывает весело. А как кончается последний танец, она сразу бежит домой.

Она не такая, как некоторые, сказала она. Уж она-то не попадется.

Когда она сказала «попадется», я представила себе огромную проволочную сеть — какие-то мелкие злобные твари опутывают тебя ею, затягивают сильней и сильней, ты задыхаешься, и тебе уже не вырваться на волю. Наверно, Сэди догадалась по моему лицу, о чем я думаю, — она сказала, что бояться не надо.

— В этом мире ничего не надо бояться. Просто гляди в оба, вот и все.

— Вы с Сэди много разговариваете, — сказала

моя мать.

Я знала, что надо быть настороже, но не могла понять, с какой стороны последует удар.

— Она тебе нравится, правда?

Я сказала, что да.

— Ну да, конечно, она тебе нравится. И мне она тоже нравится.

Я надеялась, что на этом разговор закончится, и на секунду мне показалось, что так и будет. Но тут:

— Мы с тобой редко бываем вдвоем с тех пор, как появились малыши. Из-за них у нас совсем мало времени остается, правда? Но мы их все равно любим, правда?

Я быстро сказала «да».

— Честно? — спросила она.

Я знала, она не отвяжется, пока я не скажу: «Честно». Так что я произнесла это слово.

Моей матери чего-то очень сильно не хватало. Хороших подруг? Женщин, которые играли бы в бридж и у которых мужья ходили бы на работу в костюмах-тройках? Вряд ли, и к тому же на такое нечего было надеяться. Может, ей не хватало прежней меня, послушно стоящей на одном месте, пока мать завивает мне локоны толстыми колбасками, и декламирующей стихи в воскрес-

ной школе? На это у матери больше не было времени. А во мне начала проступать предательская жилка, хотя мать не знала почему, и я сама тоже не знала. Я не подружилась ни с кем из городских детей в воскресной школе. Вместо этого я боготворила Сэди. Это я однажды услышала, что мать так сказала отцу: «Она боготворит Сэди».

Отец ответил, что Сэди послал им Бог. Что это значит? Он говорил весело. Может, это значит, что он не будет принимать ничью сторону.

«Жаль, что у нас тут нет нормальных тротуаров, — продолжала мать. — Будь у нас тут нормальные тротуары, она бы научилась кататься на роликах и завела бы подруг».

Мне и правда хотелось ролики. Но теперь — сама не зная почему — я ни за что не собиралась в этом признаваться.

Потом мать сказала что-то вроде «станет лучше, когда начнется школа». То ли это я должна была стать лучше, то ли что-то насчет Сэди. Я не хотела этого слушать.

Сэди в это время учила меня своим песням, и я знала, что пою не очень хорошо. Я надеялась, что мать имеет в виду не это, — что она не потребует, чтобы я пела лучше, а иначе, мол, Сэди перестанет меня учить. Я очень не хотела, чтобы

Сэди перестала.

Отец почти не принимал участия в моем воспитании. Мною занималась исключительно мать (позже, когда я начала ей грубить и меня приходилось наказывать, стало по-другому). Отец ждал, пока не вырастет мой брат и не перейдет в его ведомство. С мальчиками всегда проще.

И действительно, с моим братом не было никаких сложностей. Он вырос совершенно благополучным.

Уже началась школа. Несколько недель назад, еще до того, как листья на деревьях пожелтели и покраснели. Теперь листья уже почти все опали. Сейчас на мне надето не школьное пальто, а мое лучшее, с темными бархатными манжетами и воротником. На матери пальто, в котором она обычно ходит в церковь, а волосы почти полностью закрыты тюрбаном.

Туда, куда нам надо попасть, нас везет мать на машине. Она нечасто водит машину и за рулем держится более торжественно и при этом менее уверенно, чем отец. Перед каждым поворотом она жмет на гудок.

— Приехали, — говорит она, но проходит еще некоторое время, пока ей удается правильно припарковаться. — Вот мы и на месте.

Кажется, она старается, чтобы голос звучал ободряюще. Она касается меня, чтобы дать мне возможность взять ее за руку, но я притворяюсь, что не замечаю, и мать убирает руку.

У дома нет ни площадки, где можно было бы поставить машину, ни даже тротуара. Дом выглядит прилично, но уныло. Мать поднимает руку в перчатке, чтобы позвонить в дверь, но оказывается, что это не нужно. Дверь уже открывают. Мать как раз начала говорить мне что-то успокаивающее, что-то вроде «все пройдет быстрее, чем ты ожидаешь», но не успевает закончить. Она начала фразу утешающим тоном, хотя и с ноткой строгости. Но когда открывается дверь, тон матери меняется, становится приглушенней и мягче, словно она склонила голову.

Дверь открылась не только затем, чтобы впустить нас, но и чтобы выпустить каких-то других людей. Одна из выходящих женщин оборачивается и кричит в дом, даже не стараясь приглушить голос:

— Тут эта, у которой она работала, и девочка с ней!

К нам подходит нарядно одетая женщина — она заговаривает с моей матерью и помогает ей снять пальто. Когда это сделано, мать снимает пальто с

меня и говорит женщине, что я особенно любила Сэди. И выражает надежду, что это ничего, что она меня привела.

— Ах, бедная малютка, — говорит женщина, и мать едва заметно касается меня, давая понять, что я должна поздороваться.

— Сэди любила детей, — говорит женщина. — Очень любила.

Я замечаю рядом еще двух детей. Мальчиков. Я знаю их по школе — один вместе со мной в первом классе, другой старше. Они выглядывают из соседнего помещения — скорее всего, из кухни. Тот, что помоложе, запихивает в рот целое большое печенье, что придает ему комичный вид, а другой мальчик, постарше, корчит гримасу отвращения. Но она адресована не тому, кто обжирается печеньем, а мне. Разумеется, они меня ненавидят. Мальчики либо игнорируют тебя, встречая вне школы (впрочем, в школе тоже игнорируют), либо строят мерзкие рожи и обзываются ужасными словами. Оказываясь рядом с мальчишкой, я застываю и начинаю лихорадочно соображать, как мне спастись. Конечно, совсем другое дело, если вокруг взрослые. Эти мальчишки молчали, но мне было не по себе, пока кто-то не втащил их рывком обратно в кухню. Тут я

услышала необычно мягкий и сочувственный голос матери — так разговаривают настоящие леди, и у матери получилось даже лучше, чем у женщины, с которой она говорит. Я подумала, что, может быть, гримаса мальчишки предназначалась ей. Порой, когда мать заходила за мной в школу, кто-нибудь передразнивал ее голос.

Собеседница матери — похоже, она тут распоряжалась — повела нас туда, где на диване сидели мужчина и женщина. У них был такой вид, словно они не до конца понимают, зачем они здесь. Мать склонилась к ним, поговорила с ними очень почтительно, а потом указала на меня:

— Она так любила Сэди.

Я знала, что должна что-то сказать, но не успела — сидящая на диване женщина вдруг завыла, не глядя ни на кого из нас. Такие звуки мог бы издавать человек, которого гложет или терзает какой-нибудь зверь. Еще она била себя по рукам, словно пыталась отогнать это существо, но оно не уходило. Она смотрела на мою мать, словно та обязана была что-то сделать.

«Ч-ш-ш», — сказал женщине старик.

— Она очень тяжело это переносит, — сказала распорядительница. — Она сама не понимает, что делает.

Она склонилась над женщиной и произнесла:

— Ну не надо, не надо. Девочка испугается.

— Девочка испугается, — послушно повторил старик.

Когда он договорил, женщина уже перестала кричать и поглаживала исцарапанные руки, словно не понимая, что с ними случилось.

— Бедная женщина, — сказала моя мать.

— Потерять единственного ребенка, — сказала распорядительница. И, уже мне: — Не бойся.

Я боялась, но не из-за крика.

Я знала, что Сэди где-то тут, и не хотела ее видеть. Мать не говорила определенно, что я должна буду на нее посмотреть, но и что мне не обязательно это делать — тоже не говорила.

Сэди погибла, возвращаясь домой из танцзала «Рояль-Т». Ее сбила машина как раз на маленьком отрезке гравийной дороги, ведущей от парковки танцзала к месту, где начинался нормальный городской тротуар. Должно быть, Сэди, по обыкновению, спешила домой, уверенная, что водители машин ее видят или что она имеет такое же право находиться на дороге, как и они. То ли обгоняющая ее машина вильнула, то ли она сама была на дороге не в том месте, где думала. Ее ударило сзади. Машина, которая ее сбила, усту-

пала дорогу другой машине, которая обгоняла первую. Вторая машина собиралась свернуть на ближайшую городскую улицу. Из танцзала выходили под хмельком, хотя официально спиртное там не продавалось. Когда танцы кончались и посетители танцзала начинали разъезжаться, машины вечно гудели, водители орали и лихачили на поворотах. А Сэди спешила прочь даже без фонарика в руках, с твердой верой, что это обязанность водителей — ее объезжать.

— Чтобы девушка ходила на танцы одна, пешком… — произнесла женщина, которая все еще вела задушевную беседу с моей матерью. Она говорила очень тихо, и мать в ответ пробормотала что-то сочувственное. — Это значит напрашиваться на неприятности, — произнесла женщина еще тише.

Дома я улавливала непонятные для меня обрывки разговоров родителей. Мать требовала сделать что-то, что, может быть, имело отношение к Сэди и машине, которая ее сбила. Но отец сказал, чтобы мать в это не лезла. Что происходит в городе — это не наше дело, сказал он. Я даже не пыталась понять, что все это значит, потому что старалась вообще не думать о Сэди, а тем более о том, что она мертва. Когда я поняла, что

мы собираемся к Сэди, мне страшно не хотелось ехать, но я не видела никакого способа от этого отвертеться — разве что повести себя особенно позорно.

Теперь, после этих слов пожилой женщины, мне показалось, что, может быть, сейчас мы уйдем и поедем домой. И тогда я не должна буду признаваться в том, что, по правде сказать, ужасно боюсь мертвецов.

Как раз когда у меня забрезжила эта надежда, я услышала, что мать и женщина, с которой она секретничает, говорят о самом ужасном.

Увидеть Сэди.

«Да, — говорила мать, — конечно, мы должны увидеть Сэди».

Мертвую Сэди.

Все это время я смотрела в пол и видела только мальчишек, ростом едва выше меня, и сидящих стариков. Но теперь мать вела меня за руку в другую сторону.

Все это время в комнате был гроб, но я его не узнала. Поскольку я никогда раньше не имела дела с такими вещами, то слабо представляла себе, как должен выглядеть гроб. Потому и сочла предмет, к которому мы сейчас приближались, то ли полкой для цветов, то ли закрытым пианино.

А может, стоящие вокруг него люди как-то замаскировали от меня его подлинные размеры, форму и назначение. Но сейчас эти люди почтительно расступались, и мать заговорила новым, очень тихим голосом.

— Идем, — сказала она. Эта мягкость казалась мне отвратительной, словно торжествующей.

Мать склонилась, чтобы заглянуть мне в лицо, — несомненно, чтобы помешать мне использовать только что изобретенный метод, то есть плотно зажмурить глаза. Потом мать отвела взгляд от моего лица, но продолжала крепко держать меня за руку. Я, правда, опустила веки, как только мать перестала смотреть мне в лицо, но я не могла совсем закрыть глаза, чтобы не споткнуться и чтобы кто-нибудь не толкнул меня туда, где я не хочу быть. Я видела только расплывчатые силуэты жестких, негнущихся цветов и отблеск полированного дерева.

Потом я услышала, как мать хлюпает носом, и почувствовала, что она отстраняется. Щелкнул замок ее сумочки. Ей нужно было сунуть руку в сумочку, так что ее хватка ослабла и я смогла вырваться. Она рыдала. Все отвлеклись на ее слезы и хлюпанье, так что я получила свободу.

Я посмотрела прямо в гроб и увидела Сэди.

Ее лицо и шея не пострадали в аварии, но я не увидела их сразу целиком. Я уловила только общее впечатление, что в ней нет ничего страшного — ничего такого, чего я заранее боялась. Я быстро закрыла глаза, но не удержалась и посмотрела снова. Сначала на желтую подушечку, которая лежала у нее под шеей и при этом прикрывала горло, подбородок и одну щеку, которая иначе была бы мне хорошо видна. Прием, к которому я прибегла, заключался в том, чтобы беглым взглядом увидеть какую-то часть Сэди, потом вернуть взгляд на подушку и в следующий заход захватить уже чуть больше от нестрашной части. В итоге передо мной оказалась Сэди: вся целиком или, во всяком случае, все, что ожидаешь увидеть с одной стороны.

Что-то пошевелилось. Я видела — дрогнуло веко, что было ближе ко мне. Оно не поднялось, не приподнялось, ничего такого — просто между верхним и нижним веком появилась щелочка, ровно такой ширины, чтобы можно было что-то разглядеть меж ресниц. Может быть, только отличить темные силуэты от светлых.

Меня это не удивило и нисколечки не испугало. Это зрелище прекрасно улеглось в картину всего, что я знала о Сэди, а также в картину того особого

опыта, который я накопила в своей жизни. Я даже не подумала о том, чтобы привлечь к этому чье-нибудь внимание, — мне было ясно, что это зрелище предназначено исключительно для меня и больше ни для кого.

Мать снова взяла меня за руку и сказала, что мы готовы идти. Она обменялась репликами еще с кем-то, но мне показалось, что не прошло и секунды, как мы уже были на улице.

— Молодец, — сказала мать. Сжала мне руку и добавила: — Ну, ну. Уже всё.

Тут ей пришлось остановиться и перекинуться парой слов с какими-то людьми, идущими навстречу нам к дому, а потом мы наконец сели в машину и поехали. Мне казалось, что мать ждет от меня каких-то слов, может быть, даже какого-то сообщения, но я ничего не сказала.

Больше со мной ничего похожего не случалось, и, по правде сказать, я довольно быстро забыла про Сэди — особенно из-за мучений в школе, где я как-то научилась существовать, пряча смертельный испуг под маской выпендрежа. Если честно, образ Сэди несколько поблек в моих глазах уже на первой неделе сентября, когда Сэди сказала, что теперь должна быть дома, ухаживать за отцом и матерью, и больше не сможет у нас работать.

А потом моя мать обнаружила, что Сэди работает на молокозаводе.

Но еще многие годы, вспоминая Сэди, я ничуть не сомневалась в увиденном. И долго потом, когда меня уже давно не интересовали никакие сверхъестественные явления, просто хранила в памяти факт того, что когда-то произошло. Я просто верила в это — без усилий, как можно верить и даже помнить, что у тебя когда-то были другие зубы; их уже нет, но от этого они не становятся менее настоящими. Но потом в один прекрасный день — может быть, уже подростком — я ощутила нечто вроде туманной дыры у себя внутри и поняла, что больше не верю.

Ночь

В детстве мне казалось, что роды, гнойный аппендицит и прочие физические потрясения должны обязательно сопровождаться метелью. Такой, что невозможно проехать по дорогам или даже откопать машину из-под снега, и приходится запрягать лошадей в сани, чтобы добраться до городской больницы. К счастью, в хозяйствах тогда еще оставались лошади — при нормальном течении событий от них давно отказались бы, но из-за войны и талонов на бензин пока не стали.

Поэтому, когда у меня закололо в боку, это обязательно должно было случиться в одиннадцать ночи, во время бурана, а поскольку у нас лошадей не было, пришлось просить упряжку у соседа, чтобы отвезти меня в больницу. Всего мили полторы, но все равно приключение. Врач уже ждал нас, и никто не удивился, когда он сказал, что надо удалять аппендикс.

Мне кажется или тогда аппендиксы вырезали чаще? Я знаю, что это случается до сих пор и что это необходимо — я даже слышала о человеке, который умер из-за слишком поздно сделанной операции, — но мне помнится, что в мое время

это было чем-то вроде ритуала перехода: через него прошли очень многие мои ровесники, не большинство, конечно, но все равно в удалении аппендикса не было ничего неожиданного. Операция имела даже и свои плюсы — она несла отдых от школы и придавала оперированному определенный статус, выделяя его из толпы, хоть и ненадолго, как человека, которого смерть, пролетая, коснулась крылом. В таком возрасте это еще притягивает.

И вот я несколько дней пролежала, уже без аппендикса, глядя, как заметает снегом какие-то вечнозеленые деревья за окном больницы. Мне, кажется, ни разу не пришел в голову вопрос: как же отец будет платить за мое неожиданное счастье? (Кажется, он продал участок леса, который оставил себе, когда распродавал ферму своего отца. Наверно, собирался ставить там капканы на пушных зверей или добывать кленовый сироп. А может, этот лес пробуждал у него сентиментальные воспоминания, о которых у нас в семье не говорили.)

Потом я вернулась в школу, осчастливленная освобождением от физкультуры на срок больший, чем можно было ожидать. Но однажды субботним утром, когда мы с матерью были одни

на кухне, она сказала, что в больнице мне вырезали аппендикс, как я и думала, но не только его. Врач решил заодно удалить и аппендикс, но главное, что его обеспокоило, была опухоль. Размером, как сказала мать, с яйцо индейки.

Но не беспокойся, сказала она, теперь уже все кончилось.

Мне ни разу не пришла в голову мысль о раке, и мать тоже ни разу о нем не упомянула. В наши дни, думаю, при обнаружении чего-то подобного непременно встал бы вопрос — он это или нет. Злокачественная или доброкачественная — сейчас этот вопрос возникает первым, и нам надо немедленно получить ответ. Почему тогда мы об этом молчали — не знаю; единственное объяснение, которое приходит мне в голову, — что это слово окутывала пелена, примерно так же, как слово «секс». Даже хуже. Секс был гадостью, но все же и в нем должны были найтись какие-то положительные стороны; и впрямь, мы, в отличие от наших матерей, точно знали, что они есть. Что же до рака, то само слово вызывало в воображении некое темное гнилостно-зловонное существо, которое стараешься не глядя отшвырнуть ногой подальше.

Поэтому я не спросила, мне не сказали, и сейчас

можно только предполагать, что опухоль была доброкачественная или ее вырезали очень искусно, поскольку я до сих пор живу на свете. Я так редко вспоминаю о ней, что, даже если меня просят перечислить сделанные мне хирургические операции, я автоматически говорю или пишу только «удаление аппендикса».

Разговор с матерью произошел, скорее всего, во время пасхальных каникул, когда все метели давно кончились, сугробы исчезли, а ручьи разлились, затопив все, что только можно, и впереди уже маячил летний зной. Наш климат не страдал нерешительностью или чрезмерной мягкостью.

В начале июня, когда пришла жара, я закончила учебный год с приличными оценками, на основании которых меня освободили от экзаменов. Я выглядела здоровой, помогала матери по дому, читала книги, как обычно, и никто не подозревал, что со мной что-то не так.

Теперь нужно описать устройство нашей с сестрой спальни. Это была маленькая комнатка, в которую не влезли бы две кровати бок о бок. Решением стала двухэтажная кровать с лестницей, по которой залезал наверх обитатель верхней койки. То есть я. Когда я была моложе и любила дразниться, я иногда приподнимала угол своего

тощего матраса и угрожала плюнуть вниз на сестру, которая лежала, беспомощная, на нижней койке. Конечно, сестра — ее звали Кэтрин — была не такой уж беспомощной. Она могла спрятаться под одеялом, но моя игра заключалась в том, чтобы дождаться, пока любопытство или нехватка воздуха заставят ее выглянуть, и тут же плюнуть, или сделать вид, что плюю, — на ее незащищенное лицо. Это приводило сестру в бешенство.

Ко времени, о котором я рассказываю, я уже давно выросла из таких забав. Мне было четырнадцать лет, а сестре девять. Наши отношения всегда были сложными. Когда я не мучила ее дурацкими дразнилками, то изображала умудренную жизнью женщину и давала советы или же рассказывала жуткие истории, от которых волосы вставали дыбом. Я одевала сестру в наряды, что завалялись у матери в сундуке, — слишком дорогие, чтобы изрезать их на лоскуты для одеял, и слишком бесповоротно вышедшие из моды, чтобы их носить. Потом я размалевывала сестре лицо засохшими материнскими румянами и пудрой и говорила, что она очень хорошенькая. Сестра, безусловно, была хорошенькая, но после моих усилий становилась похожа на жутковатую заморскую куклу.

Я не хочу сказать, что сестра была полностью в моей власти или что наши жизни неразделимо сплетались. У сестры были свои подруги, свои игры. Эти игры тяготели скорее к хозяйственности, чем к гламуру. Сестра и ее подружки вывозили кукол в колясочках на прогулку, а иногда одевали яростно сопротивляющихся котят и возили их вместо кукол. Еще играли в школу — одной из девочек доставалась роль учительницы, и она получала право шлепать «учениц» по рукам и понарошку доводить до слез за различные проступки и непонятливость.

Как уже говорилось, в июне я освободилась от школы и оказалась предоставлена самой себе — я не помню другого такого раза за все время своего взросления. Я делала какую-то работу по дому, но, вероятно, мать тогда еще неплохо себя чувствовала и дом был в основном на ней. А может, у нас тогда хватало денег, чтобы нанять то, что у моей матери называлось «горничной», а во всех остальных семьях просто прислугой. В любом случае я не помню, чтобы в то лето мне приходилось сражаться с делами, которые навалились на меня в последующие годы, когда я — вполне добровольно — пыталась поддерживать дом в пристойном виде. Вероятно, загадочное индюша-

чье яйцо придало мне статус инвалида, и потому у меня оставалось время бродить по дому, ничего не делая, словно я тут в гостях.

Впрочем, меня не окутывало заметное другим облако меланхолии. Такое в нашей семье не сошло бы с рук никому. Я держала все переживания — ощущение своей бесполезности и странности — внутри себя. Хотя я не была совершенно бесполезной. Я помню, как сидела на корточках у грядки и прореживала всходы моркови, — это полагалось делать весной, чтобы корнеплодам было куда расти.

Наверно, дело было просто в том, что работа заполняла не каждую секунду моего дня, в отличие от других летних каникул, до этого года и после.

Может быть, поэтому мне стало трудно засыпать. Сначала, кажется, это выражалось в том, что я лежала примерно до полуночи, удивляясь, как это у меня сна ни в одном глазу, когда все домашние давно уснули. Я читала, пока меня не охватывала обычная усталость, потом выключала свет и начинала ждать. Никто не приходил ко мне, требуя, чтобы я погасила свет и заснула. Впервые в жизни (и это тоже указывало на мое особое положение) мне предоставили возможность решать это самой.

Дом очень постепенно отходил от света дня и от вечернего света ламп. Шум повседневных дел — развесить одно, закончить другое — оставался позади, и дом, постепенно сбрасывая с себя людей, работу, правящую их жизнями, пользу, которую они извлекают из всего, что попадется под руку, становился странным местом. Мебель без направленного на нее человеческого внимания как бы замыкалась в себе и переставала существовать.

Вы можете счесть это освобождением. Поначалу, вероятно, так и было. Странность. Но сон не шел ко мне все дольше и дольше, и в конце концов, когда бессонница стала завладевать мною до рассвета, это беспокоило меня все сильнее. Я начала читать про себя детские стишки, потом — декламировать настоящие стихи, сперва лишь для того, чтобы усыпить себя, потом — уже против своей воли. Казалось, это занятие издевается надо мной. Я сама издевалась над собой — слова превращались в абсурд, в дурацкие бредовые речи.

Я была сама не своя.

Так иногда говорили о людях — я слышала это выражение всю свою жизнь, но никогда не задумывалась о нем.

Ты кто, вообще, такая?

Это выражение я тоже слышала, но никогда не воспринимала в полной мере таящуюся в нем угрозу, считая его обычным зачином для ссоры.

Похоже, я ошибалась.

К этому времени моей главной целью уже был не сон. Я знала, что просто заснуть — не получится. А может, даже и нежелательно. Что-то овладевало мной, и моей задачей и единственной моей надеждой было сопротивление этому чему-то. У меня хватило ума — хотя и едва-едва — сообразить, что надо сопротивляться. Это «оно», чем бы оно ни было, толкало меня на разные поступки — без причины, просто чтобы узнать, можно ли это сделать. Оно давало мне понять, что мотивы не нужны.

Нужно только послушаться. Как странно. Не из мести, не по какой-то другой по-человечески понятной причине, а просто потому, что тебе что-то пришло в голову.

И мне пришло в голову, да еще как. Чем больше я отгоняла эту мысль, тем сильней она возвращалась. Ни мести, ни ненависти — никаких причин, как я уже сказала, кроме той, что мною завладевало что-то лежащее в глубинах, холодное как лед — не то чтобы тяга, скорее созерцаемая

мысль.

Эта мысль существовала и присутствовала у меня в голове.

Мысль заключалась в том, что я могу задушить свою сестренку, спящую на нижней койке. Сестренку, которую я люблю больше всего на свете.

Я могла это сделать — не из ревности, злобы, гнева, но по причине безумия, которое, казалось, лежало ночами в кровати рядом со мной. Не дикое, злобное безумие — скорее почти насмешливое. Лениво, насмешливо, полусонно предлагающее — оно словно давно выжидало момента.

Оно словно говорило: «Почему бы нет? Почему не попробовать сразу самое худшее?»

Самое худшее. Здесь, в знакомейшем из мест, в комнате, где мы спали всю жизнь, в комнате, которую мы считали своим самым безопасным прибежищем. Я могла это сделать — без причины, понятной мне или кому-либо еще, просто потому, что была не в силах противиться.

Я осознала, что обязана встать и убраться из комнаты и вообще из дома. Я слезла с верхней койки, не бросив ни единого взгляда на спящую сестру. Потом тихо спустилась по лестнице — в доме никто не шелохнулся — и вошла на кухню,

такую знакомую, что мне даже не нужно было включать свет. Кухонная дверь никогда не запиралась — я даже не знала, есть ли у нас ключ от нее. Мы только засовывали под дверную ручку стул, чтобы любой, кто войдет, поднял дикий грохот. Стул можно было вытащить без единого звука, если постараться.

После первой же ночи я научилась двигаться плавно и без помех, так что оказывалась снаружи через несколько секунд.

Снаружи никакого света не было — мы жили слишком далеко от города.

Все было больше. Деревья вокруг дома, которые мы всегда звали словно по имени — Бук, Вяз, Дуб, Клены (всегда во множественном числе, неразделимые, потому что они стояли тесной группой). Сейчас они были непроницаемо черными. Как и два дерева уже отцветшей сирени, одно — белой и одно — лиловой (мы всегда называли их деревьями, а не кустами, потому что они выросли очень большие и высокие).

Идти по газонам вокруг дома — спереди, сзади, по бокам — было несложно, так как я подстригала их сама (в попытке придать дому респектабельность, сходную с городской).

Восточная и западная стены дома смотрели в

два разных мира, — во всяком случае, мне так казалось. Восточная стена была городской, хотя от нас города и не было видно. Меньше чем в двух милях дома стояли рядами, там были уличные фонари и водопровод. Я сказала, что ничего этого от нашего дома не было видно, но я не берусь отрицать, что при очень большом желании можно было разглядеть слабый свет в небе.

К западу от дома лежала длинная излучина реки, поля, деревья, закаты — и ничего такого, что могло бы прервать их плавный ход. Абсолютно ничего напоминающего о людях, по моему мнению, или об обычной жизни.

Я ходила взад-вперед — сначала рядом с домом, потом осмелела и стала заходить подальше, особенно когда научилась полагаться на зрение и уже не боялась налететь на колонку с водой или на основание столба для бельевой веревки. Наверху в кронах деревьев просыпались птицы и начинали петь — поодиночке, словно каждая догадывалась до этого самостоятельно. Они просыпались гораздо раньше, чем я привыкла думать. Но вскоре после самых первых песен небо чуточку светлело. И меня вдруг начинало клонить в сон. Я возвращалась в дом, полный неожиданной тьмы, очень методично, осторож-

но и тихо подсовывала стул под дверную ручку и беззвучно поднималась наверх, преодолевая ступеньки и двери с необходимыми предосторожностями, хотя вроде бы уже спала на ходу. Я падала в постель, засыпала и просыпалась поздно («поздно» в нашем доме означало часов восемь утра).

Проснувшись, я все помнила, но это «все» было так нелепо — во всяком случае, самая страшная часть была настолько нелепой, — что мне не составляло труда выкинуть ее из головы. Брат и сестра к этому времени уже уходили в школу, но грязная посуда от их завтрака еще стояла на столе — последние воздушные рисинки плавали в оставшемся на донышке молоке.

Нелепо.

Когда сестра приходила из школы, мы с ней качались в гамаке — она с одного конца, я с другого.

Именно в этом гамаке я проводила бóльшую часть дня, и это, может быть, способствовало тому, что я не могла уснуть ночью. А поскольку я никому не рассказывала о своих ночных затруднениях, никто не дал мне простого совета — побольше двигаться днем.

Разумеется, с наступлением ночи все мои беды

возвращались. Демоны вновь завладевали мной. Скоро я уже поняла, что лучше вставать сразу — без толку притворяться, что дела пойдут на лад и что я на самом деле усну, если сильно постараюсь. Я выбиралась из дому, так же осторожно, как и раньше. Теперь мне было легче ориентироваться — даже внутри дома я стала лучше видеть, но ощущения были еще более странными. Я различала обшитый шпунтовыми досками потолок кухни, которому было столько же лет, сколько дому — около ста; и следы собачьих зубов на раме северного окна — ее задолго до моего рождения изгрыз запертый в кухне пес. Я вспомнила то, что давно и прочно забыла, — что вот здесь когда-то была песочница, где я играла, ее специально поставили под северным окном, чтобы матери было удобнее за мной приглядывать. Теперь на месте бывшей песочницы разрослась огромная купа спирей, почти полностью загородив вид из окна.

В восточной стене кухни окон не было совсем, но была дверь на крыльцо, с которого мы вешали тяжелое мокрое белье после стирки, а потом снимали уже сухое, благодарно пахнущее свежестью — от белых простыней до тяжелых темных рабочих комбинезонов.

На этом крыльце я иногда задерживалась во

время ночных прогулок. Я никогда не присаживалась, но у меня становилось легче на душе, когда я смотрела в сторону городка, может быть пытаясь вдохнуть частицу его атмосферы здравого рассудка. Скоро там проснутся все люди — им надо идти торговать в лавках, отпирать двери, забирать с крыльца доставленное молочником молоко и вообще суетиться.

Как-то ночью — я не могла бы сказать, какая она по счету: двадцатая, двенадцатая, а может, всего лишь восьмая или девятая из ночей моих бессонных прогулок, — у меня появилось ощущение, что за углом кто-то есть, но появилось слишком поздно, и я не успела затормозить. Там кто-то ждал, но мне ничего не оставалось делать, как шагать вперед. Если я поверну назад, меня поймают, и это будет еще хуже, чем встретить неизвестное лицом к лицу.

Кто же это был? Не кто иной, как мой отец. Причем он сидел на крыльце, глядя в сторону города и едва различимого зарева. Он был одет как днем — в темные рабочие штаны, почти комбинезон, но не совсем, рубашку из грубой ткани и сапоги. Он курил. Самокрутку, конечно. Может, именно запах табачного дыма и предупредил меня, хотя, кажется, в те времена запах табачного

дыма был всюду, и внутри домов, и снаружи, так что его никто не замечал.

Он сказал «доброе утро» — вроде бы вполне естественным тоном, хотя ничего естественного в этом не было. У нас в семье подобные приветствия были не приняты. Не потому, что мы были враждебно настроены, просто, я думаю, это считалось излишним, ведь мы и так постоянно видели друг друга в течение дня.

Я тоже сказала в ответ «доброе утро». Наверно, утро и правда совсем близко, а иначе почему отец уже одет для дневной работы. Может быть, и небо уже светлело, но этого никак было не разглядеть за плотными кронами деревьев. И птицы уже пели. Я с каждой ночью возвращалась в кровать все позже и позже, хотя это не так успокаивало, как поначалу. Пропасти, что раньше подстерегали меня в спальне, под кроватью, теперь разверзались в каждом углу.

Тут я задумалась: а почему отец не в комбинезоне? Он был одет так, словно собирался с утра пораньше в город по какому-то делу.

Я не могла теперь ходить — мне сбили ритм.

— Что, не спится? — спросил он.

Первым моим порывом было отрицать, но потом я подумала, как сложно будет доказывать,

что я просто гуляю, и я сказала «да».

Он сказал, что это бывает летними ночами.

— Ложишься весь усталый, а потом, когда вроде уже почти заснул, хлоп — и сна ни в одном глазу. У тебя тоже так?

Я сказала, что да.

Я поняла, что он не в первый раз услышал, как я встаю и разгуливаю ночью. Когда все, чем ты зарабатываешь себе на хлеб, расположено в доме и на участке, и все твои сбережения хранятся здесь же, и ты держишь револьвер в ящике стола — разумеется, проснешься от самых легких шагов на лестнице, самого осторожного поворота дверной ручки.

Не знаю, какой разговор он собирался завести в связи с тем, что я не сплю. Он уже объявил, что бессонница — это неприятно, но будет ли дальше что-то еще? Я точно не собиралась с ним откровенничать. Если бы он хоть полунамеком показал, что знает: здесь кроется нечто большее, если бы он обмолвился, что пришел сюда выслушать мое признание, — думаю, он бы вообще ничего из меня не вытянул. Мне пришлось самой прервать молчание и сказать, что я не могу уснуть. Мне приходится вставать и ходить.

Почему это?

Я не знала.

Может, плохие сны?

Нет.

— Дурацкий вопрос, — сказал он. — От хороших снов люди из постели не убегают.

Я ждала приглашения, чтобы рассказывать дальше, но он ничего не спрашивал. Я хотела дать задний ход, но продолжала говорить. Я сказала ему правду, только чуть-чуть приукрашенную.

Я заговорила о сестре: я боюсь, что причиню ей вред. Я думала, что этого будет достаточно, что он поймет, о чем я.

— Что я ее задушу, — сказала я чуть погодя. Все-таки не смогла остановиться.

Теперь я уже не могла взять назад свои слова. Мне больше не было возврата ко мне прежней.

Отец меня услышал. Он услышал, что я считаю себя способной задушить маленькую Кэтрин в постели, безо всякой причины.

— Ну, — сказал он.

А потом сказал, чтобы я не беспокоилась.

— У людей иногда бывают такие мысли.

Он сказал это очень серьезно и безо всякой тревоги, не шарахнулся от удивления. Да, у людей бывают такие мысли, или, если хочешь, страхи, но тут не о чем беспокоиться — это, можно ска-

зать, не опасней, чем плохие сны.

Он не сказал, что именно я вне опасности, поскольку не способна сделать ничего такого. Казалось, он скорее считал само собой разумеющимся, что подобное просто невозможно. Он сказал, что это из-за эфира. Которым меня усыпляли в больнице. Такие мысли значат не больше, чем сны. Ничего подобного не может произойти, точно так же как в наш дом не может ударить метеорит (конечно, теоретически может, но вероятность так мала, что все равно что не может).

Он не винил меня за эти мысли. «Не дивился им», как он выразился.

Он мог бы сказать и что-нибудь еще. Например, расспросить меня поподробней о моем отношении к сестре или о том, что меня не устраивает в моей жизни. Если бы все это происходило в наши дни, он мог бы записать меня на прием к психологу. (Думаю, именно это я сделала бы для ребенка в такой ситуации — поколением позже, доходом больше.)

Но и то, что он сделал тогда, тоже помогло, вот в чем дело. Его слова, без тревоги и без насмешки, помогли мне зацепиться якорем в осязаемом мире.

У людей бывают мысли, которых они сами не

хотят. Такое случается.

В наши дни родитель со стажем обязательно обнаруживает, что совершил ошибки, о которых не знал, наряду с теми, о которых знает даже слишком хорошо. Современный родитель вынужден со смирением осознавать собственные недостатки, а иногда переживать отвращение к самому себе. Мой отец, скорее всего, ничего подобного не испытывал. Я знаю что, если бы когда-нибудь предъявила ему претензии за ремень для правки бритв, которым он меня иногда воспитывал, он бы ответил что-нибудь вроде «нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Таким образом, если он вообще помнил эти порки, то лишь как необходимый и соответствующий случаю метод объяснить обнаглевшему ребенку, что он в семье не главный.

«Чтоб ты не думала, что ты тут самая умная», — такое объяснение он давал иногда, и действительно, в те времена такое объяснение было распространенным. «Слишком умный» ребенок был зловредным чертенком, из которого эту зловредность полагалось немедленно выбить. А то, чего доброго, он так и вырастет в уверенности, что он самый умный. Или она. Самая умная.

Однако тем едва брезжащим утром он сказал

именно то, что мне нужно было услышать, и скоро я даже забыла его слова.

Потом я думала, что, может быть, он оделся получше, потому что с утра собирался в банк, где ему объявили, ничуть его не удивив, что отсрочку по выплате займа не дадут. Он работал изо всех сил, но ситуация на рынке не собиралась меняться, и отцу нужно было искать другой способ кормить семью и в то же время выплачивать долг. А может, тем утром он узнал, что дрожь моей матери имеет определенное название и уже никогда не прекратится. Или что он влюблен в недосягаемую женщину.

Не важно. С тех пор я могла спать.

Голоса

Когда моя мать была девочкой, она и вся ее семья ходили на танцы. Танцы устраивались в сельской школе, а иногда и в доме у какого-нибудь фермера, если там была достаточно большая гостиная. Приходили все, и стар и млад. Кто-нибудь играл на пианино — школьном или домашнем, а иногда кто-нибудь еще приносил скрипку. Танцевали сельскую кадриль, у которой была сложная последовательность шагов, или фигур, поэтому кто-нибудь сведущий (обязательно мужчина) объявлял их, выкрикивая во все горло и очень быстро одну за другой, так что от этих криков было мало толку для незнакомых с танцем. Впрочем, его умели танцевать все уже годам к десяти-двенадцати.

Когда мать превратилась в замужнюю женщину с тремя детьми — то есть нами, — по возрасту и темпераменту она еще могла бы ходить на такие танцы, живи она в настоящей деревне, где они устраивались до сих пор. Ей понравился бы и круговой танец пар, который до определенной степени вытеснил старую манеру танцевать. Но мать была в странном положении. Мы все были

в странном положении. Наша семья жила не в городе, но, строго говоря, и не в деревне.

Мой отец, который пользовался гораздо большей любовью, чем мать, считал, что человек должен принимать удел, данный ему судьбой. В отличие от моей матери. Она поднялась от деревенской девушки до учительницы, но этого было недостаточно — это не дало ей ни желанного положения в обществе, ни городских друзей. Она жила в неправильном месте, и у нее было слишком мало денег, но даже и без этого она не смогла бы вращаться в свете. Она играла в юкр, но не в бридж. Ее возмущал вид курящей женщины. Я думаю, что людей отталкивала ее чрезмерная напористость и ее чересчур книжная речь. Она использовала выражения вроде «поистине» и «с готовностью». Она говорила так, словно выросла в какой-то странной семье, где в самом деле так разговаривали. А это была неправда. Мои тети и дяди, живущие на фермах вдали от города, говорили точно так же, как все нормальные люди. Кстати, они тоже недолюбливали мою мать.

Я не хочу сказать, что она просиживала целые дни, мечтая, чтобы жизнь была не такой, какой она была на самом деле. У матери не было времени сидеть и бездельничать — как и у любой

женщины, которая живет в доме без водопровода, для стирки вынуждена втаскивать корыто в кухню, а бóльшую часть лета проводит, готовя припасы, которые семья будет есть зимой. Мать даже свое разочарование во мне не успевала выразить как следует: ей не хватало времени удивляться, почему я не привожу к нам домой правильных подружек из городской школы или вообще хоть каких-нибудь подружек. Или почему я теперь ни за что не соглашаюсь декламировать в воскресной школе, хотя раньше хваталась за любую возможность. Или почему я прихожу домой с раздерганными локонами (это святотатство я совершала сама, еще не дойдя до школы, потому что там никто не носил прическу, какую делала мне мать). Или почему я вдруг лишилась удивительной памяти на стихи, которая у меня когда-то была, и наотрез отказываюсь блеснуть ею перед публикой.

Но я не всегда дуюсь и перечу матери. Пока нет. Вот я десятилетняя, горящая желанием нарядно одеться и пойти вместе с матерью на танцы.

Танцы устраиваются в доме, расположенном на нашей дороге, — дом выглядит прилично, но его хозяева явно не процветают. Он большой, деревянный. Я ничего не знаю о людях, которые в

нем живут, кроме того, что хозяин дома работает на литейном заводе, хотя по возрасту годится мне в дедушки. Тогда с литейного завода не уходили на пенсию, а работали, пока могли, стараясь накопить деньги на то время, когда больше уже работать не сможешь. Даже в разгар того, что я потом научилась называть Великой депрессией, считалось позором получать государственную пенсию по старости. Позором для твоих взрослых детей, которые это допустили, даже если сами они едва сводят концы с концами.

Сейчас у меня возникают вопросы, которые не возникли тогда.

Зачем хозяева того дома устраивали танцы — просто чтобы повеселиться? Или они брали деньги с посетителей? Может быть, у них были трудности, несмотря на то что хозяин дома работал. Счета за лечение. Я знала, как тяжело это может быть для семьи. Моя младшая сестра была, как говорится, хрупкого здоровья, и ей уже вырезали гланды. Мы с братом каждую зиму переносили тяжелый бронхит, и приходилось звать доктора. Доктора́ стоили денег.

Другой вопрос, которым я бы задалась сейчас, — почему на танцы с матерью пошла я, а не отец. Впрочем, это не такая уж загадка. Мать любила

танцевать, а отец, может быть, не любил. И еще тот, кто остался дома, должен был приглядывать за двумя маленькими детьми, а я еще не доросла до этого. Я не могу припомнить, чтобы мои родители хоть раз нанимали бебиситтера. Тогда, кажется, и само это слово было еще не в ходу. В подростковом возрасте я подрабатывала бебиситтером, но к тому времени многое изменилось.

Мы были нарядно одеты. На деревенские танцы, которые помнила моя мать, никто не ходил в игривых нарядах для сквер-данса, которые позже показывали по телевизору. Все одевались в свое лучшее, и не сделать этого, прийти в оборочках и шейных платках, которые, по мнению телевизионщиков, носили деревенские жители, значило бы оскорбить хозяев дома и всех собравшихся. Я была в платье из мягкой зимней шерсти, сшитом матерью. Розовая юбка, желтый верх, и сердце из розовой шерсти нашито на месте, где у меня когда-нибудь вырастет левая грудь. Мои волосы мать расчесала, намочила водой и закрутила в толстые локоны-колбаски, от каких я избавлялась каждый день по дороге в школу. Я не хотела идти на танцы с этой прической и объяснила матери, что таких локонов никто, кроме меня, не носит. Она ответила, что всем остальным просто

не повезло так, как мне. Я перестала жаловаться, потому что очень хотела на танцы, а может, потому, что решила: все равно никого из моей школы там не будет, так что это не имеет значения. Я всегда боялась насмешек соучеников.

Платье матери не было домодельным. Это было ее лучшее платье — слишком элегантное для церкви и слишком нарядное для похорон, и потому надеваемое очень редко. Черное, бархатное, с рукавами до локтя и высоким вырезом. Самым замечательным в этом платье была россыпь крохотных бисеринок, серебряных, золотых и разноцветных, которыми был расшит весь корсаж: они отражали свет и переливались, когда мать двигалась или просто дышала. Волосы — еще почти полностью черные — она заплела в косы и заложила их тугой коронкой на макушке. Не будь это моя мать, я сочла бы ее завораживающе красивой. Думаю, я и так сочла ее красивой, но, когда мы вошли в чужой дом, я заметила, что ее лучшее платье совсем не похоже на платья других женщин, хотя они наверняка тоже оделись в свое лучшее.

Другие женщины, о которых я говорю, были на кухне. Мы зашли туда и стали разглядывать угощения, расставленные на большом столе.

Разнообразные корзиночки, печенья, пироги и торты. Моя мать тоже поставила на этот стол какое-то затейливое творение своих рук и принялась суетиться вокруг него, поправляя и наводя красоту. Она сказала, что угощения выглядят восхитительно.

Точно ли она употребила это слово — «восхитительно»? Может, она и что-то другое сказала, но в любом случае это резало слух. Я пожалела, что с нами нет отца, — он всегда говорил что-нибудь идеально подходящее к ситуации, даже если его речь при этом звучала грамматически правильно. Дома он всегда говорил правильно, а вот вне дома — не всегда. Он плавно подстраивался к любому разговору: понимал, что главное тут — не говорить ничего выделяющегося на общем фоне. Мать была его полной противоположностью. Любые ее слова произносились отчетливым, звенящим голосом и были рассчитаны на привлечение внимания.

Именно это и происходило сейчас. Она восторженно засмеялась, словно компенсируя тот факт, что с ней никто не разговаривал. Затем спросила, где можно оставить пальто.

Оказалось, что их можно бросить где угодно, но, если очень хочется, сказал кто-то, можно

отнести их наверх в спальню и положить на кровать. Наверх надо было подниматься по узкой лестнице, стиснутой со всех сторон стенами и без света, если не считать лампочки на самом верху. Мать велела мне идти вперед — она меня догонит через минуту, и я пошла.

Тут можно задаться еще одним вопросом, взималась ли плата за вход на танцы. Может быть, мать осталась внизу, чтобы заплатить? С другой стороны, возможно ли, что люди платили за вход и при этом еще приносили угощение? И действительно ли это угощение было таким роскошным, как я помню? Притом что все были так бедны? Но, может быть, все ощущали себя уже не такими бедными: с наступлением войны открылась куча рабочих мест, и к тому же солдаты слали деньги домой. Если мне действительно было десять лет, как я думаю сейчас, значит эти изменения уже года два как начались.

Одна лестница шла из кухни, другая из гостиной, и где-то на полдороге они соединялись в одну, идущую наверх в спальни. Избавившись от пальто и сапог в прибранной первой спальне, я все еще слышала звенящий голос матери из кухни. Но еще я услышала музыку из гостиной и пошла по лестнице, ведущей туда.

Из комнаты вынесли всю мебель, оставили только пианино. На окнах висели темно-зеленые матерчатые шторы, которые показались мне ужасно унылыми. Но атмосфера была вовсе не унылая. Люди танцевали, чопорно держась на небольшом расстоянии друг от друга, сойдясь в тесный кружок и шаркая ногами или раскачиваясь в такт. Две девушки — еще школьницы — танцевали в стиле, который только входил в моду: двигаясь друг против друга и лишь изредка берясь за руки. При виде меня они по-настоящему заулыбались в знак приветствия, и я растаяла от счастья, как всегда, когда на меня обращала внимание какая-нибудь уверенная в себе девочка постарше.

Одну женщину из присутствующих нельзя было не заметить: ее платье точно затмило бы даже наряд моей матери. Она, видимо, намного старше матери: волосы у нее были белые, уложенные горячими щипцами в гладкую затейливую конструкцию, и обнимали голову плотными волнами. Крупная, с роскошными плечами и широкими бедрами, в платье из золотисто-оранжевой тафты с низким квадратным вырезом и юбкой, едва закрывающей колени. Короткие рукава туго обтягивали руки — тяжелые, белые и

гладкие, как кулинарный жир.

Это зрелище меня поразило. Я никогда не подумала бы, что можно выглядеть одновременно старой и утонченной, тяжеловесной и грациозной, вести себя беззастенчиво и в то же время держаться с достоинством. Пожалуй, эту женщину можно было бы назвать беспардонной, и, может быть, чуть позже моя мать именно так ее и назвала — такое словечко было в ее духе. Человек, настроенный более благосклонно, мог бы назвать эту женщину властной. Она в самом деле не старалась выделиться — разве что фасоном и цветом платья. Она и ее спутник танцевали чинно и без особого пыла, как супруги со стажем.

Я не знала, как ее зовут. Я видела ее впервые в жизни. Я не знала, что она пользуется громкой славой в нашем городке и, может быть, за его пределами тоже.

Если бы я сочиняла из головы, а не записывала свои воспоминания, я бы ни за что не придумала для нее такое платье. Своего рода рекламу, в которой она не нуждалась.

Конечно, если бы я жила в городе, а не просто каждый день ходила в городскую школу, я могла бы знать, что эта женщина — известная проститутка. И наверняка я бы видела ее в городе, хотя

и не в этом платье. И я, скорее всего, не использовала бы слово «проститутка». Я бы знала, что она «плохая женщина». Я бы знала, что в ней есть что-то отвратительное, опасное, восхитительное и смелое, но не знала бы точно, что именно. А если бы кто-нибудь попытался мне объяснить — думаю, я бы не поверила.

В городе встречались люди со странностями, и, может быть, я решила бы, что и она из таких. Был, например, горбун, который каждый день полировал двери ратуши и, насколько мне известно, больше ничего не делал. И прилично одетая женщина, которая все время громко беседовала сама с собой, ругая людей, которых поблизости не было.

Со временем я узнала бы, как ее зовут, и в конце концов выяснила бы, что она и вправду делает все то, во что я не могла поверить. И еще узнала бы, что мужчина, с которым она танцует и который, кажется, так и остался для меня безымянным, — владелец бильярдной в городе. Когда я была уже старшеклассницей, однажды мы шли мимо бильярдной с какими-то девочками из нашей школы, и они подначили меня зайти внутрь, и я зашла, и там оказался он, этот самый человек. Только он растолстел, облысел и был

уже не так элегантно одет. Не помню, заговорил ли он со мной, но это было и не нужно. Я пробкой вылетела обратно на улицу, где меня ждали подруги (впрочем, выходит, не такие уж и подруги), и ничего им не сказала.

При виде владельца бильярдной я как наяву вспомнила те танцы, грохочущее пианино и скрипку, и оранжевое платье, которое я к этому времени уже назвала бы смешным, и внезапное появление моей матери — в пальто, которое она, похоже, так и не успела снять.

— Где твое пальто? — спросила она таким тоном, словно я его потеряла.

— Наверху.

— Ну так пойди забери его.

Она сама увидела бы его, если бы побывала наверху. Должно быть, она так и не прошла дальше кухни — все суетилась вокруг угощения, расстегнув собственное пальто, но не сняв его, а потом заглянула в комнату, где танцевали, и узнала женщину в оранжевом платье.

— И не задерживайся, — добавила она.

Я и не собиралась задерживаться. Я открыла дверь на лестницу, взбежала на несколько ступенек и заметила, что там, где лестница поворачивает, сидят какие-то люди, закрывая мне

путь. Они не видели, что я иду: похоже, были заняты чем-то серьезным. Не то чтобы спорили, но вели какой-то неотложный и важный разговор.

Двое из них были мужчины. Молодые, в форме военно-воздушных сил. Один сидел на ступеньке, другой стоял чуть ниже, поставив одну ногу на ступеньку повыше и опираясь рукой на колено. Еще выше их на лестнице сидела девушка, и ближайший к ней мужчина поглаживал ей ногу, как будто утешал. Девушка плакала — я подумала, что она, должно быть, споткнулась на узкой лестнице и ушиблась.

Пегги. Ее звали Пегги. «Пегги, Пегги», — повторяли молодые люди настойчиво и даже нежно.

Она что-то сказала, но я не разобрала слов. У нее был детский голосок. Она жаловалась — так жалуются на что-то такое, что кажется нечестным. Повторяешь снова и снова: «Это нечестно», но голос звучит безнадежно, словно ты и не ждешь, что несправедливость будет устранена. Еще в таких случаях говорят «вредный». Люди такие вредные. Кто-то ужасно вредничает.

Прислушиваясь к разговору матери с отцом уже после нашего возвращения домой, я выяснила кое-какие подробности происшествия, но в цельную картину они все равно не сложились.

На танцы явилась миссис Хатчинсон — ее привез владелец бильярдной. Впрочем, тогда я еще не знала, что он — владелец бильярдной. Я не помню, каким именем назвала его моя мать, но она была в ужасном шоке от его поступка. Новости о танцах разнеслись по округе, и какие-то мальчики из Порт-Альберта — то есть с базы ВВС — решили тоже прийти. Конечно, в этом ничего плохого не было. В том, что мальчики с базы ВВС решили прийти. Позором было явление миссис Хатчинсон. И ее девицы.

Она привела одну из своих девиц.

— Может, ей просто хотелось развеяться, — сказал отец. — Может, она любит танцевать.

Мать, кажется, его слов даже не услышала. Она сказала, что это позор. Приходишь, желая приятно провести время, на приличный танцевальный вечер по соседству, и тебе всё портят.

У меня тогда была привычка оценивать внешность девочек постарше. Пегги не показалась мне особенно красивой. Может быть, ее макияж стерся от плача. Мышиного цвета волосы, уложенные валиком, закреплены заколками-невидимками и частично выбились из укладки. Ногти покрыты лаком, но все равно заметно, что она их грызет. Она казалась нисколько не взрослее тех склон-

ных к нытью, пронырливых, ябедничающих девочек постарше, которых я знала. Но, несмотря на это, молодые люди обращались с ней так, словно не могли допустить в ее жизнь ни единого неприятного момента. Словно ее по праву следовало нежить, ублажать и склонять перед ней голову.

Один парень предложил ей фабричную сигарету. Это само по себе уже было немалым подарком: мой отец курил самокрутки, и все остальные, кого я знала, тоже. Но Пегги замотала головой и тем же обиженным голосом сказала, что не курит. Тогда другой парень протянул ей пластинку жвачки, и Пегги приняла ее.

Что здесь происходило? Мне неоткуда было узнать. Юноша, предложивший Пегги жвачку, заметил меня, пока рылся в кармане, и сказал:

— Пегги! Пегги, тут девочка хочет пройти наверх.

Она уронила голову на грудь так, что я не могла заглянуть ей в лицо. Проходя мимо, я уловила аромат духов. Еще был запах сигарет и мужественный запах шерстяной военной формы и начищенных ботинок.

Когда я спускалась, уже в пальто, все трое сидели там же, но на этот раз ожидали моего

появления и молчали, пока я проходила мимо. Только Пегги испустила громкий всхлип, а ближайший к ней парень продолжал гладить ее по бедру. Юбка у нее задралась, и я увидела зажим чулка.

Мне очень долго помнились их голоса. Не Пегги, а парней. Я размышляла об этих голосах. Теперь я знаю, что некоторые пилоты из тех, что служили в Порт-Альберте в самом начале войны, прибыли из Англии. Здесь, на авиабазе, их учили воевать с немцами. И я думаю, что это выговор уроженцев какой-нибудь части Англии показался мне таким нежным и завораживающим. Я совершенно точно никогда в жизни не слышала, чтобы мужчина так разговаривал, чтобы с женщиной обращались как с утонченным и ценимым созданием и любую грозящую ей невзгоду воспринимали как преступление против закона, грех.

Как я объясняла себе плач Пегги? Тогда я не задавалась этим вопросом. Я сама была трусихой. Я плакала, когда меня гнали и швыряли в меня черепицей на пути домой из моей первой школы. Я плакала, когда учительница из городской школы отругала меня одну перед всем классом, указывая на чудовищную неаккуратность моей парты. И когда она позвонила моей матери, жа-

луясь на то же самое, и мать повесила трубку и разрыдалась сама, ибо не могла мной гордиться и потому была несчастна. Мне казалось, что одни люди от природы смелые, а другие — нет. Наверно, кто-нибудь что-нибудь сказал Пегги, и она захлюпала, потому что была тонкокожей, вроде меня.

Наверно, это та женщина в оранжевом платье ее обидела, подумала я ни с того ни с сего. Наверняка это та женщина. Потому что, если бы Пегги обидел мужчина, кто-нибудь из ее утешителей, пилотов, обязательно с ним разобрался бы. Велел бы ему заткнуться, а может, вытащил бы на улицу и побил бы.

Поэтому меня не интересовала Пегги — ее слезы, ее помятый вид. Она была слишком похожа на меня. Я дивилась ее утешителям. Как они словно склонялись перед ней, произнося обеты служения.

Что они говорили? Ничего особенного. «Ну, ну. Ничего, Пегги. Не плачь. Чего ты, Пегги. Не надо».

Какая доброта! Удивительно, что человек может быть таким добрым.

Да, эти молодые люди, которых привезли в нашу страну, чтобы научить вылетам на бомбо-

метание (и из которых многие погибли в этих вылетах), вероятней всего, разговаривали как обычные уроженцы Корнуолла, Кента, Халла или Шотландии. Но мне казалось, что стоит лишь им открыть рот, и они произносят некое благословение на текущий миг. Мне не пришло в голову, что их будущее катастрофично или что их мирная жизнь была вышвырнута в окно и разбилась вдребезги. Я только думала о благословении — о том, какое счастье, когда это благословение относится к тебе, и как странно, незаслуженно повезло Пегги.

Потом я долго помнила этих молодых людей — не могу сказать, как долго. В холодной темноте спальни они укачивали меня, помогая заснуть. Я умела включать их по желанию, вызывать в памяти их лица и голоса — и много больше, теперь их голоса были обращены ко мне, а не к какому-то ненужному посреднику. Их руки благословляли мои собственные тощие бедра, их голоса убеждали меня, что я тоже достойна любви.

И, все еще населяя мои пока не совсем эротические фантазии, они ушли вдаль. И многие, очень многие не вернулись.

Дороже самой жизни

В детстве я жила в самом конце длинной дороги — а может, это мне она казалась длинной. Когда я шла домой из школы — сперва из начальной, потом из старших классов, — настоящий, хоть и маленький, город с его суетой, тротуарами и вечерним светом уличных фонарей оставался позади. Границу городка отмечали два моста через реку Мейтленд: один узкий, железный — на нем порой случались скандалы, когда два водителя не могли договориться, кто кому должен уступить; и второй, деревянный пешеходный мостик, у которого иногда не хватало одной планки, и тогда можно было смотреть прямо вниз, в торопливую сверкающую воду. Мне это нравилось, но доску всегда в конце концов заменяли.

За мостами была неглубокая лощина с парой ветхих домишек, которые каждую весну затапливало паводком, но все равно их кто-то заселял — все время разные люди. Потом был еще один мост — через мельничный лоток, узкий, но глубокий, утонуть хватит. Потом дорога раздваивалась — можно было свернуть на юг, перевалить через холм и еще раз пересечь реку,

после чего эта дорога превращалась в настоящее шоссе. А можно было пойти по другой дороге и, обогнув участок, где когда-то устраивалась ярмарка, свернуть на запад.

Я сворачивала на запад.

Была еще дорога на север — вдоль нее шел недлинный, но настоящий тротуар и стояли дома, тесно, как в городе. У одного в окне до сих пор висела вывеска «Чай „Салада“» — память о том, что здесь когда-то была продуктовая лавка. За этими домами стояла школа — я проходила в нее целых два года и была бы счастлива больше никогда в жизни ее не видеть. По прошествии этих двух лет мать заставила отца купить старый сарай в городке — так отец становился городским налогоплательщиком и я получала право ходить в городскую школу. Потом оказалось, что это было не обязательно — в тот год и в тот самый месяц, когда я пошла в школу в городе, началась война с Германией, и, словно по волшебству, старая школа — где злые дети отбирали у меня завтрак и угрожали меня побить и где, кажется, никто ничему не учился, потому что учиться в таком хаосе было невозможно, — постепенно сошла на нет. Скоро от нее остался только один класс и один учитель, который, вероятно, даже

не запирал двери на перемене. По-видимому, те мальчишки, что все время риторически и пугающе спрашивали, хочу ли я «трахаться», так же стремились выйти на работу, как их старшие братья — уйти на фронт.

Не знаю, затронул ли прогресс школьные туалеты, но в мое время они были хуже всего. Конечно, дома мы тоже пользовались выгребной ямой, но у нас туалет, по крайней мере, был чистый и даже с линолеумом на полу. В школе же никто не старался целиться в дыру — то ли чтобы показать свое презрение к окружающим, то ли по какой иной причине. В городе, впрочем, мне тоже пришлось нелегко во многих отношениях — все остальные учились вместе с первого класса, и я многого не знала из того, что знали они, — но каким счастьем был вид незапятнанных туалетных сидений и благородный городской звук воды, текущей в сливном унитазе.

Одну подругу в той первой школе я все же завела. Эта девочка — я буду звать ее Диана — появилась в моей жизни в середине второго класса. Она была примерно моего возраста и жила в одном из тех домов, рядом с которыми проходил тротуар. Однажды Диана спросила меня, умею ли я танцевать шотландский флинг, и, когда я

сказала, что нет, предложила меня научить. Для этого мы после школы направились к Диане домой. Ее мать умерла, и она жила с дедушкой и бабушкой. Она сказала, что для шотландского флинга нужны специальные щелкающие туфли, которые у нее были, а у меня, конечно, нет, но у нас был почти одинаковый размер ноги, так что мы смогли поменяться на то время, пока Диана пыталась меня учить. В конце концов нам захотелось пить, и бабушка Дианы дала нам воды, но вода оказалась ужасная, из копаного колодца, совсем как в школе. Я сказала, что дома у нас вода гораздо лучше, из скважины, и бабушка совсем не обиделась и ответила, что ей бы тоже хотелось, чтобы у них была скважина.

Но потом — слишком скоро — рядом с домом, на улице, появилась моя мать: она поехала в школу и выяснила, куда я делась. Она вызвала меня гудком, а когда бабушка Дианы приветливо помахала ей рукой, даже не ответила. Мать редко садилась за руль, а когда приходилось, вела машину с какой-то нервной торжественностью. По дороге она приказала мне больше никогда не переступать порог того дома. (Это оказалось нетрудно, потому что еще через несколько дней Диана перестала появляться в школе — ее куда-то

услали.) Я сказала, что мама Дианы умерла, и мать ответила, что да, она об этом знает. Я рассказала ей про шотландский флинг, и мать сказала, что, вероятно, я когда-нибудь научусь танцевать его как следует, но только не в этом доме.

Тогда я еще не знала — и не помню, когда узнала, — что мать Дианы была проституткой и умерла от какой-то болезни, которой, по-видимому, неизбежно заражаются проститутки. Она хотела, чтобы ее похоронили в родных местах, и поэтому ее отпевал священник той церкви, в которую ходила и наша семья. Библейский стих, использованный им для проповеди, вызвал некоторые споры. Некоторые думали, что нужно было взять другой текст, но моя мать считала, что священник поступил правильно.

«Ибо возмездие за грех — смерть».

Мать рассказала мне об этом много времени спустя (а может, мне только казалось, что прошло много времени), когда многие ее слова уже вызывали у меня отторжение, особенно когда она говорила таким голосом, уверенным и благоговейным до дрожи.

По временам я встречала бабушку Дианы. Она всегда улыбалась мне. Она хвалила меня за то, что я продолжаю ходить в школу, и рассказывала

мне про Диану, которая тоже какое-то время ходила в школу, хотя и не так долго, как я. По словам бабушки, Диана поступила на работу в ресторан в Торонто, где официантки носили наряды с блестками. Я была уже достаточно взрослая (и достаточно вредная), чтобы предположить, что в обязанности официанток в таком месте входило еще и снимать эти наряды.

Не только бабушка Дианы думала, что я чересчур долго хожу в школу. Вдоль нашей дороги располагался ряд домов — подальше друг от друга, чем в городе, но все же размеры участков не поражали воображение. Один дом, стоящий на небольшом холме, принадлежал некому Уэйти Стритсу, однорукому ветерану Первой мировой войны. Он держал овец, и еще у него была жена, которую я за все эти годы видела один-единственный раз, когда она наполняла ведро у колонки. Уэйти любил шутить по поводу того, что я слишком долго хожу в школу, и очень жаль, что у меня никак не выходит сдать экзамены и покончить с учебой. Я шутила в ответ, притворяясь, что это правда. Я не знаю, что было правдой для Уэйти. Так поддерживались отношения с соседями, живущими на той же дороге. Ты здоровался с ними, они здоровались в ответ и говорили что-нибудь

про погоду, а если они ехали на машине, а ты шел, они тебя подвозили. Не совсем как в настоящей деревне — там обычно все досконально знали, что творится дома у всех остальных, и все зарабатывали себе на жизнь примерно одним и тем же.

На самом деле я провела в старших классах нисколько не больше времени, чем другие дети, которые, как и я, проучились полный курс, пять лет. Но таких было мало. В те времена никто не ожидал, что число выпускников тринадцатого класса, напичканных знаниями и умеющих правильно говорить, будет равно числу учеников, когда-то поступивших в девятый класс. Школьники начинали подрабатывать, и подработки постепенно переходили в настоящую работу на полный день. Девушки выходили замуж и рожали (не обязательно в этом порядке). К тринадцатому классу от первоначального списка оставалась примерно четверть, и в классе царила атмосфера серьезности, любви к знаниям, стремления к намеченной цели, а может, просто безмятежной оторванности от жизни, но в любом случае этот дух оставался с тобой навсегда, несмотря на все последующие превратности судьбы.

Мне казалось, что от большинства тех, кого я

знала в девятом классе — не говоря уже о бывших соучениках из начальной школы, — меня отделяет целая жизнь.

У нас дома в углу столовой стоял некий предмет — я натыкалась на него каждый раз, когда пылесосила, и он каждый раз заново удивлял меня. Я знала, что это такое — сумка с клюшками и мячами для гольфа, с виду совсем новая. Я просто не могла понять, что она делает в нашем доме. Я мало что знала о гольфе, но представляла себе людей, которые в него играли. Они не носили на работу комбинезон, как мой отец (хотя для выходов в город он надевал парадные брюки). Мать я еще могла, напрягшись, вообразить в спортивной одежде, подходящей для игры в гольф, и с перевязанными шарфом волосами — они у нее были красивые и пушистые. Впрочем, представить, как она забивает мяч в лунку, я бы точно не смогла. Мать была выше подобного легкомысленного поведения.

Но, видимо, было время, когда мать считала иначе. Вероятно, она думала, что они с отцом преобразятся в представителей совершенно другого вида — людей, у которых бывает досуг. Гольф. Званые ужины. Должно быть, мать убедила себя, что определенных границ не существует. Ей

удалось сбежать с фермы на голых каменистых просторах Канадского щита — с фермы гораздо более унылой и безнадежной, чем та, где вырос мой отец. Она стала учительницей и говорила теперь так, что ее собственной родне было не по себе в ее обществе. Возможно, мать решила, что после таких усилий ее всюду примут с распростертыми объятьями.

Отец по-другому смотрел на это. Вряд ли он считал, что городские жители или какие-либо другие люди стоят выше его. Но, может быть, он полагал, что они думают именно так. И старался не давать им возможности это продемонстрировать.

Похоже, в том, что касалось гольфа, победил отец.

Нельзя сказать, что ему хотелось жить так, как ожидали от него его собственные родители, и взять на себя управление их фермой, находящейся в приличном состоянии. Когда отец и мать покинули каждый свои родные места и приобрели этот участок в конце дороги у незнакомого городка, чтобы разводить чернобурок, а потом норок, они наверняка собирались разбогатеть. В детстве мой отец гораздо больше любил ставить капканы на пушного зверя, чем помогать на ферме или ходить в школу. Кроме того, капканы

приносили больше денег. Вот у отца и зародилась идея, которая, как он полагал, будет кормить его всю жизнь. Он вложил в дело все свои сбережения, а мать — все, что ей удалось скопить с учительского жалованья. Он сам построил клетки и сараи для зверей, затянув их сеткой, за которой, как за тюремной решеткой, должна была протекать их жизнь. Участок — двенадцать акров — был как раз подходящего размера, с лугом, где можно было косить сено и где хватало места под пастбище для нашей собственной коровы и старых лошадей, ожидающих, когда их скормят лисам. Луг спускался к реке, и еще на нем росли двенадцать старых вязов, дающих тень.

Теперь я понимаю, что в те дни на ферме все время кого-нибудь забивали. Старых лошадей нужно было превращать в мясо, а поголовье пушных зверей сокращать по осени, оставляя лишь на развод. Но я к этому привыкла и научилась не замечать, создавая в уме облагороженную картину окружающей жизни, достойную «Ани из Зеленых Мезонинов» или «Пэт из Сильвер-Буш»[14] — моих любимых книг. Мне помогали вязы, что росли на лугу, и сверкающая река, и

[14] Примечания: 14

Книги канадской писательницы Люси Мод Монтгомери (1874–1942), отчасти идеализирующие жизнь в сельской местности Канады.

ручей, что неожиданным сюрпризом вытекал из откоса над лугом: он поил и обреченных лошадей, и корову, и меня (я специально приносила с собой жестяную кружку). На лугу всегда валялся свежий навоз, но я не обращала на него внимания (как, должно быть, поступала и Аня в Зеленых Мезонинах).

В те дни мне иногда приходилось помогать отцу, поскольку брат был еще мал. Я накачивала воду из колонки и ходила взад-вперед по проходу между клетками, чистя поилки и наполняя их свежей водой. Это занятие мне нравилось. Важность работы и возможность уединиться были мне приятны. Позже меня заставляли сидеть дома и помогать матери — я на это злилась и все время грубила. У нас дома это называлось «переговаривать». «Переговаривая» мать, я, по ее словам, ранила ее чувства и вынуждала ее идти в сарай, чтобы пожаловаться на меня отцу. Ему приходилось прерывать работу, чтобы отходить меня ремнем. (В те времена это было распространенным наказанием.) Потом я лежала, рыдая, в кровати и строила планы побега из дома. Но эта фаза прошла — в подростковом возрасте я стала управляемой, даже приобрела покладистый и ровный характер и научилась с юмором переска-

зывать услышанное в городе или происшествия в школе.

Дом у нас был немаленький. Мы не знали, когда его построили, но ему не могло быть больше ста лет, поскольку первый поселенец остановился в месте, называемом Бодмин, ныне исчезнувшем, в 1858 году. Там он построил плот, спустился вниз по реке и расчистил в лесу место для жилья, а потом эта вырубка превратилась в целую деревню. Скоро в деревне уже были постоялый двор, лесопилка, три церкви и школа — та самая, что стала моей первой и столь ненавистной. Потом через реку построили мост, и до людей начало доходить, насколько удобней жить на другом, высоком берегу. Первоначальное поселение превратилось в бедный пригород, а потом от него и вовсе осталась лишь та странная полудеревня, про которую я уже рассказывала.

Наш дом не относился к самым первым домам раннего поселения (он был обложен кирпичом, а те дома — чисто деревянные), но, по всей вероятности, был построен немногим позже. Он стоял задом к деревне, а передом к полям, идущим слегка под уклон к скрытому повороту реки, — это место называлось Большая Излучина. За рекой была рощица вечнозеленых деревьев — видимо,

кедров, но издали точно не скажешь. Еще дальше, на склоне очередного холма, стоял другой дом: он был так далеко, что казался очень маленьким, и мы ни разу там не бывали и не знали людей, которые там жили, поэтому для меня он был все равно что домик гномов из сказки. Правда, мы знали, как зовут хозяина дома — или, может быть, прежнего хозяина, поскольку не исключалось, что к тому времени он уже умер. Его звали Роли Грэйн, и он не появляется в моем дальнейшем рассказе, несмотря на звучное имя, достойное сказочного тролля. Ведь я не сочиняю, а вспоминаю.

До меня у матери случилось два выкидыша, поэтому, когда родилась я (в 1931 году), родители, видимо, были довольны. Но времена становились все тяжелее. По правде сказать, мой отец немного опоздал заняться пушниной. Успех, которого он надеялся достичь, был более вероятен в середине двадцатых, когда меха вошли в моду и у людей были деньги. Но он начал дело гораздо позже. Мы все же дотянули до самой войны и пережили ее, а когда война кончилась, видимо, наступило кратковременное процветание, поскольку в то лето отец смог отремонтировать дом, покрасив старый красный кирпич в коричневый цвет. Кирпичи и доски в нашем доме были

плохо подогнаны и потому не держали тепло как следовало бы. Предполагалось, что слой краски поможет, но, насколько я помню, не помог. Кроме покраски, мы оборудовали в доме ванную, неиспользуемый кухонный лифт превратили в кухонный шкаф, а большую столовую с открытой лестницей перестроили в обычную жилую комнату, загородив лестницу стеной. Эти перемены оказались неожиданно утешительными, так как отец порол меня именно в гостиной, и с ней было связано мое унижение и желание умереть от позора. Теперь комната разительно изменилась, и трудно было даже представить себе, что в ней когда-то происходило нечто подобное. Я уже перешла в старшие классы и с каждым годом все лучше успевала в учебе, поскольку подшивание подолов на уроках труда и чистописание остались позади, обществоведение сменила история и можно было изучать даже латынь.

Впрочем, после краткого периода оптимистического ремонта наш бизнес опять зачах и на сей раз уже не выправился. Отец ободрал шкуры со всех лис, потом со всех норок, выручил за них что мог (поразительно мало) и после этого днем занимался сносом сараев, где родилось и умерло его предприятие, а к пяти часам шел на смену

на литейный завод. Домой он возвращался лишь около полуночи.

Придя домой из школы, я сразу начинала готовить отцу обед. Я поджаривала два ломтя ветчинного рулета и обильно заливала их кетчупом. Наполняла термос крепким черным чаем. Еще клала маффин с отрубями и вареньем, а иногда — тяжелый, плотный кусок домашнего пирога. По субботам я иногда пекла пирог. Иногда пекла моя мать, хотя на ее выпечку в последнее время уже нельзя было положиться.

Нас постигло несчастье — еще более внезапное, и, как выяснилось позже, еще более непоправимое, чем утрата дохода, но тогда мы еще не знали, что нас ждет. Это была ранняя болезнь Паркинсона у матери — заболевание проявилось, когда ей было всего сорок с небольшим.

Поначалу было еще терпимо. Глаза у матери очень редко закатывались, беспорядочно блуждая, и мокрый контур мягкого от слюны пушка вокруг губ едва виднелся. Мать могла одеваться утром (с небольшой посторонней помощью) и делать кое-какие дела по дому. Она удивительно долго цеплялась за последние остатки сил.

Можно было бы ожидать, что эта ноша окажется неподъемной. Конец пушной фермы,

неизлечимая болезнь матери. Сочини такое писатель, сказали бы, что ему недостает чувства меры. Но странное дело: я не помню, чтобы в то время мы были несчастны. В доме не висела атмосфера какого-то особого отчаяния. Может быть, тогда мы еще не понимали, что мать не выздоровеет, что со временем ей будет только хуже. Что же до отца, он был крепок, и силы его не убывали еще много лет. Ему нравились люди, с которыми он работал на заводе: как правило, их что-то роднило, у них тоже жизнь повернулась к худшему или добавилось какое-то новое бремя. Нравилась отцу и непростая работа, которую он делал в дополнение к обязанностям ночного сторожа. Он разливал расплавленный металл по формам. На заводе делали старомодные чугунные печки, которые затем продавались по всему миру. Работа была опасная, но, как говорил отец, знай озирайся, а не заметил — сам виноват. И платили на заводе прилично, что для отца было в новинку.

Мне кажется, еще он был рад возможности вырваться из дому, даже ради такой тяжелой и опасной работы. Выбраться из дому и оказаться в компании других мужчин, у которых жизнь тоже не сахар и которые тоже справляются как могут.

Когда отец уходил на работу, я начинала заниматься ужином. Я умела готовить блюда, которые считала экзотическими, — вроде спагетти или омлетов. Главное, что они были дешевы. Помыв после ужина посуду — вытирала ее сестра, а брат после долгих внушений выносил грязную воду в темноте и выплескивал на поле (я и сама могла это сделать, но мне нравилось командовать), — я садилась, засунув ноги для тепла в сушилку, у которой давно отвалилась дверца, и читала толстые романы, взятые в городской библиотеке: «Самостоятельные люди»,[15] про жизнь в Исландии, которая оказалась гораздо тяжелее нашей, но была проникнута странным безнадежным величием, «В поисках утраченного времени»,[16] в которой я ничего не поняла, но не собиралась по этой причине бросать чтение, и «Волшебную гору», про туберкулезных больных и длинный спор между людьми, из которых одни олицетворяли веру в прогресс и радость жизни, а другие — темное и почему-то притягательное

[15] Примечания: 15

Роман исландского писателя Халлдора Лакснесса (1902–1998), лауреата Нобелевской премии по литературе.

[16] Примечания: 16

Цикл из семи полуавтобиографических романов французского писателя-модерниста Марселя Пруста (1871–1922).

отчаяние. Уроков я в эти драгоценные для меня часы не делала, но, когда приходило время экзаменов, набиралась решимости и зубрила ночи напролет, набивая голову нужными знаниями. У меня была потрясающая краткосрочная память, которая неизменно выручала.

Вопреки многому я считала, что мне везет в жизни.

Иногда мы с матерью разговаривали — обычно о ее детстве и юности. Теперь я редко оспаривала ее взгляды на жизнь.

Несколько раз она рассказывала мне историю, связанную с домом, ныне принадлежавшим ветерану войны Уэйти Стритсу — тому самому, который удивлялся, что я никак не могу окончить школу. История, впрочем, была не о нем, а о женщине, которая жила в этом доме задолго до него, сумасшедшей старухе по имени миссис Неттерфилд. Она, как и мы, покупала продукты по телефону, с доставкой. По словам моей матери, однажды продавец, который комплектовал заказ, забыл положить масло, а может, миссис Неттерфилд сама забыла его заказать. Когда мальчик, доставивший продукты из магазина, открывал задние двери фургона, она заметила ошибку и расстроилась. Но в каком-то смысле она подгото-

вилась: при ней был топор, и она замахнулась, словно желая наказать мальчишку-развозчика, хотя, конечно, он был не виноват. Он быстро вскочил в кабину фургона и умчался, не закрыв задних дверей.

Кое-что в этой истории вызывало вопросы, хотя тогда ни я, ни мать этого не замечали. Откуда старуха заранее знала, что в ее заказ не положат масла? Или почему она вышла с топором, еще не успев обнаружить ошибку? Может, она все время носила с собой топор на случай, если кому-нибудь захочется ее обидеть?

Говорили, что до наступления старости миссис Неттерфилд была весьма грозной женщиной.

У матери была еще одна история про миссис Неттерфилд — гораздо интереснее, потому что происходила в нашем доме и в ней фигурировала я.

Был прекрасный осенний день. Меня выставили спать в колясочке на небольшой новенький газон. Отец ушел после обеда — может быть, помогать своему отцу на старой ферме, это иногда бывало, — а мать что-то стирала в раковине на кухне. В честь рождения первенца накупили разных трикотажных и вязаных детских вещей, с ленточками и прочим, и все это нужно было

очень осторожно стирать руками в мягкой воде. Мать стирала и выжимала у раковины, стоя лицом к глухой стене. Чтобы выглянуть наружу, нужно было перейти кухню и посмотреть в северное окно. Оттуда виднелась подъездная дорожка, ведущая от почтового ящика на главной дороге к нашему дому.

Почему мать вдруг бросила стирку и пошла смотреть в окно? Гостей она не ждала. Отец не задерживался. Может быть, она попросила его купить какие-то продукты, что-то нужное для приготовления ужина, и гадала, успеет ли он принести заказанное вовремя. Тогда мать еще готовила сложные блюда — чрезмерно сложные, по мнению ее свекрови и других родственниц по мужу. Чересчур дорого это обходится, говорили они.

А может, ужин был ни при чем. Может быть, мать попросила отца забрать у кого-нибудь нужную ей выкройку или материю для нового платья, которое собиралась шить.

Мать так и не объяснила, что заставило ее посмотреть в окно.

Недовольство родни отца готовкой матери было не единственной причиной раздоров. Наверняка были и другие проблемы, связанные

уже с одеждой. Я помню, как мать переодевалась после полудня, хотя во второй половине дня ее ждали только стирка и мытье посуды. После обеда мать ложилась отдохнуть на полчаса, а потом всегда надевала другое платье. Позже, глядя на ее тогдашние фотографии, я думала о том, что мода того времени ее не красила, как, впрочем, не красила и никого другого. Платья были бесформенные, а коротко постриженные завитые волосы не шли к мягкому округлому лицу матери. Но не это вызывало недовольство родственниц со стороны мужа, которые жили поблизости и считали своим долгом присматривать за ней. Мать была виновата тем, что выглядела не как ей положено по статусу. Она не выглядела как человек, выросший на ферме и намеренный там же оставаться.

Но, посмотрев в окно, мать не увидела на подъездной дорожке машину отца. Вместо него там оказалась старуха, миссис Неттерфилд. Видимо, пришла пешком от своего дома. Того же дома, у которого меня гораздо позже будет дразнить однорукий сосед и где я один-единственный раз увижу у водонапорной колонки его жену со стрижеными и завитыми волосами. Дома, из которого выскочила сумасшедшая старуха с топором в

руке (задолго до того, как я о ней услышала), преследуя развозчика продуктов из-за недостающего масла.

Моя мать наверняка неоднократно встречала миссис Неттерфилд до того дня, когда увидела ее на нашей дорожке. Возможно, у них ни разу не было случая поговорить. А может, и был. Возможно, что моя мать принципиально беседовала с миссис Неттерфилд, хотя отец и объяснил ей, что это не обязательно. «Может и до беды довести», — что-то такое он мог сказать. Моя мать всегда сочувствовала людям вроде миссис Неттерфилд — при условии, что они не нарушали пристойности.

Но сейчас она не думала ни о приветливости, ни о пристойности. Сейчас она вылетела наружу через кухонную дверь, чтобы выхватить меня из коляски. Коляску с одеялами она оставила на месте, вбежала обратно в дом и попыталась запереть за собой кухонную дверь. О передней двери она не беспокоилась — та всегда была закрыта.

Но с кухонной дверью все было не так просто. Насколько я знаю, в ней никогда не было нормального замка. Наша семья обходилась стулом, приставленным вплотную к двери, с наклоном, так что спинка стула оказывалась под круглой

ручкой двери: попытайся кто-нибудь снаружи войти в дом, раздался бы ужасный грохот. По-моему, довольно хлипкая защита, которая к тому же слабо вязалась с наличием в доме револьвера — отец хранил его в ящике стола. Кроме того, поскольку отцу надо было периодически забивать лошадей, в доме была винтовка и пара дробовиков. Незаряженных, разумеется.

После того как мать подперла дверь стулом, вспомнила ли она об оружии? Держала ли она в руках ружье хоть раз в жизни, заряжала ли?

Приходило ли ей в голову, что старуха, может быть, просто зашла по-соседски? Не думаю. Наверняка была заметная разница в походке, в решительных движениях — не просто гостьи, шагающей по дорожке, а человека, пришедшего не с добром.

Может быть, мать молилась, но мне она об этом не сказала.

Она знала, что пришедшая роется в коляске: за долю секунды до того, как мать опустила жалюзи на кухонной двери, она увидела, как взлетело и упало на землю отброшенное одеяльце. После этого мать уже не пыталась опустить остальные жалюзи, но вжалась вместе со мной в угол, откуда ее было не видно.

Никто не постучал в дверь, как полагалось бы. Но и стул пока не падал. Не было ни грохота, ни лязга. Мать притаилась в углу у кухонного лифта, надеясь, вопреки всякой очевидности, что тишина означает: старуха передумала и ушла домой.

Но нет. Она обходила дом, без спешки, останавливаясь у каждого из окон первого этажа. Конечно, ранней осенью окна не были закрыты ставнями. Старуха могла свободно прижиматься лицом к каждому окну по очереди. Жалюзи были подняты как можно выше по случаю солнечного дня. Даже при ее невысоком росте ей не нужно было тянуться, чтобы заглянуть внутрь.

Откуда моя мать все это знает? Вряд ли она металась по дому со мной на руках, перебежками, прячась за мебелью и слабея от ужасного ожидания, что, выглянув, она увидит застывший взгляд и, вероятно, дикую ухмылку.

Мать стояла в углу у кухонного лифта. Что ей еще оставалось делать?

Был, конечно, погреб. Там окна маленькие, и человек в них не пролезет. Но дверца погреба не запиралась изнутри. И матери почему-то казалось, что будет еще ужасней оказаться в ловушке там внизу, в темноте, если старуха все же ворвется в дом и спустится по лестнице в погреб.

Были еще комнаты наверху, но, чтобы туда попасть, матери пришлось бы пересечь большую гостиную — ту самую, в которой меня пороли годы спустя и в которой перестали витать мучительные воспоминания, когда лестницу отгородили стеной.

Я не помню, когда мать впервые рассказала мне эту историю, но, кажется, ранние версии кончались именно так — миссис Неттерфилд стояла, прижавшись лицом и ладонями к окну, а мать пряталась в углу на кухне. Но в более поздних версиях старуха уже не просто смотрела. Ею овладевали нетерпение или гнев, и начинались лязг и грохот. Про крик мать не упоминала. Может быть, старуха не могла кричать из-за одышки. А может, она устала и забыла, зачем пришла.

В общем, она сдалась и больше ничего делать не стала. Обследовав все двери и окна дома, она убралась восвояси. В наступившей тишине мать наконец набралась духу выглянуть и заключила, что миссис Неттерфилд куда-то ушла.

Стул мать все-таки оставила под дверной ручкой до возвращения отца.

Я не хочу сказать, что мать постоянно возвращалась к этому происшествию. Этот рассказ не входил в репертуар историй, в основном инте-

ресных, которые я под конец выучила наизусть. О том, как мать боролась за право пойти учиться после восьмого класса. О школе, где она преподавала, в Альберте — там ученики приезжали на уроки верхом. О друзьях, которых она завела в обычной школе, и их безобидных розыгрышах.

Я всегда понимала, что она говорит, хотя, когда ее голос стал дрожать из-за болезни, другие люди часто не разбирали ее речи. Я работала при ней переводчицей и порой корчилась от неловкости, если приходилось повторять сложносоставные фразы или то, что матери казалось шутками. Иногда люди останавливались с нами поболтать из вежливости, а потом уже не знали, куда деваться.

У меня ни разу не было необходимости обсуждать с матерью визит старой миссис Неттерфилд, как мать называла это происшествие. Но мне кажется, что я узнала о нем очень давно. Помню, однажды я спросила мать, знает ли она, что стало со старухой потом.

— Ее увезли, — ответила мать. — Кажется, так. Не оставили умирать в одиночестве.

Выйдя замуж, я переехала в Ванкувер, но продолжала получать еженедельную газету из городка своего детства. Кажется, кто-то — может

быть, отец и его вторая жена — возобновлял для меня подписку. Часто я лишь мельком заглядывала в нее, но как-то раз, заглянув, увидела фамилию Неттерфилд. Фамилия не принадлежала кому-либо из нынешних жителей городка: ее носила до замужества жительница города Портленда в штате Орегон, написавшая письмо в газету. Эта женщина, подобно мне, продолжала выписывать газету из родных мест. Она сочинила стихи о прошедшем там детстве:

Над рекой зеленый холм,
Над рекою быстрой.
Место, где царит покой,
Где светло и чисто.

Таких куплетов было несколько, и, прочитав их, я поняла, что женщина пишет о тех самых заливных лугах, которые я когда-то считала своими владениями.

«Эти строки навеяны воспоминаниями о давних днях на склоне холма, — писала она. — Я буду весьма благодарна, если вы сочтете их достойными занять немного места в вашей уважаемой, освященной традициями газете».

Солнце бродит над водой,

В ней лучи купает.
Низкий берег заливной
Весь покрыт цветами.

Это же наш берег. Мой берег! В следующем куплете описывалась рощица кленов, но я думаю, что женщина ошиблась — это были вязы, которые сейчас уже все погибли от голландской болезни — графиоза.

Я дочитала письмо до конца, и все стало ясно. Женщина писала, что ее отец, фамилия которого была Неттерфилд, в 1883 году купил у правительства участок в местах, которые потом стали называть Нижним городом. Участок полого спускался к реке Мейтленд.

Видишь — ирисы растут
Под навесом кленов,
Гуси белые идут
По траве зеленой.

Она не стала писать о том, какой грязной бывала вода в ручье, затоптанном лошадиными копытами, — я бы на ее месте поступила точно так же. И про навоз, конечно, тоже не упомянула.

Вообще, я когда-то и сама сочиняла стихи,

очень похожие на эти, хотя мои не сохранились; а может, я их даже и не записывала. В своих стихах я восхваляла природу, а потом никак не могла закруглиться. Вероятно, я слагала их примерно в том же возрасте, когда так нетерпимо относилась к матери, а отец делал все, чтобы выколотить из меня эту нетерпимость. Дубил мне шкуру, как шутливо выражались тогда.

Женщина в своем письме упоминала, что она 1876 года рождения. Всю юность, до замужества, она прожила в отцовском доме. Он стоял там, где кончался город и начинались открытые поля, с видом на закат.

Наш дом.

Могла ли моя мать не знать этого? Не знать, что наш дом когда-то принадлежал Неттерфилдам и что старуха заглядывала в окна своего бывшего жилья?

Вполне могла. К старости этот вопрос заинтересовал меня настолько, что я полезла в архивы и занялась нудным выискиванием фактов. Оказалось, что после Неттерфилдов и до моих родителей дом успел несколько раз перейти из рук в руки. Можно задаться вопросом: почему дом продали, хотя старуха после этого прожила еще много лет? Может, она осталась неимущей

вдовой? Кто ее знает. А кто же «приехал и увез ее», по словам моей матери? Может, дочь? Та самая, что пишет стихи и живет в Орегоне? Может, именно эту дочь, уже выросшую, отдалившуюся, искала старуха в детской коляске. Всего через несколько секунд после того, как мать выхватила меня оттуда, цепляясь за меня с такой силой, по ее словам, словно я была ей дороже самой жизни.

Мы с этой дочерью одно время жили недалеко друг от друга — я тогда была уже взрослой. Я могла бы написать ей. Может быть, даже навестить ее. Не будь я так занята собственными маленькими детьми и собственными — неизменно убогими — писательскими потугами. С кем я на самом деле хотела бы тогда поговорить, так это со своей матерью. Но та была уже недосягаема.

Я не поехала домой, когда мать окончательно слегла перед смертью, и на похороны тоже не поехала. У меня было двое маленьких детей и не с кем их оставить в Ванкувере. У нас и денег не было на поездку, и вообще мой муж презирал формальное следование правилам этикета. Но что валить на него? Я думала точно так же. Мы называем некоторые вещи непростительными или говорим, что никогда себе не простим того или этого. Но все равно прощаем. Каждый раз

прощаем.

~

Манро — одна из немногих живущих писателей, о ком я думаю, когда говорю, что моя религия — художественная литература… Мой совет, с которого и сам я начал, прост: читайте Манро! Читайте Манро!

Джонатан Франзен

Она пишет так, что невольно веришь каждому ее слову.

Элизабет Страут

Самый ярый из когда-либо прочтенных мною авторов, а также самый внимательный, самый честный и самый проницательный.

Джеффри Евгенидис

Элис Манро перемещает героев во времени так, как это не подвластно ни одному другому писателю.

Джулиан Барнс

Настоящий мастер словесной формы.

Салман Рушди

Изумительный писатель.

Джойс Кэрол Оутс

Когда я впервые прочла ее работы, они показались мне переворотом в литературе, и я до сих пор придерживаюсь такого же мнения.

Джумпа Лахири

Поразительно… Изумительно… Время нисколько не притупило стиль Манро. Напротив, с годами она оттачивает его еще больше.

Франсин Проуз

Она принадлежит к числу мастеров короткой прозы — не только нашего времени, но и всех времен.

The New York Times Book Review

Мудрые и незабываемые истории. «Дороже самой жизни» — это дивный подарок: он напоминает нам, почему творения Манро не умирают.

The Boston Globe

Несомненное свидетельство того, что ее талант по-прежнему силен… Прочитав эти рассказы, вы узнаете кое-что о жизни Элис Манро, но еще больше — о ее мышлении, которое, что вполне ожидаемо, захватывает еще сильней.

The New Republic

Элис Манро не только уважают, ей поклоняются… Сборник «Дороже самой жизни» так же насыщен и так же потрясает, как ее предыдущие работы.

The New York Review of Books

Нет другого писателя, который умел бы так изобразить безумства и слабости влюбленных, растерянность и разочарование, что приносит нам жизнь, или жестокость и предательство, выражающиеся иногда в еле заметных жестах, оттенках интонации… Рассказы из сборника «Дороже самой жизни» нарушают множество литературных канонов, зато снова подтверждают остроту психологического зрения Манро, ее ясное видение и приятие человеческих слабостей и ее виртуозное владение жанром рассказа.

The Washington Post

Элис Манро снова доказала, что звание мэтра короткой прозы принадлежит ей по заслугам.

O, The Oprah Magazine

Исключительно… Никто другой не может рассказать так много в столь немногих словах. Скромный вид коротких фраз Манро таит в себе богатые рудные жилы.

Chicago Tribune

В удивительно откровенных рассказах Манро, пронизанных состраданием к героям, прослеживается мысль: жизнь — это труд, и если мы подходим к этому труду с достаточной решимостью и упорством, то сможем прожить до конца достойно.

San Francisco Chronicle

Эта книга затягивает… И самое сильное впечатление оставляют четыре автобиографических этюда в конце, демонстрируя наблюдательность Манро и ее умение изобразить взлеты и падения чувств короткими мазками кисти.

Entertainment Weekly

На сегодня это лучший из сборников Манро.

The Philadelphia Inquirer

Замечательно… Она мастерски рисует связь между людьми и местом их жительства.

Time Out New York

У Манро невероятный дар — она умеет убедить читателя, что ее герои жили полной жизнью до начала рассказа и продолжают жить уже после того, как рассказ закончится… Это просто отличный писатель, который любит свое ремесло.

The Guardian

Манро часто называют «канадским Чеховым», чтобы отметить ее превосходство над другими писателями, работающими в жанре короткой прозы, но этот титул весьма слабо описывает всю мощь ее литературного влияния. «Дороже самой жизни», тринадцатый сборник Манро, лишь подкрепляет ее репутацию мастера, создающего умные и утонченные рассказы из весьма скромного материала.

Minneapolis Star Tribune

Виртуозно… Со страниц сборника встают самые разные и вечно непредсказуемые герои — молодые, старые, средних лет — в обстоятельствах, отражающих бурный и хаотический поток самой жизни.

The Seattle Times

Когда появляется новый сборник рассказов всеми любимой Элис Манро, то кажется, что он должен дойти до тебя уже потрепанным: с загнутыми страницами («Я именно это и чувствую! Откуда она знает?»), с потрескавшимся от многократных открываний корешком, с помятой обложкой — ведь каждый рассказ заслуживает, чтобы его перечитывали снова и снова. Лучшие слова, которые можно сказать об Элис Манро, уже настолько затерлись, что, возможно, и не стоят повторения. Но я все же повторю их, для протокола: она — мастер своего ремесла. В тринадцатом по счету сборнике, «Дороже самой жизни», Манро снова вдыхает жизнь в персонажей и обстановку

(как правило, это ее родина, маленький городок в графстве Гурон провинции Онтарио в Канаде) — настоящую жизнь со всеми ее изъянами и нюансами. Самое сильное оружие в арсенале Манро — умение сочувствовать героям, и здесь она снова демонстрирует его в полном объеме. Но самая упоительная часть нового сборника — последние четыре рассказа, объединенные в то, что автор назвала «финалом». В них Манро наиболее близко подошла к автобиографической прозе.

Amazon Best Books of the Month

Манро — та, кто она есть, и нам повезло, что она у нас есть. Ни одному автору, кроме нее, не удавалось вместить столько жизни — и столько жизней — в столь немногих страницах… Эти рассказы можно перечитывать снова и снова, каждый раз открывая в них новые грани.

The Miami Herald

Элис Манро давно признана одним из литературных сокровищ Канады. Новый сборник — с историческим уклоном, с автобиографическим оттенком, с импрессионистскими описаниями природы, с проблесками ностальгии, с приятной иронией — в очередной раз подтверждает репутацию писателя.

The Washington Times

Как ей удается изобразить такие потрясающие эффекты на таких небольших полотнах? Над этим вопросом задумывался любой, кто сколько-нибудь серьезно пытался писать рассказы в последние двадцать лет… У Манро есть дар — и это не пустые слова — выбирать детали, которые неудержимо расцветают у читателя в голове.

Los Angeles Times

Читать Элис Манро — все равно что пить воду: слова едва замечаешь, только дивишься, что твоя жажда вдруг прошла… За каждой фразой стоит мир, обрисованный зачастую полнее, чем у другого писателя в целом романе.

The Plain Dealer

Каждая крупинка репутации Манро — репутации лучшего писателя короткой прозы на английском языке, если не вообще в мире, — заслужена. В этой книге собраны лучшие образцы прозы — захватывающей, сложной, живой.

Richmond Times-Dispatch

Эти рассказы совершенны… Сборник «Дороже самой жизни» не менее богат и полон сюрпризов, чем любое другое собрание рассказов, которых было так много на протяжении творческого пути писательницы.

National Post

Элис Манро всегда воспевала неожиданную страсть, которая возникает вроде бы ниоткуда и меняет всю жизнь героя. Манро уже много десятилетий остается одним из наших самых значительных писателей. В ее работе представлены и наиболее важные аспекты литературы, и те, что дарят наибольшее наслаждение, и те, что напоминают нам, как отличить великое литературное произведение: если перед вами именно оно, вы обязательно его узнаете и не ошибетесь.

The Globe and Mail (Toronto)

При чтении последнего сборника Манро в голове всплывает пословица: «Новое — это хорошо забытое старое». Она кажется банальной и даже обидной для писателя, но в данном случае это искренняя похвала непрерывному чуду, которое совершает Манро — по мнению многих, самый талантливый из современных англоязычных писателей, творящих в жанре рассказа. В сборнике 14 рассказов — в некоторых Манро

продолжает исследовать свою вселенную (сельскую местность и маленькие городки провинции Онтарио в Канаде), иногда с неожиданными поворотами, другие следуют более традиционными маршрутами — их персонажи и ситуации перекликаются с рассказами из других сборников Манро. Но не важно, насколько знаком или незнаком читателю предмет, — Манро каждый раз находит новые способы рассказать о жизни простых людей так, что этот рассказ завораживает. «Амундсен» развертывается на фоне, который подстегнет интерес любителей творчества писательницы. Однако тон рассказа удивляет читателя и даже отчасти нарушает его душевное спокойствие. Девушка, героиня рассказа, уезжает в глушь, на должность учительницы в туберкулезном санатории, и скоро у нее завязывается пугающий роман с главврачом. Но, видя писательское мастерство Манро и ее фирменный прозрачный, резонирующий стиль, читатель понимает, что мрачное «послевкусие» рассказа — намеренное. «Надежный тыл»

наверняка будет считаться одним из ее шедевров: динамичный сюжет — фирменный знак Манро — на этот раз поведает нам о девочке-подростке, которая живет у тети с дядей, пока ее родители трудятся миссионерами в Африке. В весьма драматических обстоятельствах она приходит к пониманию: то, что кажется терпимостью к причудам другого человека, может быть просто равнодушием. То, что первый тираж сборника составил 100 000 экземпляров, подтверждает популярность Манро в разных странах мира.

Booklist

В хитросплетениях сюжетов Манро не перестает удивлять: банальные бытовые драмы оборачиваются совсем необычными психологическими ситуациями, а типичная ссора приводит к настоящей трагедии. При этом рассказ обрывается столь же неожиданно, как начинался: Манро не делает выводов и не провозглашает мораль, оставляя право судить за читателем.

Известия

Все ее рассказы начинаются с крючочка, с которого слезть невозможно, не дочитав до конца. Портреты персонажей полнокровны и убедительны, суждения о человеческой природе незаезженны, язык яркий и простой, а эмоции, напротив, сложны — и тем интереснее все истории, развязку которых угадать практически невозможно.

Комсомольская правда

Все это Манро преподносит так, словно мы заглянули к ней в гости, а она в процессе приготовления кофе рассказала о собственных знакомых, предварительно заглянув к ним в душу.

Российская Газета

Банальность катастрофы, кажется, и занимает Манро прежде всего. Но именно признание того, что когда «муж ушел к другой» — это и есть самая настоящая катастрофа, и делает ее прозу такой женской и, чего уж там, великой. Писательница точно так же процеживает жизненные события, оставляя только самое главное, как оттачивает фразы, в которых нет ни единого лишнего слова. И какая она феминистка, если из текста в текст самым главным для ее героинь остаются дети и мужчины.

Афиша

В эти «глубокие скважины», бездну, скрытую в жизни обывателей, и вглядывается Элис Манро. Каждая ее история — еще и сложная психологическая задачка, которая в полном соответствии с литературными взглядами Чехова ставит вопрос, но не отвечает на него. Вопрос все тот же: как такое могло случиться?

Ведомости

Превосходное качество прозы.

РБК Стиль

Но даже о самом страшном Манро говорит спокойно и честно, виртуозно передавая сложные эмоции персонажей в исключительных обстоятельствах скупыми средствами рассказа. И ее сдержанная, будничная интонация контрастирует с сюжетом и уравновешивает его.

Psychologies

Рассказы Манро действительно родственны Чехову, предпочитающему тонкие материи, вытащенные из бесцветной повседневности, эффектным повествовательным жестам. Но… Манро выступает скорее Дэвидом Линчем от литературы, пишущим свое «Шоссе в никуда»: ее поэзия быта щедро сдобрена насилием и эротизмом.

Газета. ру

Американские критики прозвали ее англоязычным Чеховым, чего русскому читателю знать бы и не стоило, чтобы избежать ненужных ожиданий. Действительно, как зачастую делал и Антон Павлович, Элис показывает своих героев в поворотные моменты, когда наиболее полно раскрывается характер или происходит перелом в мировоззрении. На этом очевидные сходства заканчиваются — во всяком случае, свои истории Манро рассказывает более словоохотливо, фокусируясь на внутреннем мире…

ELLE

~

© Т. Боровикова, перевод, 2014
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)